Берлинская тетрадь

Анатолий Михайлович Медников

SHOUT
SHARE
IT

- Медников Анатолий Михайлович
  - ○

Медников Анатолий Михайлович Берлинская тетрадь

Медников Анатолий Михайлович
Берлинская тетрадь
{1}Так помечены ссылки на примечания. Примечания в конце текста

Аннотация издательства: Анатолий Медников хорошо известен читателям своими произведениями о героях наших дней - строителях, шахтерах, рыбаках Каспия, о людях рабочего класса. О них рассказывается и в этой книге в очерках "На Южном Урале", "Путь наверх", "Горячее сердце", "Каспийские рыбаки", "Под городом Горьким". В "Берлинской тетради" автор, бывший в конце войны радиожурналистом, повествует о том, как сдавались обреченные защитники "третьего рейха", как подписывалась капитуляция в Карлсхорсте, как в мрачных бункерах имперской канцелярии бессильно скрежетали зубами те, кто некогда мечтал о мировом господстве: Гитлер, Геббельс и другие главари нацистского государства.

Hoaxer: книга состоит из двух частей: "Берлинская тетрадь" и "В дни мира". Вторая часть в тему сайта не попадает, и не составляет целое с первой, потому опущена.

Содержание

Берлинская тетрадь
Вечная память
Плацдарм на Одере
На аэродроме
Новые бойцы
Письмо сыну
"Говорит Берлин!"
Коллекция артиллериста
Встреча на дороге
Карточка на партбилет
Ночь в берлинском доме
Танкисты
Могила Карла Либкнехта
Полк отдыхает в парке
Домик на окраине
Госпиталь у озера
На станции метро
Последние дни
Штурм "Цитадели"

Конец "третьего рейха"
Перед рассветом
Падение Берлина
Второго мая после полудня
Во дворе имперской канцелярии
Говорящая расписка
"Дом Гиммлера"
"Учреждение Эйхмана"
Падение Шпандауской цитадели
Берлин без судей!
Залить страх вином!
У стен рейхстага
На той стороне
Ночная тревога
Капитуляция
Мост смерти
На скамью подсудимых!
Случай в горах
Смерть Гиммлера
"Радиопрезидент" и другие
Фрау Менцель остается в своем доме
В комендатуре центра
Принадлежит истории
Во имя мира
Примечания

Берлинская тетрадь

Этот апрель в Германии выдался теплый и светлый. Весна, рано начавшаяся в Европе, на редкость яркая и щедрая, быстро украсила землю свежей зеленью лугов, буйным цветением деревьев. Белотелые березки, до боли сердечной напоминавшие Россию, стояли как бы в нежно-сиреневом тумане. Дожди почти не шли, и небо радовало своей промытой голубизной. На закате, когда сгущались сумерки, становилось видно, как во всю глубину равнинного пространства горят селения. Отсветы громадных костров высоко поднимали усеянный звездами купол неба, и на горизонте трудно было различить - где земля, а где небо, охваченное текучим огнем пожарищ. Чем дальше на запад, тем становилось все теплее. В начале апреля наступили дни уже жаркие, хотя и задувал порой прохладный, пахнущий мокрой землей ветерок.

В зоне так называемого Большого Берлина тоже росла зелень и цвели деревья, даже и те, чьи ветви были поранены и обрублены осколками снарядов и мин. Но сосновые лески уже не встречались, их оттеснили в сторону заводы, пригородные

поселки и железнодорожные пути. На окраинах города царили запахи разбитого бетона, пролитого масла, пыли, камня и железа.

В один из апрельских дней, после полудня, в потоке танков, самоходных пушек и грузовиков, вливавшихся в город с востока, по широкой магистрали Франкфуртер-Аллее продвигалась грузовая машина обычного на фронте зеленого цвета, с брезентовым шатром, туго натянутым над кузовом. Там, на тряском полу, куда сквозь дырочки в брезенте пробивались острые лучи солнца, лежало несколько массивных ящиков. Но не снаряды и не продукты, не письма и газеты везла на передовую зеленая машина.

Это была машина с аппаратами звукозаписи, ставшая для нас, группы московских радиожурналистов, в эти дни взятия Берлина и походным домом, и лабораторией, где мы прослушивали готовые записи, и нашим "радиотанком", врывающимся в еще горящие кварталы, где только что отшумел бой.

За те месяцы, что мы провели в Германии, наша машина исколесила по дорогам войны сотни километров.

Мы подходили с микрофоном к бойцам, штурмующим дома, которые гитлеровцы безуспешно пытались превратить в свои последние крепости, и к шоферам, везущим на передовую боеприпасы, только на минуту остановившимся где-нибудь у обочины дороги.

Мы записывали рассказы танкистов и повозочных, рассказы беженцев.

Мы давали микрофон и немцам, проклинавшим Гитлера и его нацистское государство, которое принесло немецкому народу такие бедствия и страдания.

И думалось тогда: пройдут годы - вырастет поколение, для которого берлинское сражение предстанет уже далекой историей. И вот где-нибудь на вечере воспоминаний зазвучат голоса бойцов, сражавшихся в Берлине. Тогда добрым словом помянут и нашу работу.

Эта книга коротких рассказов о боях в Берлине не претендует на полноту картины и хронологически последовательное изложение всех событий.

Я воспроизвожу по памяти лишь то, что наблюдал сам. Я делаю это с уверенностью, что эпизоды той военной поры, картины и живые сценки, обращенные к разным сторонам жизни, в какой-то мере воссоздадут неповторимые черточки героического времени, покажут последние дни фашистского режима, нарисуют облик наших воинов, завершивших весной 1945 года сражение в Берлине.

Вечная память

То, о чем будет рассказано сейчас, произошло еще до взятия немецкой столицы, на дальних подступах к ней, в то время, когда в марте и апреле 1945 года наши войска готовились к последнему штурму на Берлинском направлении.

Мы начали свой долгий путь по дорогам Германии, прилетев на самолете в Познань, с тем чтобы двигаться дальше к фронту на попутных машинах.

Познань - большой, красивый польский город, город широких площадей с острыми каменными пиками готических соборов, город высоких домов, узких улиц и горбатых мостов, перекинутых над полноводной Вартой, город, опаленный прокатившимся на запад валом войны, - запомнился мне в те дни трагической и торжественной церемонией похорон в братской могиле советских танкистов и польских патриотов.

Но прежде я увидел Познаньскую каменную крепость, старинный крепостной вал и мощную стену, возвышающуюся над городом.

Мы въехали через полуразвалившиеся ворота во двор Познаньской цитадели, напоминавшей обширную, мощенную камнем площадь. Здесь всюду виднелись воронки от снарядов и рваные дыры на серых стенах, словно бы тронутых плесенью старости.

Все древние городские крепости чем-то похожи. Они всюду являются крепостями лишь символически, а главным образом представляют собой архитектурные памятники старины. Но Познаньскую цитадель немцы укрепили для обороны. Они засели за ее валом и стенами, ожесточенно сражаясь уже и после того, как сам город был освобожден мощным ударом наших войск.

В этой цитадели оставалось почти десятитысячное войско - остатки разбитой познаньской группировки. Подземными ходами, ведущими из крепости, гитлеровские солдаты проникали на центральные улицы города, убивали наших солдат и польских патриотов, а затем, переодевшись в штатское платье, пытались скрыться.

Вначале наше командование не предпринимало решительных штурмов цитадели, ибо войска, овладев городом, стремительно выходили к рубежам самой Германии. Но затем пришел черед расправиться и с гарнизоном крепости, который хоть и находился в полном окружении, но все-таки мешал налаживанию нормальной жизни в городе.

После ряда атак Познаньская цитадель капитулировала, а командующий этой группировкой генерал-лейтенант Тоннель, подписав приказ о сдаче, застрелился. И вот потянулись из крепости к центру города унылые колонны измученных, голодных

солдат и офицеров.

Однако многие бесславные защитники этой крепости остались лежать в ней - трупы в подвалах, раненые на полу, в больших комнатах со сводчатыми потолками. Потом сюда свезли раненых гитлеровцев со всего города, и "несокрушимая" крепость быстро превратилась в лазарет, что само по себе выглядело символически.

В те дни, когда мы приехали в крепость, здесь все еще временно размещался лазарет, в котором многие двери были выбиты артиллерийскими снарядами, а стены, даже внутри комнат, носили следы автоматных очередей.

В необычного вида "палатах" вдоль узких щелей бойниц, как вдоль окон, выстроились ряды железных кроватей. Раненые, умытые, перевязанные, лежали на этих койках, укрытые серыми одеялами. Правда, кое-где кроватей не хватало и их заменяли наскоро сколоченные нары.

Но всюду около раненых суетились наши санитарки, сестры. В операционной, под которую оборудовали одну из комнат крепости, врачи медсанбата работали буквально и днем и ночью. Гитлеровские солдаты и офицеры в равной мере получали медицинскую помощь, и наши врачи оказывали им такое же внимание, какое оказывали бы своим, если бы они, а не немцы лежали бы сейчас в Познаньской цитадели.

Но я погрешил бы против правды, если бы утверждал, что раненые гитлеровцы выглядели так же, как и наши солдаты. Нет, это были в большинстве своем обросшие, исхудавшие люди, с глазами, полными страха даже и теперь, когда они убедились, что врачи лечат их, а не убивают, не мучают, как мучили и убивали они наших раненых и пленных.

Даже и теперь, когда мы подходили то к одной койке, то к другой, раненые приподнимали головы, и нервный блеск глаз, раболепно-услужливое выражение, в котором надежда мешалась с немой мольбой, вызывали неприятное чувство.

Я обошел почти всю крепость. Не помню, сколько там было раненых гитлеровцев. Тысяча? Две? Стоны, вздохи, крики, запахи йода, лекарств, крови - в общем, тяжкое зрелище даже для нас, людей, ко всему приученных войной.

С невольным чувством облегчения мы выехали из ворот крепости. Вскоре наша машина очутилась на одной из городских площадей. Здесь мы остановились, привлеченные необычной картиной.

В центре площади, окруженной разрушенными домами, был разбит небольшой круглый скверик с редкими деревьями и множеством цветочных грядок. Посреди скверика, на желтоватой

земле, вблизи уже готовых могил, стояло четырнадцать гробов. Хоронили бойцов польских отрядов Сопротивления, погибших в последние дни от рук гитлеровских головорезов, шайки которых еще бродили вокруг города.

В скверике около темно-серых гробов находилось сравнительно немного людей. Это были друзья и родственники, они пришли проводить в последний путь славных патриотов. Убитые горем женщины, в черных платьях и траурных черных накидках, плакали около могил.

Церемония похорон затягивалась. Оказалось, что здесь ждут машину с фронта. Она должна была привезти погибшего в бою нашего танкиста, Героя Советского Союза старшего лейтенанта Максима Петрова.

Вскоре к скверику подошел забрызганный грязью "студебеккер" с брезентовым шатром, туго натянутым над кузовом. В машине сидели танкисты части полковника Павла Марковича Шаргородского. На плечах они вынесли гроб и бережно опустили его в центре скверика.

Командир танка "Т-34" геройски погиб на немецкой земле. Но товарищи решили похоронить героя в Польше.

Я не знаю, была ли это воля самого Петрова, вряд ли перед боем танкист думал о смерти. Так, видимо, решили его боевые друзья. И вот машина с гробом прошла почти двести километров от линии фронта до Познани.

- Пусть наш герой лежит в теплой братской земле Польши, - сказал тогда Шаргородский.

Зияла глубоким провалом могила, черная по краям от свежевырытой земли. Танкисты выстроились в круг, и тишину разорвала резкая дробь выстрелов, это, подняв автоматы к небу, воины траурным салютом прощались со своим другом.

Это был салют дружбе, скрепленной кровью, кровью бойцов, пролитой на русской, на польской, на немецкой земле.

Вскоре по всему скверику выросли земляные холмики, усыпанные цветами. Польские женщины припали к свежим могилам. Их бережно поддерживали опустившиеся на одно колено танкисты. И польские музыканты заиграли траурный марш Шопена.

- Вечная, светлая память тебе, герой Максим Петров, пусть тебе, уроженцу Смоленщины, польская земля станет пухом, пусть вырастут на могиле цветы. Мы отомстим за тебя! - сказал Шаргородский.

...Через час мы уехали из Познани на машине танкистов, они торопились вернуться на фронт. И, сидя на скамейке, протянутой вдоль борта "студебеккера", рядом с подавленными горем

танкистами, я был долгое время во власти воспоминаний о похоронах и того глубокого, сильного, не передаваемого никакими словами чувства, которое охватило меня в этом маленьком познаньском скверике.

Трупы гитлеровцев в Познаньской цитадели! И братская могила в центре города! Смерть и смерть! Но одна славная, а другая позорная, бессмысленная!

Мы ехали к фронту на машине, где еще недавно стоял гроб. Было что-то глубоко волнующее, символическое и в этом. Война шла к концу, но наши люди все еще погибали во имя мира, во имя свободы и России, и Польши, и Германии.

Долгое время все в кузове молчали. Я сидел рядом со старшим сержантом танкистом Павлом Синичкиным. Он был башенным стрелком в экипаже Петрова.

Уже другие солдаты, отвлекаясь новыми дорожными впечатлениями, разговаривали между собой о том о сем, уже кое-кто негромко смеялся, вспоминая о чем-то забавном, а Синичкин, с все еще застывшим от горя лицом, сидел у заднего бортика и, откинув полость свободно висевшего брезента, неотрывно смотрел на дорогу.

Он воевал вместе с погибшим героем почти два года в одном танке и любил командира, как брата. Несмотря на погоны старшего сержанта, два ордена Красной Звезды на гимнастерке, этот волжанин, с худой мальчишеской шеей, веснушками, рассыпанными по лицу, и нахмуренными белесыми бровями, выглядел юношей, с еще угловатыми и резкими движениями.

- Обидно помирать герою в четырех шагах от победы! - сказал он наконец, впервые обращаясь ко мне.

- Да, конечно.

В этот момент нас незримыми нитями связывала и глубокая печаль и то состояние невольного возбуждения, которое охватывает всякого солдата, подъезжающего к линии фронта.

Синичкин поднял на меня глаза. Немного выражало это мое сочувственное "конечно", но, должно быть, танкисту была сейчас важнее всего искренность моей интонации, человеческая теплота. По-моему, он оценил мое внимание к его сердечной боли.

- Скоро пересечем границу Германии, - сказал он.

Я молча кивнул.

- А там снова войной запахнет!

С минуту мы помолчали.

- А какой был человек наш командир! - снова вздохнул танкист.

- Да, я слышал - хороший.

- Замечательный! Верно говорят про танкистов: "Эти люди

долго не живут, но мир на них стоит вечно!"

- Хорошо говорят.

- Вот именно!

И опять наступила пауза, Синичкин словно бы давал мне время получше запомнить его слова.

- Германия, Германия, чужая ты сторонка!

Мне казалось, что танкист все еще думал о смерти своего командира. Он думал о нем и о боях на немецкой земле, связывая и то и другое в одном воспоминании, как нам вспоминаются слова песни вместе с музыкой, неотделимые друг от друга.

И эта музыка звучала в его сердце так громко и, должно быть, так теснила его грудь, что Синичкин теперь уже молча ударил кулаком по краю брезента, свисавшего с верха шатра кузова...

А машина наша тем временем двигалась по земле Польши. Постепенно наступали сумерки. Приближалась Германия. Надо ли писать о том, что сознание уже одного этого держало нас, еще ни разу не пересекавших границы неметчины, в состоянии необычного и непередаваемого нервного напряжения.

Нам повезло. К первому километру немецкой земли машина танкистов подъехала еще засветло. Я никогда не забуду этой минуты.

"Студебеккер" подъехал к обычной развилке дороги, расходящейся на две стороны. Слева виднелся реденький сосновый лесок, освещенный предзакатным солнцем. Высокие сосны словно бы плавали в желтовато-янтарном дыму.

Прижавшись к краю асфальтовой ленты, застыла у дороги колонна грузовиков. Шоферы в зимних, некогда белых, а сейчас уже серых полушубках, измазанных маслом и гарью, сгрудились у передней машины и что-то обсуждали.

У перекрестка на середине дороги стояла высокая девушка-регулировщица с погонами сержанта на новенькой, ладно пригнанной по фигуре шинели. Она взмахивала флажками.

В ней было что-то особенное. Может быть, та энергия и даже лихость, с какой она работала флажками, или уж очень явственно подчеркнутое в каждом жесте сознание своей ответственности и власти хозяйки военной дороги.

И то, как она резко поворачивалась всем туловищем на скрипящих каблуках, и то, как посматривала на шоферов, - все это должно было говорить тем, кто видел регулировщицу: "Смотри! Это не обычный дорожный перекресток, это граница Польши и Германии!"

И еще мне запомнился наш танк, стоящий чуть поодаль от дороги. Что-то сломалось в моторе, и сейчас танк на ходу ремонтировали. Из-под лобовой его части торчали ноги в

кирзовых грязных солдатских сапогах. Сам же танкист лежал на разостланном брезенте, тело его изогнулось в напряжении, и кирзовые сапоги почти касались белой черты, проведенной через асфальт. - черты границы.

Такое можно было увидеть только тогда и только там, на этом перекрестке. Солдатские сапоги, касавшиеся границы, как бы символически попирая ее, пожалуй, красноречивее всех слов говорили о том великом свершении, которое обозначалось двумя словами: "Мы в Германии!"

Но все это я разглядел и запомнил позже. В первую минуту, признаться, еще не зная, что мы выехали к границе, я взглянул на перекресток и не заметил в нем ничего особенного.

- Она! - сказал мне Синичкин и толкнул в бок, когда машина встала в хвост длинной очереди.

И тут же танкист показал рукой на сосну, растущую за кюветом дороги. К сосне была прибита небольшая дощечка с надписью: "Германия".

Дощечку эту можно было бы и не заметить. Зато рядом висел еще один прибитый к столбу лист фанеры, крупными черными буквами на нем было выведено:

"Вот она, Германия!"

И еще один транспарант стоял у дороги:

"Товарищ! Ты въезжаешь в логово фашистского зверя".

Германия! Мы в Германии!

Трудно передать то чувство, с которым я прочитал эти плакаты на первой полоске немецкой земли! Как я ни готовился к встрече с границей, а все же почувствовал В тот момент, что от волнения у меня горло свело спазмой. И стало жарко в шинели.

Я распахнул ее.

Пользуясь остановкой, танкисты вылезли из кузова машины, чтобы немного размять ноги. Они разглядывали местность и, мне казалось, смотрели больше не на самую дорогу, машины, ремонтируемый танк, а на лесок, подбежавший к обочине, похожий на ваш смоленский или подмосковный.

Мы все тогда на этом перекрестке искали вокруг какие-то яркие приметы чужой стороны и, не находя их, удивлялись, что и лес и дорога - все такое обычное.

- Так, значит, вот она? - спросил я танкиста.

- Да, Германия! - кивнул Синичкин.

Бывает, что человек скуп на слова и в большом горе, и в большой радости, и когда чувства скудны; и когда они переполняют душу.

Не знаю, как другие. Что говорили они друзьям, попутчикам в эту первую минуту, увидев себя на немецкой земле. Но мы... Мы

больше молчали.

Прошло минут пять, не больше. "Пробка", образовавшаяся на перекрестке, благодаря энергичным действиям регулировщицы быстро рассосалась, Можно было двигаться дальше, и мы снова влезли под шатер кузова нашего "студебеккера".

Поплыла назад потемневшая лента дороги, отодвинулся реденький лесок и сам перекресток готов был исчезнуть из виду, когда Синичкин привстал на скамейке. Он бросил последний взгляд на границу и махнул рукой в сторону еле видневшейся полоски польской земли, принявшей прах командира танка.

- Максим, прощай! - сказал он. - Вечная память!

Он еще долго не садился на скамейку и все стоял у трясущегося заднего борта машины, крепко уцепившись рукой за край брезента.

Так мы въехали в Германию. В эту минуту мне все представлялось необычным и полным глубокого значения. И эта машина, где лежал гроб героя, и его похороны в Познани, и стремительная езда к границе, и перекресток с сердитой и плавно машущей флажками регулировщицей, и сумерки над лесом, и танк у черты границы...

Впечатления случайные и, казалось бы, мало связанные между собой, они в душе лепились в одно настроение глубоко торжественной радости, и печали, и горя, и счастья вместе.

Вскоре зашло солнце. Теперь "студебеккер" летел вдоль темной стены лесов.

Что увидишь ночью на военной дороге? Только сигнальные фонарики в руках регулировщиц, темные силуэты танков и пушек, скрежещущих по асфальту, да тусклые цепочки огней по сторонам, в неведомых нам селениях.

Кругом стояла тишина - ни взрыва, ни выстрела. Только рев нашей машины вызывал ответное эхо, и мне казалось, что это лес шумит, как большое озеро под ветром, шумит и приносит запахи влажной земли, сосен и старой, прелой листвы.

Шофер, ведущий машину танкистов, часто включал сильный свет автомобильных фар, выхватывая из темноты то кусок дороги, то леса, то бок кузова проносящейся мимо встречной машины.

И вот в этом-то шоферском пренебрежении к строгостям светомаскировки, в этом пренебрежении к вражеской авиации и была новая и верная примета "спокойного неба" и приближающегося конца войны.

Плацдарм на Одере

На дорожном столбе табличка: "До Берлина - 61 километр". Таково расстояние подмосковных дачных мест от самой Москвы, и одно это сравнение сразу дает почувствовать близость Берлина.

Шоферы встречных машин утверждали, что отсюда ночью уже видно, как наша и союзная авиация бомбит город.

Сегодня утром, двадцатого марта, мы впервые увидели Одер, вспученный весенним паводком. Река катила свои тусклые воды, похожие на расплавленный свинец. Наша машина остановилась у пустынного берега, неподалеку белел деревянный мост через реку, недавно наведенный саперами и способный пропустить даже колонну танков.

Сразу же бросились в глаза многочисленные белые "заплаты" из свежего теса и бревен, потому что через каждые два-три часа над этим единственным здесь мостом появлялись немецкие бомбардировщики.

Саперы чинили мост под двойным огнем: с воздуха и с земли. Артиллерия противника вела огонь с той стороны реки по одерскому плацдарму наших войск, и огонь этот не утихал ни днем ни ночью.

Машина остановилась у моста, и вот приняли решение - проскочить на тот берег. Попали на мост как раз во время очередного налета авиации. Услышали тоскливый вой сирены. Девушка-регулировщица в забрызганной грязью шинели, но в чистом зеленом берете, запоминающемся по резкому контрасту со всем ее видавшим виды обмундированием, что-то сердито закричала нашему шоферу.

Машины, еще не выехавшие на мост, шарахнулись в стороны. Регулировщица погрозила нам своими маленькими кулаками и как-то совсем по-детски в нетерпении стала топтать землю ногами.

- Не стоять! Вперед!

Ее высокий голос срывался на крик. Он словно бы с трудом пробивался сквозь нарастающий рев моторов. Приближались немецкие бомбардировщики.

Наша машина сделала стремительный бросок вперед, и мы вылетели на западный берег. А в это время рядом с мостом уже выпирали в небо высокие столбы воды и остро пахло горячим металлом. Вот и плацдарм! Отводим машину в укрытие и шагаем по лесисто-болотистому участку земли, занимающему километра три в ширину и около пяти в длину.

Мы взбираемся на высокую насыпь, она вся изрыта землянками. На обратном скате ее - земляные конюшни для лошадей. Меланхолические артиллерийские битюги мерно жуют овес, косясь на воду, по которой шлепают пули и осколки от мин взбивают фонтанчики воды. Лошади спокойны, так, словно они стоят в обычных конюшнях, где-нибудь в глубоком тылу. А ведь от этой насыпи до немецких окопов всего лишь километр с

небольшим.

Мы прошли пешком по гребню насыпи к маленькому белостенному домику, едва ли не единственному на плацдарме и вообще чудом уцелевшему на открытой местности, простреливаемой артиллерийским и минометным огнем. В домике расположился узел связи. Я позвонил оттуда командиру части по полевому телефону.

- Здравствуйте. Мы хотим записать на пленку рассказы героев борьбы за плацдарм. Дайте нам таких людей.

- Сколько?

- Человек пять-шесть.

- Сколько? - удивленно переспросил полковник. - Да вы знаете, дорогие товарищи, в какую дивизию вы приехали? Сталинградская, Черниговская, Варшавская, ордена Ленина, Суворова, гвардейская!..

- Знаю, знаю. Но у нас мало времени. Да и не хотелось бы отрывать от дела сразу много людей.

- Ладно, - смягчается полковник, - бог с вами! Пришлю пятерых, самых отчаянных.

Через полчаса в белый домик пришли не пять, а пятнадцать солдат и офицеров, все с оружием, прямо "с передка".

Здесь, на узкой полосе земли, на маленькой пашей территории, со всех сторон окруженной окопами противника, странно слышать о том, что есть где-то передний край, а следовательно, есть хоть маленький, но свой тыл.

Но такова уж психология людей на войне: солдат, сидящий в окопах своей роты, считает "тылом" землянку командира батальона, хотя до нее порой не больше сотни метров. Для командира батальона штаб полка в километре от переднего края - тоже "тыл". И это даже в том случае, если противник ведет по штабу полка огонь более сильный, чем по блиндажам батальона. А уж штаб дивизии для полков - "тыл" глубокий, даже если они расположены рядом, вот как здесь, на плацдарме.

Мы расставили нашу аппаратуру, но первые же слова, сказанные в микрофон, заглушаются выстрелами наших гаубиц. Трясутся стены домика, подпрыгивает аппарат звукозаписи.

- Нет, здесь работать нельзя, - заявляет в отчаянье наш радиооператор Алексей Спасский.

- И передвигать пушки некуда, - резонно отвечает ему офицер - старший группы, - впереди немцы, сзади река.

Но вот выход найден. Мы посадили всех героев боев в нашу машину и снова летим через переправу на восточный берег, в поселок. Здесь в километре от Одера сохранилось несколько каменных домиков.

Нам отвели комнату, где на столах лежат карты и полевые сумки живущих здесь политработников соединения.

И началась запись. Солдаты, в выгоревших гимнастерках, украшенных рядами медалей и орденов, сосредоточенные, с карандашами и ручками, раздумывают над белыми листами бумаги. Все они мучительно подбирают фразы для своих рассказов о подвигах.

Рассказать о своем подвиге нелегко, для иных это труднее, чем совершить сам подвиг.

Конечно, в сознании не сразу укладывается, что слова, сказанные в толстую короткую трубку с выпуклой металлической сеткой, здесь, в этой деревушке на берегу Одера, будут затем услышаны по всей стране, в самых дальних уголках родины. Но странное дело: все - и рядовые и офицеры, люди, показавшие чудеса самообладания в бою, - сейчас волновались и мяли в огрубевших пальцах листки бумаги с текстом выступления.

Первым выступал подполковник Андрей Смирнов - командир полка, первым переправившийся через Одер. Это высокий, худощавый офицер с большим открытым лбом и глубоко посаженными умными глазами. В последних боях он был слегка контужен, но в госпиталь не поехал, лечился в тылах своей части. Может, потому, что я знал об этом, мое внимание все время привлекала его улыбка мягкая, мечтательная, улыбка спокойного и отлично владеющего собой человека.

Он сидел перед микрофоном по-военному подтянутый, прямо держа свой стан, и его свежевыглаженный френч здесь, на плацдарме, свидетельствовал о той особой военной аккуратности и привычке следить за собой в любых, самых тяжелых условиях, которую приятно наблюдать на фронте.

Смирнов негромко, но достаточно ясно, почти не заглядывая в свой конспект, рассказал нам об эпизодах недавно прошедшего сражения. Даже и в те дни нам, много повидавшим на дорогах войны, эпизоды эти уже казались легендарными.

Вот рассказ Смирнова: "Наш полк шел в авангарде дивизии, наступавшей от Вислы. За последние три недели полк прошел с боями километров триста, дни мешая с ночами, не ведая отдыха в своем движении на запад.

Где-то за сто километров безнадежно отстали тылы, но фронт, как пружина, продолжал распрямляться, наступая и наступая. Дивизия, обходя большие города, шла лесами, полевыми дорогами, на ходу кромсая немецкие коммуникации и разбивая отдельные вражеские части. Они метались по развороченному, как муравейник, немецкому оборонительному поясу.

"Вперед, к Одеру!" - наш полк не знал другой команды.

Мы шли и ехали на автомашинах, на дрожках и велосипедах. В селениях не задерживались больше часу. Случалось и так, что полк двигался даже впереди отступавших немецких частей. С флангов тоже бежали гитлеровцы, и вражеские части находились впереди.

Отбрасывая в сторону непрошеных соседей, полк рвался вперед. Мы словно бы соревновались с гитлеровцами в беге к Одеру. И мы пришли первыми.

Батальоны вышли к реке на рассвете. Тускло мерцал в предрассветной дымке синеватый, уже подточенный водой лед Одера. На западном берегу стояла тишина: ни выстрела, ни шороха.

Я напряг слух - лишь вдалеке очень глухо слышалась орудийная канонада, - это с востока, а не с запада подходили к реке отступавшие немецкие части.

Вот тогда-то я и решил - не ждать, пока подойдут основные силы. Дивизия на пятьдесят километров вырвалась вперед, полк еще дальше. Не стал я ждать и пока вскроется лед или перебравшиеся на западный берег немцы всполошат находящиеся там заслоны.

- Здесь рвать Одер! - приказал я.

Батальоны выскочили из леса на хрустящий, ломкий ледок. Солдаты бежали не останавливаясь и не оглядываясь назад. Успели перетащить пулеметы и легкие противотанковые пушки. Потащили 76-миллиметровые - полковые, и лед начал ломаться. Одна пушка утонула, и черная полынья образовалась на этом месте.

Когда в штабе армии получили мое донесение о том, что полк форсировал Одер, то сначала просто не поверили. Ведь основные силы армии еще вели бои за восемьдесят - сто километров от рубежа реки.

Потом они получили второе наше сообщение с просьбой помочь авиацией. Немцы атаковали нас на плацдарме. Вот тогда поверили. Но самолеты тотчас выслать не могли, потому что фронтовая авиация в это время перебазировалась на размытые весенней хлябью аэродромы и была частично парализована. Пока летчики осваивали как временные взлетные площадки широкие гудронированные дороги, шло время.

На плацдарме же события развертывались очень быстро. Не прошло и часу, как над полком, едва успевшим зацепиться за небольшой кусок прибрежной земли, уже повисли черной тучей "мессершмитты" и "хейнкели". Семьдесят четыре часа продолжалась эта первая, почти непрерывная "утюжка" с воздуха.

Вскоре подошли танки и вражеская самоходная артиллерия. Трое суток шли танковые атаки. Трое суток почти непрерывно немцы контратаковали полк, пытаясь сбросить в воду, смять, раздавить наши батальоны, оставшиеся без тяжелого оружия, с ограниченным боезапасом, почти без артиллерии. Мы потеряли более половины людей, полк пятился к реке. Вся болотистая низинка была устлана грудами рваного металла - это валялись всюду разбитые танки. Но когда мы увидели сзади себя, метрах, пожалуй, в сорока, не больше, мутную воду Одера, то здесь уж точно вросли в землю. Ни шагу назад! Стояли, как наши в Сталинграде, - насмерть! И выстояли!"

Так рассказывал подполковник. Я заметил, что он все время посматривает в окно, на видневшуюся вдали серую полоску Одера, а за ним темную линию берега - плацдарма.

Рассказы других солдат и офицеров дополнили картину поистине ожесточеннейших боев на этой пяди земли. Дорогой ценой было заплачено за то, что нога нашего солдата вступила на западный берег Одера в марте 1945 года.

Окончив записи, мы вновь поехали на плацдарм. Нас тянул к себе этот гребень насыпи. Смирнов двигался впереди, пока мы шагали по насыпи.

Прошло уже две недели, как закончились бои. Полк глубоко и надежно закопался в землю. Уже подтянулись тылы и началась привычная жизнь в обороне.

Но память солдат еще цепко держала все детали и приметы недавнего сражения. И подполковник признался мне, шепнув на ухо, что по утрам, когда после ночных заморозков оттаивает почва, ему и до сих пор кажется: чуть заметно попахивает кровью эта болотистая землица заодерского плацдарма...

Мы прожили вблизи Кюстрина несколько дней. И каждую ночь я наблюдал, как на западный берег по мосту переправы, стараясь не шуметь, проходили новые полки, тянулась артиллерия и накапливались в лесах танки.

...Это случилось в одну из темных, безлунных ночей. Я стоял неподалеку от моста, когда к нему подошла колонна танков. На западном берегу огненной стрелой поднялась в небо осветительная ракета и, взорвавшись, рассыпалась вниз дождем мелких световых брызг.

Я стоял близко около дороги и вдруг в раскрытом люке одного из танков увидел бойца, лицо которого напомнило мне Синичкина, танкиста из экипажа погибшего Героя Советского Союза Петрова.

Я окликнул его. Это был действительно Синичкин, и, кажется, он тоже узнал меня. За те несколько мгновений, пока

падающая ракета освещала местность, Синичкин пристально посмотрел на меня, потом приложил руку к темному ребристому шлему.

- Туда? - спросил я, показывая рукой в сторону моста.

Синичкин кивнул. Говорить ему было некогда. Когда танк медленно и осторожно сполз с насыпи на полотно моста, старший сержант сам спрыгнул на переправу. В рукаве шинели он прятал маленький фонарик. Вытаскивая и на короткое мгновение зажигая его, он световой точкой показывал водителю танка, как ему вести по переправе машину.

Синичкин пятился по мосту, все время оставаясь лицом к своему танку. Он как бы приманивал огоньком машину. И "тридцатьчетверка", огромная, массивная, вполголоса рокоча своим мощным мотором, как живое существо, послушно ползла за фонарем Синичкина.

За первым танком, как стадо черных слонов, на переправу взошли другие машины, и даже сквозь рокот моторов было слышно, как заскрипели бревна, и все на мосту напряглось от огромной тяжести.

До самого кануна наступления сюда все подтягивались войска, и можно было только удивляться тому, как плотно они "вписались" в геометрию плацдарма, какое множество полков, артиллерии, танков смогло разместиться на этом кровью отвоеванном клочке заодерской земли.

...Это началось на рассвете шестнадцатого апреля. За час до начала штурма во всех дивизиях и полках был зачитан приказ командующего фронтом. В нем ставилась задача: "...разбить противника на ближайших подступах к Берлину, захватить столицу фашистской Германии - Берлин и водрузить над ним Знамя Победы!"

Ночь выдалась темная, безлунная, с ясными звездами. Около: четырех часов, в преддверии рассвета, в один и тот же миг тишину разорвал залп двадцати двух тысяч артиллерийских стволов. Началась едва ли не самая мощная артподготовка изо всех, которые проводили наши войска перед взломом вражеской обороны.

Первый раскат был подобен землетрясению. Ухо уже не воспринимало нюансов в сплошном реве и дрожании воздуха. Ни о каких записях на пластинку не могло быть речи. Микрофоны "не выдерживали" шума, игла звукозаписывающей аппаратуры прыгала на пластинке.

В этом штурме была применена нашим командованием ночная подсветка прожекторами. Они были расставлены через каждые двести метров вдоль линии фронта.

Зажглись прожекторы, и в синем трепетном свете бойцы увидели, что стало с немецкой обороной: груды развороченной земли, клочья изодранной колючей проволоки, обломки разбитых блиндажей, расщепленные деревья!

Полосы света от наших траншей упирались в немецкие укрепления и как бы старательно обшаривали их.

Скоро в штурм включилась авиация. Удар с воздуха осуществляли четыре тысячи самолетов, шедших волнами. Заработали "катюши". Небо покрыли густые полосы огня, словно кто-то заштриховал его темным и красным. И чем больше разгоралась артиллерийская канонада, тем светлее становилось небо над Одером.

Гремел справедливый бог возмездия - советская артиллерия. Спасаясь от сокрушающего огненного вала, солдаты противника зарывались в землю, в глухие норы своих землянок и блиндажей.

Но жители Берлина, услышавшие эти громовые раскаты, не знали, конечно, о начавшемся наступлении. И берлинцы, случайно оказавшиеся на улице в этот ранний час, должно быть, со страхом и суеверным ужасом взирали на громадное огненное зарево от багряного солнца, на час раньше срока всходившего на востоке.

Напрасно уцелевшие еще типографии противника печатали воззвание Гитлера "К восточным бойцам", в котором бесноватый фюрер предсказывал провал нашего наступления. Напрасно Гитлер патетически вопил о том, что большевистский натиск будет потоплен в море крови и это приведет к перелому в войне.

В конце третьего дня боев исход борьбы на Одере был решен и наши войска ринулись к Берлину...

На аэродроме

Мы ничего не успели узнать о нем, кроме того, что увидели своими глазами за те десять минут, пока летчик находился на земле. Его товарищи, в полной боевой форме, в кожаных, подбитых мехом костюмах и с парашютами за плечами, лежали на траве, жевали сочные с кислинкой стебли полевых цветов и ждали сигнала к вылету.

Его самолет появился в небе неожиданно. Он резко снижался к земле, целясь в нее левым, скошенным крылом, чтобы срезать угол, необходимый для разворота против ветра. Скоро истребитель скользнул по аэродрому, приминая траву, и пробежал вприпрыжку метров сто на своих коротких и кривых, как у мопса, лапах.

Это был "Лавочкин-5", маленький, тупоносый, с короткими, словно обрубленными, крыльями, стремительный и юркий.

Когда смолк на последних оборотах мотор и все окружили

кольцом машину, из кабины вылез летчик. Он спрыгнул на землю и, сорвав с головы шлем, обнажил мокрые волосы, лоб и шею, залитые потом. Тут же он сорвал с себя кожаную куртку и бросился на траву, широко распластав руки.

Летчик несколько минут катался по земле, разминая грудь и спину, терся лицом о траву и, глубоко дыша, тянул в себя воздух, полный густых, как мед, запахов мокрой земли и травы. А его товарищи молча стояли вокруг него и ждали, пока он разомнет спину и сможет начать говорить.

Летчику принесли литровую банку воды, и он выпил половину, а другую выплеснул в сторону. Отдышавшись, он встал спиной к зеленому фюзеляжу самолета и только мизинцем касался голубой струи бензина, что лилась в баки машины.

- Двадцать минут в берлинском небе, - сказал кто-то в группе летчиков, - пять минут туда, пять обратно, десять на аэродроме и снова в атаку.

- Ну как там, под Берлином? - словно по сигналу спросили у летчика сразу несколько человек.

- А! Под Берлином, - вдруг закричал летчик, в ушах его еще не растаял оглушающий рев мотора, - идут по всем дорогам, катятся, текут! - выкрикивал он. - Танковые бои на восточных окраинах!

- Ну, а в воздухе?

- Воздух наш, - все так же громко ответил летчик. - Земля и воздух наши. Я над танковой колонной барражировал. Мосты медленно танки пропускают, так они сквозь дома и вплавь, но главное, чтобы вперед. Да что танкисты, а артиллерия, пехота! Дух захватывает, сколько наших... Лавина!

Он облизнул пересохшие губы, вытер ладонью пот со лба и неожиданно широко улыбнулся.

Двое лейтенантов, сняв кожаные тужурки, начали размахивать ими перед лицом летчика, нагоняя ветер. А он стоял и улыбался, все еще красный от напряжения, похожий на рабочего, только что отпрянувшего от раскаленного горна, и чувствовалось: ему сейчас несказанно сладки эти минуты отдыха, и вкус холодной воды на опаленных жаром губах, и слабый ветер от тужурок, и запах земли, смешанный с бензиновым острым холодком.

Тут к нему подошел подполковник.

- Я тебя ждал, Сухин, - негромко сказал он, - я знал, что ты работаешь над Берлином, вот, получи.

Подполковник втиснул в ладонь летчика небольшую книжку:

- Вручаю тебе кандидатскую книжку и поздравляю с высоким званием коммуниста.

- Ну, спасибо, - сказал летчик и, расстегнув карман гимнастерки, положил туда книжку и тут же слегка потер ладонью карман, словно хотел втереть книжку в карман поглубже. - Ну, спасибо, - произнес он еще раз. - Я оправдаю все!

- Будь здоров, Сухин! - подполковник взял руку летчика в свои ладони. Сегодня у тебя особый день!

Потом подполковник и Сухин одновременно взглянули на часы. Заканчивалась десятая минута с момента приземления истребителя.

Натянув шлем, тужурку и рукавицы, вздернув на плечи парашют, Сухин полез в кабину. Но когда он уже ступил одной ногой на сиденье, словно вспомнив что-то, обернулся и звонко хлопнул самолет по фюзеляжу.

- Счастливо! - крикнул он уже из кабины. Подминая грудью и колесами траву, "Лавочкин-5" подрулил к старту. Сухин вывел два крыла в одну линию, и машина развернулась на ветер.

Легко и плавно ушел истребитель от земли, словно уже успел соскучиться по голубому океану.

Набрав высоту, самолет лег прямым курсом к Берлину, где еще метались над горящим городом последние клейменные свастикой гитлеровские самолеты.

Новые бойцы

В небольшой комнате на скамейках, тесно приставленных друг к другу, сидят девушки. Они негромко переговариваются между собою. Доносятся обрывки фраз, составленных из русских, украинских и белорусских слов, произносимых подчас с чужим, режущим ухо акцентом. Время от времени в напевную мелодию славянской речи влезает резко звучащее немецкое слово.

Шестнадцать пар горящих любопытством глаз рассматривают звукозаписывающую аппаратуру.

- Мы приехали сюда, - говорим мы девушкам, - чтобы записать на пластинку, а потом передать из Москвы по радио ваши рассказы о каторжной жизни в Германии... Близкие и земляки услышат ваши живые голоса отсюда, из неметчины...

Девушки внимательно слушают. Все они примерно одного возраста, 18-20 лет. Два-три года тому назад, школьницами, подростками, их увезли в Германию. Это сверстницы молодогвардейцев, Зои Космодемьянской.

Прошла только неделя, как наши войска взяли это небольшое селение. Еще идет война, и все полонянки, которых мы пригласили выступать перед микрофоном, поступают добровольцами в армейский дорожный батальон. Завтра они наденут форму, получат погоны, но сегодня они еще сидят перед нами в блузках и платьях, в русских цветных платочках. Девушки

сидят группами, землячки вместе - украинки, белоруски, уроженки центральных областей России. Здесь и работавшие на немецких фабриках, и те, что жили у "хозяев" домашними рабынями... Молодые, совсем еще молодые лица, раскрасневшиеся от смущения. Девушки то и дело смеются, перешептываются и прихорашиваются. Но что-то затаенное в глубине этих; смеющихся сейчас глаз острой болью трогает сердце. Оператор выдвигает на середину комнаты микрофон.

- Ну, кто же будет говорить первой? Девушки молча подталкивают друг друга, но никто не решается. Они взволнованны и застенчивы.

- Тогда мы сделаем так, - говорит оператор Спасский. - Пока вы будете думать, заведем музыку. У нас концертный набор пластинок из Москвы. Хотите?

Спасский долго роется в ящике и выбирает наконец пластинку по своему вкусу. Он ставит ее на диск аппарата, включает мощный усилитель, и комнату заполняют звуки знакомой песни о девушке, увезенной немцами в неволю.

О чем ты тоскуешь, товарищ моряк?
Гармонь твоя стонет и плачет.
И ленты повисли, как траурный флаг,
Скажи нам, что все это значит!
Друзья, свое горе я вам расскажу,
От вас я скрываться не стану.
Незримую рану я в сердце ношу,
Кровавую, жгучую рану.

Кажется, песня рождается заново сейчас, в этой комнате. Плывет, раскачиваясь, бескрайняя и глубокая, как горе, мелодия...

Ее увели на позор и на стыд,
Скрутили ей нежные руки...
Отец ее ранен, братишка убит,
Так мне написали подруги.

Девушки замерли на своих скамейках. Кажется, что теперь они даже дышат все одновременно, как воду пьют большими глотками, и им не хватает воздуха.

И нет мне покоя ни ночью, ни днем,
От ярости я задыхаюсь.
И только в атаке, в бою под огнем
Я местью своей упиваюсь.

Я вижу, как на глазах у девушек неожиданно появляются слезы. У одной и тут же у другой. Кто-то всхлипнул в углу, и вот уже плачут все. Плачут беззвучно, закрывая рот платками.

Все в комнате замирают в полной растерянности. Оператор спешит снять пластинку.

- Эх, думать же надо, что ставить! - почти кричит кто-то за его спиной. Смущенный, растерянный, он совсем останавливает аппарат.

Я смотрю на красивую черноволосую девушку, которая сидит в первом ряду, прижавшись к подруге и склонив голову на ее плечо. Она, единственная, с большим трудом сдерживает слезы. В ее глазах нет даже упрека, нельзя назвать упреком этот мягкий, доверчивый и благодарный взгляд. И все же он говорит: "Что же вы, товарищи, нельзя так".

Эту хорошую песню о верной любви, о глубоком горе и священной ненависти девушки слышат впервые. Она пришла к ним вместе с армией, вместе с советскими людьми. Они поймут это позже. Поймут и оценят. А пока песня бередит сердце памятью о недавнем прошлом. И девушки плачут.

- Довольно, девчата! Тише, слышите, ей-богу, стыдно. - Это говорит девушка из первого ряда. Она подымается и, повернувшись к подругам, сердито машет на них рукою, крепко, до синевы в пальцах, сжав ее в кулак.

Широкий красный платок сполз с ее плеч, открыв украинскую, расшитую веселыми цветами, сорочку. Сорочка новая, аккуратно разглаженная. С каким трудом удалось сохранить ее где-нибудь на дне чемоданчика, пропутешествовавшего сюда из глубин России.

Я мысленно повторяю это дикое, забытое уже много веков назад, страшное слово "полонянки". Это слово умрет завтра, послезавтра, но так ли скоро исчезнет в сердцах девушек страшная о нем память?

- Знаете что, - снова говорит черноволосая девушка, - давайте какую-нибудь другую пластинку. Заведите веселую, что-нибудь родное.

Девушка сама идет к оператору, и они начинают вместе рыться в ящике. Вытаскивают пластинку и кладут ее на диск аппарата... И вот медленно, а затем все быстрее и быстрее, словно откуда-то с улицы в раскрытую форточку,

вплывают в комнату звуки новой песни:

Эх, мы на лодочке катались, золотистый-золотой,

Не гребли, а целовались...

Теперь девушки понемногу затихают, слушают. Еще несколько минут - и начинают просыхать заплаканные глаза. Глубокий вздох облегчения проносится за нашей спиной. Спасский вытирает пот со лба. Солдаты, стоящие сзади аппаратуры, начинают тихо притопывать ногами... И девушки уже смеются.

Потом мы ставим одну за другой пластинки с новыми,

незнакомыми девушкам песнями, и после каждой Спасский спрашивает: "Эта нравится?" И, довольный, слышит в ответ: "Очень!"

Наконец мы приступаем к работе. Первой перед микрофоном говорит Валя так зовут девушку в украинской сорочке. Она сидит на самом краю стула, обхватив одной рукой стойку микрофона, и не читает свое выступление по бумажке, как это обычно делают, а точно беседует с невидимыми, но хорошо знакомыми ей людьми, которые ее слушают во всех уголках страны.

Валя была увезена из Донбасса и продана в дом к какому-то немецкому лавочнику. Ей запрещали выходить из дома и встречаться с подругами. Валя никогда не видела газет, не знала, что делается на родине. В доме, где жила Валя, был радиоприемник, но даже близко подходить к нему ей не разрешалось.

Это случилось однажды днем, когда хозяев не было дома. Задернув шторы, чтобы никто не увидел ее с улицы, Валя подсела к приемнику. Из репродуктора слышались гортанные немецкие голоса, позывные английских станций, свистел эфир. И вдруг до боли знакомый голос, словно кто-то стоящий рядом в комнате сказал: "Говорит Москва!"

Закрыв глаза и крепко сжав виски ладонями, стараясь не проронить ни одного слова, Валя слушала диктора. Он говорил о том, как восстанавливается жизнь в Донбассе, и в числе других городов назвал ее родной город. Он называл имена шахтеров (многих из них знала Валя), которые спустились в недра разрушенных и затопленных шахт и уже дали на-гора первый уголь.

Валя слушала голос родины всем сознанием, всем сердцем. Минутами она забывала обо всем: о стенах каторжного своего дома, о хозяевах, которые каждую минуту могли вернуться и застать ее за преступным делом.

Когда кончилась передача, Валя не решалась раздвинуть занавески на окнах. Ей казалось, немцы увидят с улицы ее лицо и догадаются обо воем.

Письмо сыну

...Утром следующего дня, перед отъездом, мы снова увидели девушек. Всходило солнце, еще не греющее, но словно умытое росой. Девушки шли строем по тихой, безлюдной улице селения. Они были одеты в гимнастерки и синие юбки, тщательно выглаженные, и перепоясаны новыми желтыми скрипящими ремнями. Еще путаясь в строю, они старательно ударяли сапогами по мостовой и широко, не в такт, размахивали руками.

Так они шагали по улицам своей бывшей каторги, такие

красивые от счастья, что мы, остановив машину, долго смотрели вслед маленькой колонне новых бойцов армии.

Вижу ее и сейчас совершенно отчетливо, эту тихую, неширокую улицу немецкого городка на Одере, и трехэтажный дом, поражающий нетронутой белизной своих стен, не задетых дождем пуль и снарядных осколков.

Над балконом третьего этажа колыхалось на ветру красное полотнище, возвещавшее всем жителям, что здесь временно разместилась комендатура. В этом доме жил и комендант полковник Свиридов, еще три дня назад бывший заместителем начальника политотдела дивизии.

Его соединение прошло через этот город, наступая на Берлин. Еще где-то на окраинах замешкались тылы частей, а Свиридов, недавно вернувшийся на фронт после ранения и легкой контузии, не продвинулся дальше Одера и был оставлен на работу "полегче". Против воли его и желания - довоевать войну в Берлине - Свиридова назначили комендантом города.

Мы въехали в него ночью, переправившись через тот самый мост на плацдарме, который сослужил добрую службу нашим наступающим частям.

Переночевав в комендатуре, встретили новый день за завтраком в большой гостиной коменданта. Было десять часов утра, а на наших часах с московским временем уже полдень, и немецкое "опаздывающее" солнце только-только начинало прогревать воздух.

Сквозь настежь открытые окна струилась в комнаты прохлада, а вместе с нею звуки протяжной и грустной песни. Это пели русские девушки в соседнем доме с готической черепичной крышей. Слова было трудно разобрать, по сама мелодия, полная сдержанной тоски, волновала сердце памятью о нашем, далеком от Германии доме.

Комендант, выглядевший усталым, сидел у окна. И нервный тик, и нездоровый цвет кожи - все это говорило о том, что полковнику нужен не кратковременный, а длительный отдых, который ему война предоставить не в состоянии.

- Мне приказали - поезжай в санаторий, - рассказывал он. - Но разве можем мы, старые солдаты, начинавшие войну, не увидеть ее конца? Когда я вспоминаю оборону на Волге, у меня вкус во рту появляется - снега, смешанного с кровью, мы его растапливали во время осады. Разве я могу сказать себе: "Поезжай лечиться!" Кто же сыну моему расскажет о Берлине?

Я слушал коменданта и смотрел через окно на улицу, которую подметали пленные немецкие солдаты. Я заметил, что солдаты смотрят только прямо перед собой, не оглядываются по

сторонам и отворачивают голову, когда по улицам проходят женщины, дети или старики.

Под самым нашим окном немецкие женщины почему-то шепотом переговаривались в длинной очереди к продуктовой лавке. Сюда не подходили пленные солдаты, словно им больно было и стыдно взглянуть в глаза соотечественниц.

- Вот он, мой наследник, Женька, - сказал мне комендант, вытаскивая из кармана френча фотографию белобрысого паренька лет десяти. - Я как-то с фронта заехал домой в Ленинград, - продолжал он, - несколько месяцев не имел писем от родных, толком не знал, как они перенесли блокаду. Давно не видел сынишку, ну и, конечно, волновался страшно. Вошел в квартиру. И знаете, какой фразой меня встретил сынишка? "Здравствуй, папа! Ты знаешь, у нас в Ленинграде слона убили!" Действительно, во время бомбежки немцы убили слониху в ленинградском зоопарке! Вот оно какое горе было у моего Женьки, рассмеялся комендант, пряча фотографию сына.

- А верно ли, что можно с вашей помощью наговорить письмо на пластинку? - через минуту спросил Свиридов.

И утвердительно кивнул.

- Тогда так и сделаю, - решил он, - наговорю письмо на пластинку и пошлю его почтой. А в Ленинграде сын заведет патефон и будет слушать отцовский голос из Германии. Слышишь, Иван! - закричал комендант своему вестовому. - Женька-то мой голос отца услышит. Дай-ка бумагу!

Пока Свиридов, устроившись у открытого окна, писал письмо в Ленинград с тем, чтобы прочесть его перед нашим микрофоном, я вспомнил, как до завтрака мы вместе просматривали гитлеровские пропагандистские фотоальбомы. В спешке отступления их побросали во многих квартирах удравшие на запад нацистские активисты и эсэсовские молодчики.

В этих альбомах на десятках фотографий в самых разных позах был снят Гитлер. Он не скупился на то, чтобы в миллионах экземпляров распространить по стране и вывесить едва ли не на каждой квартире свои портреты. Не только нас, советских людей, но и самих немцев в эти дни уже мутило от одного вида этой физиономии, от одного взгляда на одутловатое, дряблое и злое лицо, темные усики и словно бы мокрую, приклеившуюся ко лбу прядь волос.

Мы уже не обращали внимания на валявшиеся во многих квартирах портреты Гитлера, где фюрер изображался то на параде, то рядом со своей собакой крупной немецкой овчаркой, то у глобуса, то вместе с детьми на лоне природы.

Но несколько фотографий в альбоме привлекли мое

внимание - это были репродукции с картин Гитлера-художника.

Нельзя утверждать, что этот изверг вовсе не владел кистью. Он подмалевывал нечто похожее на городские пейзажи. Удивляло в них не отсутствие живописного таланта, а другое. А именно - удивительно стойкое пристрастие Гитлера к темам гибели и разрушения городов, картинам хаоса и руин после артиллерийских обстрелов и бомбежек.

Я припоминаю репродукцию с пейзажа какого-то парижского квартала, освещенного желтым закатным солнцем. Квартал был разрушен немецкими пушками. И тут же вид на Варшаву, упавшую на колени тысячами своих поверженных домов.

Разрушение, разрушение! Вот чем питалась фантазия этого "художника"! Демон разрушения жил в душе фюрера, мечтавшего увидеть не только на полотне, но и на земле города и страны, растоптанные сапогом фашистского солдата!

Это он - "художник Гитлер" - приказал обстреливать Ленинград тяжелыми орудиями, это он похвалялся сровнять с землей Петродворец и Пушкин, Эрмитаж и Зимний - сокровища мировой культуры. На одной из фотографии в альбоме я увидел подпись Гитлера, она поразила меня. Только первые буквы росчерка стояли прямо, а остальные, наклонясь, сползали вниз, почти по вертикали. Было в той падающей подписи что-то сродни картинам Гитлера, их мрачному фону, их изуверской фантазии.

Свиридов еще не кончил писать, когда под окном комендатуры остановился маленький коренастый человек и что-то прокричал, вызывая полковника.

Он стоял широко расставив ноги и закинув голову вверх. Его длинные, закрывающие шею иссиня-черные волосы шевелил ветер.

Это был артист бродячего цирка, застигнутый здесь наступлением наших войск.

Артист был подданный Греции, он говорил на восьми языках и уже немного на русском.

- Когда мы можем давать представлений? - на ломаном русском языке спросил он и сделал широкий театральный жест рукой, как бы выражающий его готовность тотчас приступить к работе.

- Скоро, скоро! - крикнул Свиридов.

- Работать хорошо, очень хочим! - сказал артист и снова вытянул вперед свои руки. Даше под покровом костюма угадывались крепкие, упругие мускулы его атлетического торса.

Свиридов усмехнулся. Не отрываясь от своего письма, снова крикнул через окно артисту, что он сможет начать свои выступления, как только приведут в порядок местный театр.

Тысячи беженцев, людей, угнанных изо всех стран Европы, в эти дни, воспрянув духом, жаждали хоть какой-то работы, любой деятельности, которая могла бы оказаться полезной для новой жизни в Германии.

Проводив греческого артиста, Свиридов наконец закончил свое письмо и, перед тем как наговорить его на пластинку, торжественно и прочувствованно прочитал его мне.

- "Пишу тебе, Женька, из Германии, из маленького города, - писал полковник. - Я тут, Женька, на комендантской работе. Врага мы сокрушили на Одере, идет наступление, и недалеко уже Берлин. Скоро побываю и там. Будет о чем рассказать!"

Он одними глазами спросил у меня - хорошо ли? Я утвердительно кивнул, и Свиридов продолжал:

- "Так вот, друг Женька! Я сижу за столом, а под окном комендатуры ходит бывшая раса господ, и очень много у меня разной работы. Ты же смотри слушайся маму и хорошо учись. Приеду - проверю.

Слушай, Женька! Здесь, в городе, оказался трофейный слон и наш русский медведь - земляк. Из разбомбленного зоопарка. Слон и медведь - голодные, их никто не кормил, гитлеровцам было не до этого! Звери-то оказались краденные из России. Вот теперь мы их домой отправляем, может быть, они в Ленинград попадут.

До свидания, сынок, жди папку из Берлина..."

Свиридов прочитал это письмо перед микрофоном. Пластинку я обещал отправить Женьке, в Ленинград.

Уже перед отъездом, минут на двадцать мы пошли погулять по городу. Немцы, попадавшиеся нам навстречу, кланяясь, снимали шляпы. Они расчищали улицы, чинили трамвайные пути.

Река у берегов была завалена обломками разбитого моста. Вдоль берега цепочкой тянулись баржи, на них грузили имущество, украденное гитлеровцами в России.

И вдруг мы увидели большого слона. Возможно, это был тот самый, о котором писал полковник Женьке.

Слон бежал к пристани, привязанный за ногу длинной цепью к грузовой машине. Машина шла довольно быстро, и тяжелая цепь, должно быть, больно дергала слона. Он недовольно мотал хоботом, однако бежал тоже быстро.

Потом провожающие повели его по толстым, сильно прогибающимся доскам настила, и вот слон был на барже.

- Давай в Россию! - крикнул кто-то из наших солдат.

Баржа отплыла. Мы вернулись к своей машине.

...Маленький этот эпизод мог бы и быстро забыться. Да только я долго помнил усталое лицо боевого полковника

Свиридова и ту счастливую улыбку, с которой он писал "говорящее письмо" из Германии маленькому ленинградцу Женьке.

"Говорит Берлин!"

Городок Штраусберг - в сорока километрах от Берлина. Волна боев, стремительно прокатившихся здесь, обошла город, почти не затронув этот небольшой островок из аккуратных домиков, узких улиц и множества садов, пышно расцветших в апреле.

Штраусберг прилепился к озеру, поросшему по берегам высокими соснами. Статные силуэты деревьев отражались в воде. Шум берлинского сражения лишь изредка докатывался в Штраусберг слабым гулом. И город, к нашему удивлению, в эти дни сохранил довоенную свою ласкающую слух тишину.

Здесь, заняв несколько кварталов, огороженных полосатыми шлагбаумами, разместился штаб 1-го Белорусского фронта. А по берегам живописного озера, в густой тени парков, расположились фронтовые госпитали.

В Штраусберге находился узел прямой высокочастотной связи с Москвой. Это было так называемое "ВЧ". Оно-то и привязывало нас прочно к этому городку, ибо каждый день на рассвете мы приезжали на машинах в Штраусберг с тем, чтобы передать по прямому проводу в Москву записи на пластинках, наши корреспонденции и очерки.

Тут, должно быть, пришло время немного рассказать и о самой нашей группе, экипаже "радиотанка". До сих пор для краткости я употреблял отвлеченное местоимение "мы" и уже одним этим как бы объединял всех нас одной мерой чувств, видения и переживаний. И это в основном так и было.

Но вместе с тем "мы" - это был коллектив, составившийся в последние месяцы войны из людей разных и по возрасту, и по опыту жизни.

"Мы" - это был писатель Михаил Семенович Гус, в годы войны работавший в немецком отделе и принимавший активное участие в радиопропаганде из Москвы для гитлеровского тыла. И журналист М. С. Шалашников, и оператор А. М. Спасский, и я, и наш шофер Корпуснов Михаил Иванович, рядовой из армейского автобата, прикрепленный к нам на весь период "операции" по записям исторических событий и шумов.

Корпуснов, рабочий-металлург из Подмосковья, провел "за баранкой" всю войну, тысячи километров прошли колеса его машин по фронтовым дорогам от Москвы до Берлина. Дома, в городе Электростали, его ждали жена и двое мальчишек.

Это был серьезный человек, немногословный, смелый, с доброй, отзывчивой душой, и его отцовскую ласку чувствовали

немецкие ребятишки, постоянно крутившиеся вокруг его машины. У Михаила Ивановича был в машине свой продовольственный "склад-тайник" - ящик, смонтированный под скамейкой в кузове. Оттуда он доставал гостинцы для ребятишек - хлеб, сахар, консервы.

Конечно, мы не всегда находились вместе. Уезжая на разные участки фронта, в разные районы Берлина, нередко по нескольку дней не видя друг друга, мы все-таки всегда собирались у прямого провода связи с Москвой.

С осени сорок первого я воевал солдатом и только после тяжелого ранения летом сорок третьего попал в тыловой госпиталь, а уж оттуда в редакцию "Последних известий". Немецкий снайпер под Рославлем перебил мне правую руку, и хотя кость срослась, долгое время кисть руки не поднималась, и это вынуждало меня учиться писать левой рукой.

Кстати говоря, этим обстоятельством в значительной степени и объяснялось то, что в те дни я предпочитал ручке - микрофон, через который можно было "наговаривать" статьи и очерки.

В Москве, дежуря по ночам в редакции и составляя для эфира утренние выпуски "Последних известий", я, откровенно говоря, не предполагал, что мне еще раз доведется побывать на фронте, и именно на Берлинском направлении.

Но однажды ночью у меня дома раздался телефонный звонок, и тогдашний руководитель редакции, ныне покойный Евгений Михайлович Склезнев, осведомился, как я себя чувствую.

- Нормально, - сказал я.

- Тут есть возможность съездить на фронт. Больная рука не помешает?

- Нет, а куда ехать?

- В западном направлении.

Евгений Михайлович не хотел расшифровывать точного маршрута и называть Берлин, может быть потому, что разговор этот происходил еще в январе сорок пятого и редакция планировала нашу поездку в расчете на то, что столица Германии будет взята через несколько месяцев.

- Так как же?

- Еду, готов, - сказал я не раздумывая.

Надо ли писать о том, с каким нетерпением каждый день радиослушатели всей страны ожидали сведений с Берлинского направления, рассказов о том, как идет штурм главной цитадели гитлеровцев.

На рассвете двадцать второго апреля наша группа собралась у телефона "ВЧ". Мы только что приехали из района боев. Уже завязывались первые схватки в> северовосточных пригородах

Берлина.

Шел бой за автостраду. Ее широкий бетонный пояс охватывал весь район Большого Берлина.

Гитлеровцы отчаянно цеплялись за автостраду: она открывала широкие подступы к городу.

Положение на фронтах в эти дни складывалось таким образом. 1-й Белорусский шел к Берлину с востока, одновременно начали наступление войска 1-го Украинского, прорвав вражескую оборону по нижнему течению реки Нейсе между Мускау и Губеном. Танки маршала Конева неудержимо рвались дальше на запад. Двадцать первого апреля перешел в наступление и 2-й Белорусский фронт. Армии маршала Рокоссовского обходили Берлин с севера.

Эти радостные вести мы и собирались передать в Москву по прямому проводу, "подкрепив" корреспонденции документальными шумами боев на окраинах Берлина.

Как обычно, в наших сообщениях события огромного, поистине всемирно-исторического значения перемежались с фактами, наблюдениями, приметами менее значительными, но весьма характерными для этих дней.

Двадцать второго апреля мы узнали, что два дня назад Гитлер "отметил" свой последний день рождения, и это известие, переданное по радио, удивило нас своей нелепостью. Берлин уже горел со всех сторон, уже смыкалось огненное кольцо вокруг города, а Гитлер счел нужным оповестить несчастных берлинцев о своем празднике, который уже многие годы отмечался и как праздник всей его "империи".

Воистину, в подвалах имперской канцелярии шел "пир во время чумы", ибо тысячи обманутых людей продолжали гибнуть в тщетной попытке задержать наступательный шквал советских войск.

Однако это не помешало Геббельсу еще раз солгать немецкому народу о якобы "глубокой, непоколебимой верой его в своего фюрера", о том, что "всеобщая выдержка принесет победу".

Хотя бои уже продвинулись в город; гитлеровцы еще продолжали бешено обороняться. Еще действовал переданный по радио приказ немецким артиллерийским частям - стрелять по своей отступающей пехоте осколочными снарядами. На отчаянные просьбы командиров частей - разрешить отход командование неумолимо отвечало: "Держитесь при любых обстоятельствах. Кто отойдет, тот будет расстрелян!"

В оперативной сводке, переданной всем частям, Геббельс откровенно сообщал, что "немецкие войска на Эльбе повернулись спиной к американским войскам, чтобы помочь берлинцам в их

грандиозной битве за столицу".

Подбадривая остатки "седой гвардии Гитлера", состоящей главным образом из стариков и юношей, зараженных фашистским духом, Геббельс развесил по городу плакаты: "Берлин был и остается немецким!", "Новые силы подходят, Берлин сражается под командованием фюрера!", "Каждый взмах твоей лопаты смерть советским танкам!"

Немногие еще выходившие фашистские газеты вопили "о борьбе против большевизма". И все-таки сквозь эти истерические лозунги, приказы и заклинания фашистских главарей, даже на страницах газет, даже по берлинскому радио, порой звучали отчаянные признания.

"Разверзся ад, и речь идет о развязке этой войны!" - сообщало гитлеровское агентство Транцеан. Да, историческая развязка приближалась!

Как узнали мы позже, в эти дни, когда наши войска приблизились к восточным пригородам Берлина, все иллюзии Гитлера рухнули. Он в своих приказах осыпал армию, Эсэсовцев, весь народ страшными оскорблениями, обвиняя их в предательстве, в непонимании его величия и целей.

Гиммлер и Геринг уже покинули Берлин, надеясь завязать переговоры с западными державами. Кейтель и Йодль тем временем пытались организовать контрнаступление на Берлин, используя свою 9-ю армию, отходившую от Одера, и печально известную 12-ю армию генерала Венка, на которую Гитлер возлагал свои последние надежды.

Эта армия, стоявшая на западе от Берлина, все еще держала оборонительные рубежи на реках Эльбе и Мульде. Обе армии должны были соединиться южнее Берлина. Фашистских генералов не оставляла еще бредовая идея попытаться освободить Берлин и Гитлера из кольца окружения.

А тем временем наши солдаты уже проникли на Берлинер-Аллее первую улицу старого Берлина. Они видели вокруг себя постройки дачного типа, сады, огородные парники. Между ними в земляных капонирах противник размещал орудия, в том числе и зенитные, превращенные в противотанковые, лишь прикрыв их маскировочными сетями.

Я видел захваченные орудия. На одном из орудийных щитков было написано мелом "Учтено!" и стояла дата учета? - это кто-то из хозяйственных наших бойцов во время боя, на бегу, умудрился все же произвести учет захваченных военных трофеев.

Бой прокатился дальше Берлинер-Аллее, и теперь наши саперы ставили свои знаки на домах, и странно было видеть начертанное мелом русское "разминировано" рядом с немецкими

буквами на вывесках, намертво вделанных в стены:

"Идеальное молоко".

"Автомобили Оппель".

Ох, в эти дни в Берлине давно уже нельзя было сыскать "идеального молока" и любого молока вообще! Загнанные в бетонные щели берлинцы мечтали лишь о сохранении своей жизни и куске хлеба.

Бой шел от дома к дому. На вопрос, где же линия фронта, можно было услышать: "А вон там, товарищ, за углом!"

Старший сержант Павел Сидоренко, темноволосый, статный украинец с Полтавщины, сказал, показывая на большой дом, где на верхних этажах засели гитлеровцы:

- Взорвать все к чертовой матери - дело пустяковое, да они, гитлеровские сучьи сыны, заложников там заховали. И держат. Двести душ наших русских и поляков. На жалость бьют, на человечество! А мы идем вперед, такой дом оставляем в тылу. Сами они потом сдаются!

Изо всех берлинских тюрем в апреле были выпущены уголовные преступники, одеты в солдатскую форму и брошены в бой. Правда, отъявленные рецидивисты, бандиты и жулики не горели желанием умирать "за фюрера" и предпочитали открытый грабеж магазинов и домов.

Тот же Сидоренко показал мне и листовку, которую он обнаружил у раненого гитлеровца. Это было отпечатанное типографским способом обращение ко всем немцам недавно созданной гитлеровцами организации "Вервольф" "Оборотень".

Вот что там писалось: "...До тех пор пока коричневая рубашка на мне, я свирепый охотник. Мы все принадлежим фюреру, мы подобие волка. Наше дело охота..."

Всегда питавшие пристрастие к пышным титулам, к угрожающе-выспренним наименованиям своих дивизий - что хотели на этот раз сказать гитлеровцы самим названием новой организации - "Оборотень"? То, что фашизм обернется новой своей личиной и в новой шкуре будет продолжать старое дело?

"Верволъф", по замыслу заправил "третьей империи", был создан для длительного подпольного сопротивления нашим войскам, в расчете на подлую войну из-за угла в освобожденных уже районах Германии.

Вот этот сплав различных фактов, рисующий сложную боевую обстановку в первые дни третьей декады апреля, и лег в основу корреспонденции, которую я ночью, прямо в нашем радиотанке, наговорил на пластинку.

Мы нередко прибегали таким образом к помощи радиотехники. Это избавляло порой от необходимости самому

присутствовать при передаче "материала" - ведь от района боев до Штраусберга было не так уж близко.

Но в это утро я был у аппарата "ВЧ". Помню маленькую комнату в небольшом белостенном домике и черный аппаратик на столе, такой миниатюрный и с виду невзрачный, что казалось, он мог служить лишь для внутренней связи между отделами штаба фронта.

Но ровно через секунду после того, как я снял трубку с рычага, послышался голос человека, удаленного от нас на несколько тысяч километров.

- Алло, кто говорит? - спросил он сонно.

В трубке .что-то слегка дрожало, и тихий, еле различимый гул напоминал о расстоянии, отделявшем нас от Москвы.

- Говорит Берлин, здравствуйте!

- Какой Берлин?

- Какой?

Это был странный вопрос. Его мог задать только человек, не, предупрежденный о нашем разговоре с Москвой. Позже выяснилось, что в аппаратной радиокомитета не было своего аппарата "ВЧ" и мы попадали сначала в особый узел связи, а оттуда нас подключали к обычной городской сети.

Вы представьте себе, что снимаете в Москве трубку обычного телефона и кто-то заявляет, что он говорит из Берлина, и это в то время, когда Берлин еще столица гитлеровской Германии.

- Не валяйте дурака! - зло сказал телефонист.

У нас под Берлином только светало, и я слышал, как злой дежурный тут же зевнул в трубку и, кажется, потянулся. Меня же на рассвете слегка знобило от холодного воздуха, оттого, что я не выспался и устал. Но бывает, что смех ж согревает и бодрит.

- Сколько вы знаете Берлинов?

- Мне не до шуток, - обиделся телефонист.

- Нам тоже. Так слушайте: говорит действительно Берлин, тот самый, в котором мы заканчиваем войну. С фронтовым приветом, товарищ! А сейчас, пожалуйста, подключите нас к аппаратной звукозаписи.

- Одну минутку.

Пока телефонист щелкал кнопками, он успел уже в ином тоне, дружески-уважительном, осведомиться у нас о берлинской погоде.

- Подходящая, а в Москве?

- Идет дождик, но тепло. Как у вас там дела?

- Берем Берлин!

- Вот и прекрасно, - перебил нас на этот раз дежурный из нашей студии. - Здравствуйте, дорогие товарищи! Поздравляем

вас с боевыми успехами. Горячий привет от редакции, от ваших родных, от друзей. Все ли живы-здоровы?

- Все, все в порядке.

- Тогда наши аппараты готовы, личные дела, просьбы потом. Сейчас начинаем работу.

Спасский включил наш аппарат "Престо". Я услышал негромкое шипение магнитофонов в московской аппаратной, и началась работа, та самая, которую радиотехники называют записью по проводам.

Я надеюсь, что не слишком углубился сейчас в мелкие подробности, рассказывая о том, как мы передавали наши записи в Москву. Не знаю, смогу ли выразить то особое, трепетное волнение, которое охватывало в эти минуты нас и тех, кто слушал нас в Москве.

Сейчас это уж как-то забылось, ушло в прошлое, но в ту весну любой телефонный разговор, голос с фронта, русский голос из-под Берлина - живое свидетельство того, что мы вступили на землю Германии, - не мог никого оставить равнодушным. К тому же по прямому проводу слышались тогда голоса бойцов, артиллерийская стрельба, скрежет танковых гусениц, крики раненых, вопли немцев, - весь шум берлинского сражения мощной симфонией, казалось бы, вливался в этот ранний час в тихую утреннюю, только что проснувшуюся Москву.

Шум этот поражал телефонисток, пугал непосвященных дежурных и радовал работников редакции.

Как драгоценный, неповторимый голос самой истории они бережно "собирали" этот шум до последней нотки, с тем чтобы он обрел вечное существование в бороздках пластинок и на лентах магнитофонов.

Обычно мы работали по "ВЧ" с Москвой не больше часа, и приходилось "прокручивать" наши пластинки, как говорится, в темпе. Порой не обходилось и без забавных казусов. Кроме магнитофонов для контроля наши передачи еще записывали и стенографистки.

В это утро стенографистка не разобрала в передаче несколько слов. Не зная, что говорит пластинка, она попросила остановиться и повторить одно место. Но пластинка продолжала крутиться.

- Алло, алло, стойте, я не разобрала, стойте! - кричала она.

Однако мой голос замолк, лишь когда кончилась пластинка.

- Вы что там, оглохли? - спросил дежурный оператор.

- Нет, все в порядке, сейчас я его поставлю снова, - сказал Спасский.

- Не понимаю, кого поставите снова?

- Автора.

- Как автора, куда?

И только когда в трубке зазвучала корреспонденция с самого начала, операторы в московской студии догадались, в чем дело.

В конце связи по проводам мы имели право минут на пять для личных разговоров с родными в Москве и Ленинграде. Иногда они сами приходили в студию. В это утро по нашей просьбе к аппарату пригласили жену Михаила Ивановича Корпуснова.

Корпуснов не слышал голоса жены три года. На разговор ему отвели только три минуты.

Конечно, он боялся, что не успеет сказать самого главного, пока жена, почти не давая ему говорить, что-то быстро спрашивала, почти захлебываясь словами, и было слышно, как голос ее рокочет в мембране трубки.

А Михаил Иванович отвечал ей только одним словом: "Свидимся".

- Свидимся скоро, Катя! - повторял он с большой гаммой оттенков, всякий раз по-особому произнося это слово - то с нежностью, то с надеждой, то подбадривая жену, то как бы внушая ей что-то важное и серьезное.

- Ребятишек береги, Катя, свидимся, скоро войне конец, а пока я заканчиваю разговор из Берлина. Иди домой, Катя! - сказал он, быстро отрывая от уха трубку, словно бы ему больно было слушать последний вздох и наставления жены.

Он стоял красный и сухой ладонью медленно провел по глазам.

- Ну вот, это лучше любой телеграммы - сам живой голос! Теперь-то уж она будет ждать с легким сердцем, - сказал я Корпуснову.

- Да точно! А что ей скажешь за три минуты! Главное - что живой, а остальное приложится, - сказал он, немного смущенный нашим вниманием к нему. - В общем, горячее спасибо!

Еще дежурный по студии в Москве, используя последние секунды связи, торопливо договаривался с нами о следующей передаче, еще не остановился звукозаписывающий аппарат "Престо" и мы просматривали свои записи - не забыли ли чего? - а уже за стеной домика зарокотал мотор.

Это Михаил Иванович Корпуснов сидел в кабинке и короткими гудками нетерпеливо звал нас в машину. Он понимал, что в эти дни каждая минута, которую мы могли провести в Берлине, была потрясающе интересна и столь же неповторима.

Одним словом, пора было ехать к переднему краю, в Берлин, где военная обстановка менялась с каждым часом.

Коллекция артиллериста

Двадцать третьего апреля в девять вечера Москва салютовала войскам, прорвавшимся к Берлину, двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий! Далеко на востоке в тихом небе Москвы орудийные раскаты гремели в честь берлинского сражения. А здесь у нас, на западе, орудия били еще по самому Берлину.

Дивизион подполковника Клименко занял боевые позиции в берлинском пригороде. Орудия закатили в окопы, вырыв их в мягкой земле, покрытой лишь тонкой зеленой шубкой дерна.

Вокруг виднелись; аккуратные белостенные домики в окружении курчавых садов. Было странно видеть, как стволы пушек высовывались из садовых зарослей, словно бы это были темные стволы упавших деревьев, чудом застрявших на кустах черемухи и малины.

Пока орудия не вели огня, в садах было тихо, как в мирное время в дачной местности. Если только не обращать внимания на взвивавшееся к небу пламя пожаров над газовыми заводами в Венсензее да на шум моторов, летящих по кольцевой берлинской автостраде.

Командир дивизиона, высокий офицер со строгой кадровой выправкой, в очках, которые придавали его лицу сердитое выражение, и молодой круглолицый лейтенант, командир топографического взвода, сидели на террасе одного из дачных домиков и пили чай.

Сквозь разноцветные окна террасы был виден сад, красивая чугунная изгородь и темная дыра входа в землянку около цветочной клумбы. Над входом виднелись торцы бревен наката, как и полагается при сооружении таких землянок вблизи переднего края.

Случись артиллерийский налет противника, и все бы полезли в блиндаж, но сейчас подполковнику, конечно, было куда приятнее сидеть на террасе за широким столом, по краям которого свисали карты района Большого Берлина.

- Хотите чаю? - предложил мне Клименко. - На войне сейчас перерыв;.

Я прислушался: немцы действительно вблизи не стреляли.

- Перерыв, так точно, я заметил, они в это время завтракают, - вставил лейтенант и улыбнулся, должно быть довольный тем, что его наблюдение никто не оспорил.

Стакан с крепко заваренным чаем стоял прямо на карте. Клименко пил не торопясь, позванивая ложечкой, как человек, которому приятны эти минуты, ибо впереди день, полный тяжких забот. Чаепитие, однако, не мешало ему легкими уверенными

штрихами сине-красного карандаша делать пометки на листе, резче проявлять высотки, низинки, наносить на карту ориентиры, облегчающие прицельную стрельбу, - одним словом, как говорят артиллеристы, "поднимать карту ".

- Ты уже привязался в этом населенном пункте - Берлин? - безо всякой иронии спросил Клименко у лейтенанта.

- Привязался, товарищ подполковник, - тут же быстро ответил лейтенант, ибо, как командир топографического взвода, он первым делом на новой боевой позиции производил топографическую ориентировку на местности и сообщал ориентиры командирам батарей. Все это и называлось "привязаться".

- Здесь вам, топографам, легко - в хороших ориентирах нет недостатка. Правда?

- Так точно! - звонко ответил лейтенант. - Я к заводской трубе привязался и к шпилю вокзала, хорошо видны!

- Да уж тут населенный пункт - Берлин, - снова серьезно сказал Клименко. - Сообщил данные на батареи?

- Так точно!

Лейтенант с запоздалой поспешностью вскочил со стула.

- Сиди, сиди! - махнул рукой Клименко.

Новенькая гимнастерка лейтенанта, золотые его погоны, которые он, видимо, не торопился менять на зеленые, фронтовые, и эта манера всякий раз отвечать подчеркнуто уставным "так точно" - все выдавало в командире топ-взвода вчерашнего курсанта.

- Прозоровский нарисовал панораму?

- Заканчивает.

- Поторопи! Но только вежливо, понял? Может быть, это последнее его произведение. Пусть уж постарается, - сказал Клименко и поднял глаза на лейтенанта.

- Так точно, мы постараемся, товарищ подполковник.

Лейтенант козырнул, круто повернувшись на каблуках, сбежал со ступенек террасы, Я видел, как он нырнул в землянку.

- Вы записали голос наших "деток"? - спросил Клименко.

Улыбка веселыми искорками мелькнула за стеклами его очков, и суровое лицо командира дивизиона потеплело. Мне это понравилось. Уж если лицо не хорошеет от улыбки, то подчиненным такого офицера тяжело будет воевать.

- Записали или нет?

Дело было в том, что подполковник наблюдал долгие мучения Спасского, пытавшегося, увековечить на пластинках грохот залпов по Берлину. Сначала мы установили наш аппарат около огневых позиций. Но при первом же выстреле не только

игла соскочила с бороздки, но и сам аппарат едва не свалился с подставки на вздрогнувшую землю.

Тогда мы отъехали метров за двести. Однако и здесь звуковая волна оказалась слишком сильной, чтобы можно было грохот записать на пластинку. Несколько раз, отступая все дальше и дальше, Спасский менял свою "позицию", пока наконец не отъехал так далеко, что уже совсем не видел батарей. Все это, конечно, вызывало сдержанные улыбки артиллеристов. Все они хотя и сочувствовали нашим "техническим" трудностям, но больше гордились мощью ж звучным голосом своих пушек.

- Признаться, испортили несколько пластинок, - сказал я подполковнику, - но не беда. Зато ваших "деток" хорошо услышат в подвалах имперской канцелярии.

- Уж это будьте уверены! Видали, какие надписи бойцы делают на снарядах: "По Берлину!", "Получай, Гитлер, гвардейский подарок!", "Добьем фашистскую гадину!"... И в общем все в таком духе. И все дойдут по адресу.

- Ваша часть давно воюет? - спросил я.

- С начала. Как это сказано у поэта Твардовского? Вот точно не запомнил. Кажется, так: "Как от западной границы до своей родной столицы, и от той родной столицы вспять до западной границы, а от западной границы вплоть до вражеской столицы мы свой делали поход!" Я лично в этом полку воюю от Москвы. Там служил кадровую.

Пока Клименко рассказывал о пути полка, из землянки вылез лейтенант и с ним немолодой боец с большой красивой кожаной папкой в руках. Папка была похожа на те, что носят художники, выезжая поработать куда-нибудь на лоно природы.

Быстро войдя на терраску, боец привычным движением вытащил ив папки большой лист ватманской бумаги, аккуратно расстелил его на столе, прикрепив края кнопочками. Затем он отошел назад и, наклонив голову чуть влево, потом чуть вправо, слегка прищурившись, издали посмотрел на лист ватмана. При этом он легко вздохнул, что можно было принять за знак удовлетворения или же авторской тревоги.

- Товарищ подполковник, приказ выполнен, - доложил он, - вот полюбуйтесь, может быть, для нас последний в этой войне передний край!

Лейтенант, стоящий рядом, от удовольствия по-мальчишечьи зацокал языком.

- Ты сохрани ее, Прозоровский! - сказал он.

Лейтенант выглядел моложе Прозоровского лет на пятнадцать, но обращался к нему как к сверстнику, не замечая разницы в возрасте, должно быть, в той же мере, как и сам

Прозоровский.

- Вот он - населенный пункт Берлин! - бесстрастным тоном повторил командир дивизиона полюбившуюся ему фразу. - Да, Берлин, Берлин! Ну поглядим, что ты тут нарисовал? - сказал он, наклоняясь над листом.

Ватманский лист, принесенный Прозоровским, оказался панорамой переднего края, с обозначенными огневыми точками противника, с секторами обстрелов и квадратами для огневых налетов.

Одним словом, это была обычная-панорама, которую артиллеристы рисуют для себя на всякой новой боевой позиции. Но сразу же бросались в глаза две особенности, делавшие эту панораму совершенно необычной. Первая - здесь изображался Берлин, вторая - он был нарисован настоящим художником.

Да, я видел перед собой не обычную схему с условными знаками и линиями, долженствующими изображать селения, поле, лес. Нет. На панораме вырос большой, опаленный огнем город, мрачно освещенный желтым заходящим солнцем. Точнее, та его часть, которую можно было увидеть в натуре с наблюдательного пункта артиллеристов.

Теперь я внимательно разглядел Прозоровского.

Он стоял около стола, опершись о него одной рукой, и смотрел на панораму. Пряжка ремня, не туго затянутого, сдвинулась у него набок, и в том, как он небрежно носил обмундирование, безошибочно угадывался человек с глубоко укоренившимися "штатскими" привычками.

Лицо Прозоровского, худощавое, с немного запавшими глазами, показалось мне усталым. Время от времени мягкая, мечтательная улыбка скользила по его лицу и, как ветерок тучки, постепенно разгоняла выражение озабоченности и печали - только позже я узнал, что у Прозоровского случилось горе. Он спокойно и выжидательно смотрел на командира дивизиона, теперь уже уверенный в том, что сделал свою работу хорошо.

- Садись, садись, Борис Глебыч, - с лаской в голосе, уважительно сказал ему Клименко, - в ногах правды нет. Я знаю, ты всю ночь не отдыхал. До вечера мы тебя не будем беспокоить, если только не побеспокоят немцы.

- Ничего. Вы знаете, я, хлипкий интеллигент, на фронте научился спать под грохот канонады, как говорится. Мертвым сном. Даже самому удивительно, улыбнулся Прозоровский.

- Значит, совесть чиста.

- И заботы не мучают, товарищ подполковник. Рядовой боец! А начальство, как говорят у нас, никогда не спит, оно только отдыхает.

- Вот именно, - покачал головой Клименко. - Можете идти все!

Он взялся за карандаш, кивком головы отпустив лейтенанта, Прозоровского, и в мимолетном взгляде в мою сторону я уловил желание комдива остаться на терраске одному. Он хотел сосредоточиться, работая над панорамой Берлина.

Прозоровский, узнав, что мы земляки, пригласил меня в блиндаж. Как приятно было встретить под Берлином человека, закончившего в Москве архитектурный институт, много лет проработавшего в разных городах страны и возводившего в столице одну из станций метрополитена.

По чистой случайности Прозоровский не успел аттестоваться в военкомате и получить офицерский билет. Просто до войны ему было все недосуг заняться этим делом. Но в сорок первом архитектор пошел в народное ополчение рядовым, оттуда же попал снова рядовым в артиллерийский полк.

Прозоровский рассказал мне, что здесь не раз задумывались над тем, как присвоить ему офицерское звание. Но для училища младших лейтенантов он не подходил уже по возрасту, а в полку Прозоровский не занимал командной должности, которая бы давала право на такое звание. Кстати говоря, по своему удивительно мягкому характеру и полному неумению командовать и распоряжаться людьми Прозоровский и не подходил к такой должности.

Рядовой в топографическом взводе, он однажды удивил артиллеристов своим мастерством, рисуя панорамы, и с той поры утвердился в штабе на внештатной должности художника.

Воевал Прозоровский, как и Клименко, от Москвы до границы и дальше, медаль "За отвагу", поблескивала на новой гимнастерке, которая висела в углу блиндажа на деревянных плечиках над койкой художника.

- Присаживайтесь, мой друг, дорогой земляк, прямо на эту кровать, она и троих выдержит, - сказал Прозоровский, когда мы влезли в блиндаж.

Он освещался керосиновой лампой, смастеренной из медной снарядной гильзы. Света было достаточно. Красноватые блики растекались по стенам из березовых чурок. Я догадался, что артиллеристы "березовые стены" возят с собой.

- Память о России, - пояснил Прозоровский, - и как-то мило осветляют землянки здесь, в Германии. Боже ты мой, ведь когда-то я приезжал в Берлин в командировку! - неожиданно вспомнил он. - Жил в гостинице около Александерплац. Ходил в оперу на Унтер-ден-Линден. Могло ли мне тогда прийти в голову, что я буду спать в землянке в берлинском пригороде и рисовать

панораму для стрельбы по Александерплац?

Прозоровский развел руками.

- Это даже не под силу могучей фантазии романистов-классиков!

- Жизнь сложна, Борис Глебыч, - сказал я, - знаю и по своему малому опыту, и полна удивительных неожиданностей. Для некоторых даже и сама война оказалась роковой неожиданностью.

- Не для меня, нет! Я никогда не строил никаких иллюзий, думая о фашистах. Я внутренне содрогался при мысли о возможности какого-либо компромисса с ними и вообще оттого, что они живут на свете.

- Но в военкомат для аттестации вы все-таки не нашли время зайти?

- В военкомат? Грешен! Но, честное слово, нет худа без добра. Вот рисую панорамы. Когда надо - стреляю. Там, за нашей границей, случалось, что и штаб в полном составе шел в атаку с автоматами и гранатами. Вы же знаете. И ваш покорный слуга не праздновал труса.

Сказав это, Прозоровский нагнулся и полез под койку. Оттуда он вытащил фибровый чемодан и, щелкнув замками, открыл его.

Чемодан на фронте мне всегда казался вещью из другой, мирной жизни. Я сам воевал солдатом, некоторое время служил в артиллерийском полку, мне ли не знать, что все скромные солдатские пожитки укладываются в удобный заплечный мешок. Поэтому я не без удивления взглянул на Прозоровского.

- Для панорам, - коротко пояснил он.

В чемодане Прозоровский хранил и, конечно, с большим трудом таскал за собой коллекцию картин, которые он рисовал под Малоярославцем и Вязьмой, на Днестре и у Рославля, в верховьях Днепра и в смоленских лесах, в Полесье и под Варшавой, на Одере и под Берлином.

Я устроился на кровати, широко расставив ноги, а Прозоровский, бережно вынимая из чемодана, укладывал листы на мои колени.

- Сколько их у вас?

- Много, мой друг! Вышла бы картинная галерея. Правда, вы не видите здесь людей. Но они все в моей памяти связываются с этими пейзажами, живые и мертвые.

Я спросил, сохранилась ли у Прозоровского квартира в Москве, чтобы после войны разместить там на стенах это необычное собрание картин.

- Квартира сохранилась, но пустая. Неделю назад я получил из дома письмо. Жена попала под трамвай, И погибла. Вот вам

судьба! Я четыре года воюю и жив. А она там, в Москве...

Прозоровский встал, чтобы я не видел его глаз, наполнившихся слезами. Чтобы успокоиться, он вышел из блиндажа, но вскоре вернулся.

- Простите. Нервы уже стариковские - не держат. Я не говорю о том, что мы, любя, прожили двадцать лет душа в душу. Но во время такой войны попасть под трамвай... Как все это ужасно нелепо и горько!

Я выразил Прозоровскому свое самое искреннее сочувствие.

- Не будем больше об этом. Мои панорамы вам понравились. Спасибо. Они нравятся и в. полку. Я не Левитан, конечно. Но, поверьте, старался вложить в эти пейзажи всю свою любовь к России, всю нежность, всю душевную силу. И мне кажется, эти картины, в общем, не просто расчетные панорамы, они эмоционально помогали воевать нашим артиллеристам...

...Я уехал из дивизиона Клименко вскоре после того, как батареи открыли огонь по Берлину. От выстрелов лопались стекла на террасах и дрожали стены. Надо было резко напрягать голос, чтобы собеседник, стоящий рядом, мог что-либо понять. Именно в этот момент уставший Прозоровский лег отдохнуть в своем блиндаже.

К сожалению, я не встречал его больше на дорогах войны. Не видел я его и в Москве. И мне не хочется думать, что эти пейзажи, созданные бойцом-художником, увиденные таким необычайным способом - через наблюдательную щель в блиндаже или в окуляры стереотрубы, - что эти картины земли нашей, польской и немецкой могли затеряться где-нибудь среди имущества артиллеристов, на военных дорогах.

Встреча на дороге

Об этом хочется рассказать кратко потому, что слова бессильны, они не могут выразить всю бездну муки и горя, и потому, что, как сказал поэт еще в годы войны: "Об этом нельзя словами, огнем, только огнем!"

Я имею в виду паши встречи с людьми, угнанными в Германию из всех стран Европы. Их было свыше пяти миллионов. Значительную часть своих пленников гитлеровцы согнали в Берлин. И вот теперь, в последние дни апреля, колонны беженцев двинулись из города. Они выходили из горящих кварталов, из домов и улиц, по которым стреляли пушки, из самого пекла боя. Начался незабываемый исход народов Европы из Берлина.

Мы видели эти толпы беженцев и раньше на всех дорогах Восточной Германии, но особенно много их было вблизи немецкой столицы.

Как раз в эти дни в одном из полицейских управлений в Альт-

Лансберге, среди брошенных гитлеровцами бумаг, мне попался в руки документ, о котором сейчас нельзя не вспомнить. Это были "Указания по обращению с иностранными рабочими из гражданского населения, находящимися в Империи". Пожалуй, особого внимания заслуживают эти "Указания", - относящиеся к так называемым "восточным рабочим" - советским людям.

Вот краткие выдержки из этих правил: "Восточные рабочие носят знак "ОСТ" (прямоугольник с бледно-голубой окантовкой, на синем фоне белыми буквами написано слово "ОСТ").

Восточных рабочих содержать в закрытых лагерях, построенных специально как лагеря для рабочих, под постоянной охраной.

На мелких сельскохозяйственных предприятиях или в одиночных хозяйствах, может быть разрешено помещать рабочих вне лагеря, в хорошо запирающемся помещении, где есть немец-мужчина, который может взять на себя функции контроля.

Половая связь между немцами и восточными рабочими запрещена и карается для восточных рабочих смертью, для немцев отправкой в концентрационный лагерь.

Восточные рабочие имеют право пойти к врачу только в сопровождении немцев".

"Права на свободное время восточные работницы не имеют", - говорится в особой памятке домашним хозяйкам об использовании восточных работниц в городских и сельских домашних хозяйствах. "Посещение ресторанов, кино, театров и других заведений запрещается. Не разрешается также посещение церквей...

Немец не должен жить в одной комнате с восточной работницей.

Одежда, как правило, восточной работнице не предоставляется.

Русский неприхотлив, поэтому его легче прокормить без заметного нарушения нашего продовольственного баланса. Его не следует баловать или приучать к немецкой пище..."

...Я захватил с собой этот листок, на котором ясно обозначился отпечаток каблука, - кто-то наступил на бумагу, валявшуюся на полу, - и несколько раз принимался читать ее, когда мы встречали колонны беженцев.

Они шли пешком, катя перед собой нагруженные вещами тачки, детские коляски, некоторые ехали на велосипедах или семьями на телегах, запряженных одной или парою лошадей.

У мужчин и женщин были серые, худые, изможденные лица, усталость проступала сквозь все черты; усталость серой пеленой лежала в глазах, глубоко ушедших в глазницы.

Только у очень маленьких детей не было на костюмах разноцветных полосок, изображавших эмблему национального флага. Но юноши и девушки, мужчины и женщины на рукавах пиджаков, на пальто, на шляпах - всюду прикрепляли цветные ленты и повязки. Такие же флажки, привязанные к тонким древкам, развевались над телегами, над детскими колясками, над рулями велосипедов, над колесами тачек.

Обилие этих флажков сначала удивляло нас. Но затем мы поняли, что люди, выходящие из пекла войны, из немецкой каторги, были счастливы уже одной возможностью прикрепить к своему костюму эмблему национального флага своей родины.

Фашизм пытался уничтожить их национальное и человеческое достоинство в адском котле лагерей, пыток, смерти. И надо ли было удивляться тому, что теперь эти разноцветные повязки на рукавах стали символом обретенной свободы, надежды, символом национальной гордости для всех, кто уходил из немецкой земли на свою родину.

Мы видели, как бредущие по дороге поляки и французы, бельгийцы и итальянцы, болгары и венгры, чехи и словаки радостно махали флажками нашим танкам и машинам, как с трудом передвигающие ноги, смертельно уставшие люди часто и тщательно поправляли повязки на рукавах.

И трудно было без волнения наблюдать эти глубоко символичные жесты, и сердце щемило болью, когда мы проезжали мимо, казалось бы, бесконечно текущих колонн беженцев...

...Это произошло на дороге под Берлином уже под вечер, когда наша машина остановилась около танка, свернувшего на обочину.

Один из танкистов, без шинели, в одной испачканной маслом гимнастерке, судя по этому - водитель машины, держал за руку худенькую черноволосую девушку. Рядом стояли две подруги. Девушки были в сапогах и ватниках, с большими заплечными мешками.

Я услышал русскую речь и подошел к этой группе. Особенно меня поразило лицо танкиста, от волнения оно покрылось пятнами, а глаза жадно и пристально оглядывали фигуру девушки.

Сначала я подумал, что танкист, которого девушка называла Васей, неожиданно нашел свою жену или сестру-полонянку. Это случалось нередко здесь, на военных дорогах Германии.

- Землячкам привет, - сказал я.

Девушки тотчас ответили улыбками, а танкист был так поглощен рассказом той, чью руку он крепко сжимал в своей ладони, что даже не повернул ко мне головы.

- Как мы жили, Вася, ты спрашиваешь? Жили хуже, чем собаки! - говорила она не торопясь, так, словно бы диктовала письмо, и голос ее, крепкий, мелодичный, раздавался далеко.

Я подумал тогда, что этой нашей русской дивчине с таким голосом, звенящим молодой силой, было особенно тяжко жить и говорить всегда полушепотом в гитлеровской неволе.

- Ты спрашиваешь, Вася, как кормили? - продолжала она. - Суп давали такой зеленый, что его никто не мог есть. По двенадцать часов работали голодные. Придет начальник или немка-надсмотрщица и подгоняет: "Мари, арбайтен, шнеллер, шнеллер!"

Танкист промолчал, а Мария, вздохнув, добавила:

- Будили на работу в два часа ночи. Открывается дверь - полицай огонь зажигает и кричит: "Ауфштейн!" - это значит - вставать. Сразу же вставали и выходили во двор. Стоим час. Начинают нас считать. Ждем. Дождь или мороз. Мыслимо - все босые.

- Босые, - повторил танкист и тут только обернулся ко мне. Негодующим своим взглядом он как бы призывал меня быть свидетелем этого горестного рассказа.

- Ай, Вася, знаешь, у меня от думок иссох мозг и глаза от слез не видели ничего, когда я о доме вспоминала! Мария всплакнула.

- О доме, - снова тихо повторил танкист.

- Вот у меня даже газетка есть ихняя. Про наших девчат курских описано. Я перевод знаю, Вася, - поторопилась добавить Мария, потому что танкист взял в руки мятый, уже слегка пожелтевший лист газеты "Франкфуртенцейтунг" с выражением такой брезгливости на лице, словно хотел выбросить эту газету тотчас в канаву.

И Мария, должно быть по памяти, перевела заметку:

- "Рабочие оккупированных советских областей стоят в лагере, огражденном колючей проволокой. Этих людей, привезенных из Курского района в Германию, нужно, разумеется, держать в строгости, следить за ними, ибо нет никакой гарантии, что между ними нет большевиков, способных к актам саботажа. Их ближайший начальник поддерживает авторитет при помощи кнута..."

- Кнута! - сказал танкист. Он схватил и вторую руку Марии, слегка притянул ее к себе и спросил: - Так Катя была не с вами?

- Нет, Васенька, я же говорила, разлучили нас. В другой лагерь увезли.

- Жива?

- Пока мы вместе были, так она болела немного, знаешь, Васенька. Худенькая такая стала, руки как у девочки. Только что

на лице одни глаза остались.

- Не найти мне ее. Где тут встретиться! А если ты встретишь, скажи жив, мол, будет Берлин брать!

- Милые вы наши, как мы вас ждали! Ничего нам не надо, только бы своих русских увидеть!

Мария снова всплакнула, и на глазах ее подруг появились слезы.

- Вот мы пришли!..

Сказав это, танкист отпустил руки Марии и бросился к танку.

Я понял, что Мария - подруга жены Василия и они односельчане.

Танкист появился через три минуты с тремя банками консервов, сахаром и буханкой хлеба.

- На дорожку.

- Что вам-то останется?

- Берите, вам говорят. Солдат жив остался, старшина его накормит. Это вам от всего экипажа.

Девушки долго отказывались со слезами благодарности, но Василий решительно втиснул им в руки свои подарки. Затем его позвал командир танка.

- А ну, девчата, шагом марш в Россию, - с улыбкой крикнул он, и танк тронулся дальше по дороге, а девушки некоторое время бежали рядом, распахнув ватники, и махали косынками, пока боевая машина не ушла далеко, оставив в воздухе легкое сизое облачко бензинового дыма.

Мы тоже двинулись вслед за танками. Метров через пятьсот нам попалась на дороге колонна пленных гитлеровцев. Это была очень длинная колонна, хвост ее загибался за поворотом шоссе. Пленные уныло шаркали ногами, колонна неохотно плелась на восток. Танк, где водителем сидел Василий, поравнялся с головой колонны.

И вдруг произошло странное. Гусеницы танка круто повернули вправо. Гитлеровцы, идущие в первой шеренге, взмахнув руками и теряя пилотки, панически кинулись в сторону, прямо в канаву. Видимо, кто-то из них решил, что танк гусеницами раздавит их.

Мощная машина прошла очень близко от головы колонны, но тут танк свернул влево и с резко увеличенной скоростью помчался вперед.

Колонна остановилась, ряды ее смешались. Убежавшие с бледными лицами возвращались из канавы. Многие крестились.

Я не знаю, что произошло в танке. Возможно, что тоскующий по своей жене водитель после рассказов подруги проникся такой ненавистью к гитлеровцам, что мог сгоряча повернуть танк ближе

к колонне. Но в то же мгновение он взял себя в руки и, включив третью скорость, поскорее поехал вперед.

Или же, объезжая что-то на дороге, водитель просто свернул в сторону. Все это догадки.

Но всем нам, наблюдавшим это мимолетное происшествие на дороге, было ясно только одно: гитлеровцы допускали возможность такой мести танкистов. Они знали, что заслужили ее бесчисленными своими злодеяниями. Ведь не случайно пленные всякий раз исподлобья, с затаенной дрожью провожали каждый наш танк.

Не мудрено! Они-то, нацисты, о наших людях судили по меркам своей гнусной морали, своих разнузданных инстинктов.

Да, они сильно испугались, эти вчерашние вояки Гитлера! Испугались и долго не могли прийти в себя.

Но прошло минут десять, смолкли хриплые, резкие голоса, и колонна пленных вновь вяло поплелась на восток...

Карточка на партбилет

В городе шел бой, и "передовая" находилась где-то совсем рядом, за несколько кварталов. В глубине маленького, залитого черным асфальтом дворика, напоминавшего сухое дно огромного каменного колодца, суетился боец-фотограф, перетаскивая из угла в угол свой аппарат - продолговатый черный ящик на высоких деревянных ножках.

Во дворе было темновато, к тому же сюда нередко залетали осколки рвущейся над домом шрапнели. Фотограф долго выбирал место для съемки, вполголоса ругая погоду, двор, немецкие снаряды, мешающие ему работать.

На деревянном чурбачке, у внутренней стены дома, в ожидании молча курил цигарку немолодой солдат в порыжевшей от солнца и пота гимнастерке. У него было коричневое, покрытое загаром и пороховой копотью, точно дубленое лицо и отяжелевшие от пыли, но все еще сохранившие цвет густые пшеничные усы. Свой автомат с поцарапанным прикладом и закопченным дулом солдат держал на коленях, и все говорило о том, что солдат только что вышел из боя и мысли его там, где не умолкая бьют артиллерийские батареи.

Найдя наконец удобное место, фотограф пошел в подъезд дома и скоро вернулся оттуда с одолженной у хозяев квартиры большой белой простыней. Он тут же попробовал прибить ее к стене, но кирпичи были твердые и только крошились под ударами. Фотограф снова пошел в дом и возвратился с двумя пожилыми немцами, которые несли в руках еще одну, видимо запасную, простыню.

Немцы прошли по асфальту своего двора так, словно он был

раскален и поджаривал им ступни. Через каждые три шага они посматривали в дымное небо, где непрерывно что-то трещало и рвалось на части. Фотограф, засунув в аппарат руку, вертел ее в разные стороны с таким выражением лица, будто он ловил там пальцами что-то очень скользкое и мокрое. Растянув простыню у стены и поддерживая ее уголки руками, немцы улыбались и ждали.

- Ну, что ты там копаешься, кал мышь, Данилыч? - с явным нетерпением сказал солдат. - Бой идет, рота на вокзал наступает, слышишь, Данилыч, ребята наступают, а я тут на чурбачке покуриваю.

- Подождут, полчаса не решают, - ответил фотограф и еще сильнее завертел рукой, засунутой в аппарат.

- Мы на вокзал наступаем, - точно не слыша фотографа, продолжал солдат. - Немцы в подвалах сидят, в метро сидят, во все дырки забились.

- Успеется, что такое полчаса! - снова сказал фотограф.

- Много ты понимаешь, - неожиданно обиделся солдат. - За полчаса свободно вокзал взять могут. Не решают! Ты вот год при нашем полку числишься, Данилыч, а боевую обстановку не чувствуешь. Скорей, скорей, Данилыч, слышишь! - повторил он.

- Ведь это же карточка на партбилет, - наконец тихо и внушительно сказал фотограф, вытаскивая из аппарата руку. - Понимаешь ты, куда эта карточка. В Москву пойдет из Берлина. Подумай и не гони меня, не гони.

- Скорей, скорей, Данилыч! - повторил солдат и начал быстро ходить вдоль внутренней стены дома, поглядывая в небо и точно прислушиваясь к шуму боя.

Как будто пушки заговорили громче, но здесь, в огромном городе, трудно было на слух определить, где идет бой. Казалось, стреляют повсюду - и за углом дома, и на другом конце города.

Солдат, вынув изо рта цигарку, сел на свой чурбачок у белого фона простыни.

Немцы резко натянули простыню, не переставая улыбаться. Фотограф уже было поднес руку к хоботку своего аппарата, как все стоящие во дворе услышали знакомый протяжный свист.

Звук родился где-то далеко, но с каждым мгновением нарастал, и казалось, снаряд, пробивая своим тупым носом воздух, ищет себе дорогу именно в этот черный колодец дома. Звук наливался, завораживая своей леденящей душу мелодией.

На мгновение все затихли, фотограф присел на корточки, а солдат натянул поглубже пилотку на голову. Потом раздался грохот, как будто рядом упала стена дома, и в воздухе остро запахло горячим металлом.

Когда прошла мимо воздушная волна и рассеялся дым, все увидели, что простыня лежит на земле, а немцы разбежались по своим квартирам. Фотограф выругался и снова пошел в подъезд дома. Через две минуты он вернулся с двумя немцами помоложе. Они подняли простыню с земли и снова растянули ее.

- Ну, становись. В последний раз, - сказал фотограф.

Солдат, хмуро поглядывая и на фотографа, и на немцев, встал к простыне.

- Улыбнись! - крикнул фотограф.

Где-то рядом блеснула резкая молния от разрыва снаряда. На мгновение ослепительно ярким светом она озарила дворик, фотографа, замершего с поднятой рукой, вытянутые лица немцев и очень спокойные, чуть прищуренные, как от солнца, глаза солдата.

И фотограф сделал снимок... Но не успел еще затихнуть в воздухе гул от разрывов, как автоматчик уже вскочил на ноги, махнул рукой фотографу и побежал на улицу.

- Вот ведь какой человек! - вздохнув, сказал фотограф и, помолчав, тихо добавил: - Красивой души солдат!

Ночь в берлинском доме

Со временем стираются подробности, забывается сказанное или услышанное, но порою надолго остается в памяти то, что можно назвать общим ощущением, эмоциональной окраской, правдивым "запахом" событий.

Вот это точное ощущение правды и собирает в памяти детали и характерные черточки былого.

Я не знаю, почему в потоке событий, с калейдоскопической быстротой сменявших друг друга, мне врезалась в память именно эта ночь, когда, собственно, ничего не случилось. Почему в душе моей и по сей день живет "запах" первой ночи, проведенной в Берлине, не в блиндаже, не в кузове машины, а в обычном, жилом, многоэтажном берлинском доме, наполовину пустом, с оставшимися лишь кое-где жильцами, решившими в своих квартирах пережить часы боя.

Дом был обычный, серый, с балконами по фасаду, с лестницами, выходящими на улицу и во двор, с кабинкой лифта, покрытой паутиной.

Нам отвели пустую квартиру на третьем этаже. Хозяева покинули ее недавно, квартира хранила еще тепло чужого жилья.

Все знают, что на войне люди легко входят в незнакомые дома и, уставшие, сладко спят в любых чужих постелях. Сколько довелось нам ночевать в чужих квартирах за рубежом - в Польше, в самой Германии!

Но все это были населенные пункты, оставшиеся уже за

линией фронта. А здесь, в Берлине, еще шел бой. И потом это был Берлин! Мы могли лечь спать, раздевшись, как дома, уже в берлинской квартире. И вот это мысленно произносимое "уже" было необычайно весомым и полно особого чувства.

Я бросил свой вещевой мешок в спальне и, пока Спасский раздевался, бегло оглядел комнату: семейные портреты на стенах, широкие деревянные кровати с пуховыми перинами.

Укрываться вместо одеяла большой, пышной и вместе с тем легкой периной мне пришлось впервые в домике вблизи Лодзинского аэродрома. Тогда меня охватило странное ощущение теплой парной ванны, в которую, казалось бы, погружается тело. Но со временем мы привыкли и к перинам.

В эту ночь, несмотря на усталость, мне не спалось под периной. Что-то тревожило сердце. В комнате, хоть окна были раскрыты, чувствовалась духота.

За окнами полыхали огневые зарницы, и в "комнату вкатывался гул ночного боя - близкие разрывы мин, похожие на треск большого полотна, раздираемого на части, редкая перекличка тяжелых орудий; от их залпов вздрагивали стены дома.

Я решил встать и, одевшись, сел на подоконник. По берлинскому небу шарили прожекторы, белые полосы на небе скрещивались, образуя световую решетку с черными пустотами. Она то исчезала, то вновь вспыхивала и словно бы двигалась к центру города. Туда перемещался бой. Но когда гасли прожекторы, казалось, что эта решетка с неба падает где-то там, впереди, на купол рейхстага, на здание имперской канцелярии.

Чтобы подышать свежим воздухом, я вышел на улицу. Здесь было тихо и пустынно, пожалуй, даже слишком пустынно для района, почти примыкавшего к линии фронта. Только две грузовые машины ночевали у стены напротив нашего дома, въехав колесами на тротуар.

Эта предусмотрительность оказывалась далеко нелишней в Берлине. Я как-то видел легковую машину, стоящую на мостовой узкой улицы. В это время из боя возвращалась колонна наших танков, и передний задел гусеницами машину. Мощные траки танка, как ножом, мгновенно обрезали ровно половину маленького "оппель-капитана", который тут же на глазах развалился на части.

Во дворе нашего дома тоже ночевала санитарная машина, две повозки.

Была лунная ночь, и бледный свет ее проникал даже в глубокий колодец двора. Две высокие легкие тени в шляпах бродили по асфальту. Увидев меня, немцы, должно быть

дежурные по дому, замерли на месте, потом поклонились.

Я заметил бочки с песком, лопаты, лом, совки - немудреный набор противопожарных орудий. Все это напоминало наш московский двор во время налетов немецкой авиации. Дежурные немцы подошли к темному провалу лестницы, ведущей в бомбоубежище.

Постояв немного на дворе, я решил зайти в убежище. Два марша лестницы вели вниз, затем - бетонная дверь с железными ручками, а за нею продолговатое, с низкими сводами помещение.

Электричество не горело, в углах чадили коптилки. Я увидел, нары, вытянувшиеся вдоль стен в несколько ярусов, а в пустом пространстве стол, вокруг него табуретки.

Бетонный пол выглядел грязным, его давно не подметали, в одном углу, как в тюремной камере, стояли параши, и воздух, тяжелый, спертый, насыщенный какими-то прокисшими запахами, был настолько противен, что я удивился, как им могут долго дышать люди.

Сюда, в убежище, жители дома забегали не на час, два. Нет. Здесь они ютились, приспособив подвал под убогое жилье и сами приспособившись к этому пещерному существованию в течение многих ночей и дней.

Я поднял выше свой карманный фонарь. Люди спали. Они заполнили нары женщины, дети, положив под голову подушки или мешки, накрывшись легкими одеялами. Но несколько человек сидело у стола, где горела свечка, и один пожилой немец читал газету.

Две старухи пристроились около носилок, там лежал больной. Носилки виднелись и в другом конце помещения. Раненых и больных гражданских лиц не помещали в больницы, да и лечебниц в городе уцелело мало. Некуда было девать тех, кого привозили с фронта.

Это убежище произвело на меня тяжелое впечатление. Может быть, потому, что я давно уже не залезал в такие подвалы, да и не был тем "штатским", которому положено при первой же тревоге спускаться в убежище.

Не знаю почему, но в ту минуту мне вспомнилась первая июньская ночная тревога в Москве. Это была учебная тревога. Немецкие бомбардировщики еще не прорывались к нашей столице. Но мы-то ведь не знали этого и ложную тревогу принимали за настоящую.

Говорят, что первые впечатления самые острые, хотя, может быть, и не самые верные. Бомбоубежище, с еще пахнущими свежей краской стенами, с новенькими лавками, с приятно прохладным воздухом, мигом заполнилось людьми,

разговаривающими шепотом, наспех одетыми, растерянными, взволнованными.

Как и все новички в таком деле, мы каждую минуту ожидали взрыва, грохота, прямого попадания бомбы в наш дом. Все смотрели на часы, мучительно переживая медленно тянущееся время.

Как ужасно тяготит чувство полной неизвестности у людей, запертых в глухом каменном мешке!

Я помню, была середина ночи. В подвале устоялась тишина; ну, а что на улице? Может быть, там уже упали дома?

Потом тревога кончилась, и мы выползли на улицу, окутанную предрассветной мертвенно-сизой дымкой, выползли с чувством освобождения от смертельной угрозы, как люди, которым судьба подарила еще один день жизни.

Со временем, с новыми, уже настоящими бомбежками, притупилась острота этих переживаний, более того - они стали казаться привычными тем, кто побывал на фронте.

Хорошо, что Москву не долго мучили воздушные тревоги, уже затихшие к весне сорок второго года. Но вот прошло время, и война перенесла эти тревоги, бомбежки, пожары с московских улиц на берлинские.

Я смотрел на людей, спящих в бомбоубежище под нашим домом, и не мог не сочувствовать этим женщинам, старикам, детям. Без света, без воды, голодные, едва ли не каждый час в течение многих месяцев мысленно они прощались с жизнью, услышав по радио пронзительный вой сирены.

С тех же пор как наши войска ворвались в город, воздушные тревоги для населения уже вовсе не объявлялись. Гитлера мало заботила безопасность берлинцев. Он сам не вылезал из подземного бункера, и жизнь тех немцев, которые не оставили своих квартир, не в переносном, а в буквальном смысле слова проходила под землей.

Постояв немного в убежище, я снова вышел во двор.

- Простите! - сказал кто-то за моей спиной по-русски, и я обернулся. Это была средних лет блондинка, сохранившая стройную фигуру. Рядом с нею по ступенькам лестницы поднимался из подвала мужчина в сером спортивном костюме. - Простите, - еще раз повторила женщина, должно быть заметив в моих глазах настороженное недоумение. - Хочу поговорить, русский офицер, пожалуйста, - сказала она волнуясь. И тут же добавила: - Я русская!

Мы вышли во двор, залитый лунным светом. Он был достаточно ярким, и я мог разглядеть лицо женщины, удивившее меня странной улыбкой: мягкой, заискивающей, смущенной и

вместе с тем какой-то жалкой, как у человека, рассчитывающего на доброе к нему отношение и все-таки не уверенного в этом.

- Что же вы делаете тут? - спросил я, размышляя, кем может быть эта русская: полонянкой, эмигранткой, нашим переодетым офицером.

- Я немка тоже есть, - сказала она, подталкивая ближе ко мне своего спутника.

- И немка и русская? Чушь какая-то! - я пожал плечами.

- Нет, нет, не чушь, это есть правда, - заторопилась она. - У меня папочка жил в Ковно, русский папочка. Но там был мой муж, он немец, вот он! - она схватила своего спутника за руку. - Он меня взял, мы уехали в Берлин. Я русская! - снова повторила она, бросая на мужа выразительные взгляды, и нотки гордости звучали в ее голосе.

- Как вас зовут?

- Мария. Вы теперь понимаете? - спросила женщина.

- Вполне, - сказал я. Но, по правде говоря, я не понимал одного: чему так умильно улыбался супруг Марии и зачем понадобилось ей самой заговорить со мной?

- Спасибо, - просто сказала Мария.

Я подумал: женщине просто надоело сидеть в грязном и душном убежище, ей, как и мне, захотелось подышать свежим воздухом. И оттого, что Мария говорила сейчас по-русски, ей, возможно, было не так страшно стоять здесь во дворе, под открытым небом.

- Гитлер капут, - произнесла она вдруг, снова взглянув на молчавшего мужа, чтобы он оценил то, что она разговаривает по-русски и с русским офицером. Все пленные немецкие солдаты обычно произносили эту фразу, может быть полагая, что одно это заявление сразу определяет их политические взгляды. - Капут, то есть по-русски конец, - сказала Мария.

- Еще не конец, но скоро.

- Нет, нет, уже капут есть. Он труп! - решительно произнесла она. Ужасная, ужасная война! Я не могу больше сидеть этот подвал! Мы не крот...

Я не спеша пошел по двору. Мария, продолжая быстро говорить, шла рядом со мной не отставая. Расхрабрившись, она даже предложила мне подняться в ее квартиру, чтобы выпить немного кофе. Но я отказался.

- Что ваш муж собирается делать после войны? - спросил я, собственно, только затем, чтобы что-нибудь спросить. Долговязый немец, шагавший рядом со своей женой, признаться, не интересовал меня.

- О, Генрих спортсмен, атлет есть. Как это... велосипед, гонка.

Но кому нужен сейчас гонка? Генрих имеет небольшой мечта, - сказала Мария, и я подивился тому, как она коверкала русский язык, отвыкнув от него за многие годы жизни в Берлине.

- Мечта. Какая?

- У нас есть немножко денег. Генрих хочет иметь магазин. Спортивный товар. Как это по-русски называется - маленький купчик!

- Ну купчик так купчик, - сказал я, смерив взглядом немца, и тот улыбнулся мне.

Я не знаю, что прочла в моих глазах эта женщина, гордящаяся тем, что она русская, но ровным счетом ничего не знавшая о нашей стране. Может быть, она приняла мою ухмылку за знак одобрения, потому что смело взяла меня за руку и еще раз сказала - "спасибо".

- Ну, прощайте, Мария, - сказал я тогда, - желаю вам успеха в новой жизни и всем вашим соседям, кто спит в бомбоубежище. И еще желаю, чтобы они отныне всегда спали в своих квартирах и забыли, как воет сирена воздушной тревоги.

Мария помахала мне рукой, стоя посредине двора. Муж торопил ее уйти назад в бомбоубежище. Но она медлила. Я чувствовал, что ей еще хочется поговорить по-русски.

Я вернулся в свою комнату, но до рассвета не мог заснуть. Светлел воздух над Берлином, постепенно выплывали из темноты контуры домов. На какое-то мгновение стало тихо, очень тихо, так, словно бы заснула война, а вместе с нею и город, и люди в домах, в бомбоубежищах, в блиндажах, в кузовах машин, под бронею танков.

Это продолжалось всего лишь несколько минут. Вот где-то тяжко вздохнуло орудие. И озорно, пронзительно засвистела мина в воздухе. И точно спросонья буркнул что-то пулемет, выпустив короткую очередь.

По нашей улице прошли четверо солдат в брезентовых веленых накидках. Ветер поднимал их за спинами, как крылья. Солдаты остановились на углу, закурили, пошли дальше.

Кончалась ночь и временное затишье.

Я вспомнил разговор во дворе, убежище и мужа Марии, который станет в Берлине "маленьким купчиком". Что ж, это его дело!

А потом я подумал о том, что смелые люди есть всюду. Но мечта, как в жизни, так и в бою, окрыляет подвиг. Скучно идти в бой, на смерть, мечтая о магазинчике. Те солдаты, что пробежали по улице, я уверен, мечтали подарить мир всей планете. И счастье всем людям. Не меньше!

Танкисты

Танки стояли на тротуарах у стен домов, используя их как укрытия от артиллерийского обстрела. Часть готовилась к бою. А пока люки башен были открыты и танкисты ходили около боевых машин, по мостовой, или же находились внутри комнат первого этажа, где разбитые окна зияли темными провалами.

Я не помню названия этой небольшой улицы, где-то неподалеку от Силезского вокзала. По ней, как и по десятку других, двигались толпы беженцев - женщины с застывшим страхом в глазах, хмурые старики и притихшие, молчаливые дети. Они покидали кварталы, где уже кипел или куда приближался бой.

Удивительная, фантастическая, неповторимая картина! Где найти краски, какими словами передать это смешение пестрого, контрастного, хаотичного, кажущегося диким в своем сочетании?!

Грудные младенцы на руках у закутанных в платки женщин, высоко поднятые стволы танковых пушек! Старики, присевшие отдохнуть на складной стул, и рядом забрызганные грязью и пятнами крови гусеницы танков!

Наши солдаты, танкисты в грязных черных шлемах или с открытой головой, спокойно сидели прямо на танковой броне машины с зажатым между колен котелком. Ни близкий грохот снарядов, ни свист над головой минных осколков не мешали им аппетитно закусывать. Санитарки с белыми повязками на рукавах шинели наскоро перебинтовывали легкораненых, отказавшихся уйти с передовой в медсанбат.

А толпы беженцев все шли и шли, забивая тачками мостовые, люди скапливались на перекрестках, панически бросались из стороны в сторону, когда вблизи разрывался тяжелый снаряд. Беженцы, конечно, мешали танкистам, но танкисты помогали женщинам и детям поскорее выбраться из зоны огня.

И наши воины делали это, сознавая, что в толпе, пестрой, многонациональной, многоязыкой, просачивались в наши армейские тылы вместе с детьми И женщинами также эсэсовцы и офицеры. Они меняли военный китель на штатский пиджак, но прятали в карманах пистолеты и гранаты. И потом эти гранаты нередко разрывались около наших кухонь и санитарных палаток.

В этот день было солнечное утро, мягкое, теплое. В такие ясные дни даже на фронте людям не думается о плохом, о смерти.

Но тем самым танкистам, что, сидя на броне своего танка, запивали гречневую кашу, колбасу и консервы трофейным немецким вермутом, тем, что разговаривали, смеялись, пытались объясниться с немецкими женщинами, зная два-три слова, но используя пальцы и улыбки, тем, что писали домой письма,

устроив тетрадь у себя на коленях, тем, что в эти минуты ухаживали за нашими девушками - санитарками и регулировщицами, - всем им предстоял через полчаса тяжелый, кровопролитный бой. И конечно, не всем было суждено из него вернуться живыми.

Я искал в восточных районах Берлина танкистов полковника Шаргородского и нашел их на этой улице. Полк основательно поредел. Но боевой дух танкистов не сломили ни усталость, ни потери в людях и технике.

Чтобы убедиться в этом, не было нужды заглядывать в сводки политдонесений. Правда, бой есть всегда бой! Он тяжел повсюду. Видеть наши жертвы на улицах Берлина было, быть может, еще больнее именно потому, что тут от победы наших людей отделяли буквально метры, какие-нибудь несколько кварталов. И все-таки в берлинских боях было много особенного, неповторимого.

Здесь все воины находились во власти той всепоглощающей, пьянящей радости, о которой еще Пушкин сказал; "Есть упоение в бою и бездны страшной на краю!", всеми владел духоподъемный боевой энтузиазм и энергия, порождавшие подвиги.

Я искал на улице танк Павла Синичкина. "Тридцатьчетверка" со вмятинами на боку притулилась около стены дома. Когда я узнал номер машины, колонна танков уже начинала понемногу вытягиваться на исходные позиции для атаки.

Обычно танки накапливаются для наступления ночью, под прикрытием темноты. Но сейчас у противника осталось мало противотанкового оружия, а с фаустпатронами боролись наши автоматчики. Поэтому танки продвигались днем, используя для маскировки громоздящиеся к небу развалины и немецкие баррикады из разбитых автобусов, трамваев, поваленных столбов, баррикады, которыми гитлеровцы оплели почти все улицы.

Синичкин сидел на тумбе у тротуара, как на скамейке в парке, и читал "Красную звезду". Пачку газет только что принесла девушка - боец из полевой почты.

Заглянув через плечо танкиста, я прочел на газетной полосе сообщение о том, что 25 апреля первым советским комендантом в немецкой столице назначен командующий армией генерал-полковник Н. Э. Берзарин.

Он опубликовал свой первый приказ. В нем говорилось, что советское командование гарантирует мирному населению безопасность и жизнь, приказывает продолжать снабжение жителей продуктами по определенным нормам.

Почувствовав, что кто-то остановился за его спиной, Синичкин резко обернулся. Он узнал меня.

- Ну, как жизнь молодая, старший сержант, здравствуйте, - сказал я.

- Я старшина теперь и командир танка, - поправил он и протянул руку.

- Тогда поздравляю дважды!

- Да вот живем, - отвечая на мой вопрос, сказал Синичкин, - живем очень даже интересно, в городе Берлине назначен комендантом советский генерал. А фашисты безобразничают, все стреляют!

- Нехорошо себя ведут, - в тон ироническому голосу танкиста сказал И я, усмехнувшись.

- Стреляют, и, как говорится, каждую пулю здесь можно поймать!

Я сказал Синичкину, что в наших руках уже больше половины Берлина и в освобожденных районах с каждым часом все увереннее налаживается мирная жизнь, кое-где даже уже открылись магазины.

- Ясно, ясно! Берлин - большая деревня! - Синичкин усмехнулся. - Уж раз сюда пришли, то войну свалим, это точно.

- Берлин взят в кольцо, осталось несколько дней сражений, не больше, высказал я свое предположение.

- Это верно, вы только мне объясните, чего они тянут, фрицы, чего не сдаются, неужели еще надеются?

- А как ты сам думаешь?

- Пощады не ждут, потому так, - сказал танкист уверенно. - Вот я раньше думал - они только над нашими людьми лютуют, а своих жалеют. Нет ведь. Сколько сейчас тут мирного народу гибнет зря!

Синичкин показал на беженцев.

- Кого им жалеть, старшина? Хоть на день, хоть на час хотят продлить свою власть, пусть даже над одним районом города. И плевать им на то, что еще несколько тысяч солдат, женщин и детей погибнут на этих улицах.

- Конечно, разве это люди? Звери] - покачал головой Синичкин.

Наш разговор на этом прервался, водитель танка уже начал пробовать стартер, загудевший низким, натруженным басом.

- В бой?

- Вроде того! Прощайте! Нет, лучше - до нового свидания.

Синичкин, прежде чем надеть на голову шлем, крепко пожал мне руку.

- Не замечаете! Мы с вами встречаемся часто, то вот в Польше, потом на Одере, теперь в Берлине. Не миновать увидеться у рейхстага. Там по сто грамм фронтовых выпьем за

победу!

- Не миновать, должно быть. Ну, счастливого боя!

"Тридцатьчетверка" тихо тронулась вдоль улицы, мимо окон и балконов, с которых свисали белые флаги. Некоторое время Синичкин не спускался в танк, а стоял в люке открытый по пояс и смотрел вперед. Он что-то кричал своему водителю, и тот осторожно объезжал нагруженные чемоданами тачки, коляски и велосипеды беженцев.

Проводив Синичкина, я пошел разыскивать наблюдательный пункт Шаргородского. Он разместился временно на чердаке уцелевшего восьмиэтажного дома. Стереотруба наблюдателей выглядывала здесь из овального окошка двумя: металлическими рожками. К ней прильнул сам командир танкового полка, осматривая улицы близлежащего квартала.

Шаргородский, высокий, монументальный, привыкший к резким движениям и крупному шагу, чувствовал себя в темном чердачном помещении как слон в посудной лавке. Под его ногами все время звенело какое-то стекло, он задевал плечами об углы шкафчиков, трельяжей, которые убежавшие жители, должно быть пряча, затащили на чердак.

- Заходите, заходите в мой антикварный магазин! Нашей прессе - боевой привет! Вам, москвичу, нравится этот пыльный городок? - спросил полковник, лишь на секунду оторвавшись от стереотрубы.

Даже и сейчас, во время боя, Шаргородский не расставался со своей манерой сдабривать шуткой и улыбкой каждое слово. От природы человек веселого характера, он прочно усвоил эту манеру, должно быть, еще в молодости, когда работал в "Синей блузе" и на эстраде.

У меня не было тогда времени выяснить, какие сложные жизненные пути привели его, человека, сменившего несколько профессий, к мастерству вождения танков. Но о том, что это мастерство у него было, свидетельствовали многочисленные ордена и медали на груди полковника.

- Итак, ваше слово, товарищ маузер?

Я сказал кратко, что Берлин представляется мне большим городом и это ощущение не могут изменить разрушения от бомбежек союзной авиации.

- А я этот Большой Берлин сменял бы на нашу солнечную Одессу. Хмурый город! Тепла в нем не чувствую, вот как-то душу не греет, - сказал Шаргородский.

Я промолчал, думая, что разговор будет мешать полковнику вести наблюдение. Но Шаргородский со свойственным ему южным темпераментом и боевитостью танкиста любил, должно

быть, делать сразу два, а то и три дела. Во всяком случае, он продолжал говорить со мной.

- Вы посмотрите: улочки узкие, а дома как скалы в ущелье! Куда там танку, тут и человеку солидному развернуться негде, в особенности если его фигура отпечатана, вот как моя, крупным шрифтом!

Я сказал с улыбкой, что понимаю полковника как танкиста. Здесь, в Берлине, в муравейнике развороченных улиц и разбитых домов, танкам вести бой было очень трудно, любой фаустник, высунувшись из подвала, мог поразить снарядом машину, сам оставаясь неуязвимым.

- Ох уж эти босяки фаустники! Среди них много юношей из "Гитлерюгенд", почти мальчишки. Им бы геометрию зубрить в школе да девчонок за косы дергать. А сейчас они - "воины своего фюрера"!

- И озлобленные, упорные, - вставил я.

- Эти сволочи растлевали и молодые души. Но Гитлер мальчишками много не навоюет. Пока сопляк с фаустпатроном - петушится, храбрится, а забери оружие - уже и слюни распустил. Но, конечно, в Берлине дерутся и отчаянные головорезы, матерые волки - эсэсовцы. Мы же бьем их всех, без разбора.

Некоторое время полковник молчал. Он что-то разглядывал в трубу, водя ее из стороны в сторону. Берлинские улицы плыли перед его взором, перечерченные сеткой координат, тонкими линиями квадратов с нанесенными на них делениями. Человек, смотрящий в стереотрубу, не различает уже архитектурных особенностей города - перед ним лишь боевая цель.

Около полковника, скрестив ноги и напряженно согнув спину, сидел молодой солдат - радист. Почти касаясь лбом стенки своего передатчика, он звонким голосом, точно перекликаясь в лесу, вызывал танкистов, выкрикивая в маленький микрофон:

- Алло, алло, я Ландыш! Я Ландыш! Вызываю Звезду! Рядом со мной находится товарищ Третий, он вызывает Бугрова. Настраивайтесь на нашу волну, как вы меня слышите, прием, прием!

Радист связывался с командиром танкового батальона, тот находился в это время в боевой машине, пошедшей в наступление.

- Дай мне Бугрова, дай скорее, - бросил радисту Шаргородский.

Он почти выхватил у него наушники. Должно быть, голос комбата звучал глухо, прерываемый свистом, шипением, обрывками чьей-то немецкой речи.

- Бугров, это Третий, ты меня слышишь, а я тебя еще и вижу, вижу, как ты гусеницами утюжишь площадь. Давай вперед, милый, посылай мальчиков вперед, и мы накажем всех берлинских фрицев!

Бугров докладывал обстановку: немцы подкатили противотанковые пушки, ставят на прямую наводку. Сильный огонь ведут фаустники. Один наш танк загорелся. Комбат просил огневой поддержки.

- Все знаю и вижу, Бугров! Действуй, обходя батарею с флангов. Пушки без людей не стреляют. Дай им прикурить гвардейского огонька!

Я видел, как за нашими танками устремились автоматчики, они старались ближе держаться к машине, так, чтобы огонь противника не смог бы их отсечь, отбросить назад.

- Не отрывайся от пехоты, - приказал Шаргородский, - сектор шесть перед тобой - возьми его, я тебе помогу. Понял?

Я не слышал, что ответил Бугров, - его машина шла вперед, рация на ходу, должно быть, работала неустойчиво. Тем временем Шаргородский по телефону связался "с большим хозяином", - он звонил командиру корпуса, прося артиллерийской поддержки.

Говорить ему было трудно. Над чердаком нашего дома свистели минные осколки, и время от времени, с тяжким уханьем, сотрясая все здание, вблизи ложились тяжелые снаряды. И тогда столбы дыма, поднимаясь в небо, заполняли чердак удушливым запахом гари.

Бой разгорался. Полковнику стало жарко, он сбросил шинель, расстегнул воротник гимнастерки.

Батальон Бугрова продвигался вперед. Пробивая другим дорогу, на большой скорости шла машина Синичкина, и то, что на этой берлинской площади произошло с нею, я частично увидел сам, остальное же, уже после боя, дополнили своими рассказами танкисты Шаргородского.

Эсэсовец, вооруженный фаустпатроном, стрелял из окна полуподвального этажа. Он послал снаряд в правую гусеницу танка Синичкина. Через секунду ствол танковой пушки, описав в воздухе дугу, замер, точно "учуяв" противника. И первым же выстрелом фаустник был уничтожен.

Однако танк потерял маневренность. Он мог вращаться только на одной гусенице вокруг оси по часовой стрелке.

Это, видимо, учел другой фаустник. Он выстрелил и разорвал снарядом левый трак. Танк замер на месте.

Следующий снаряд разорвался около башни, заклинив ее и ранив стрелка. Гитлеровцы хорошо пристрелялись по неподвижной щели. Танки батальона прошли далеко вперед, и

Синичкин со своей машиной остался один на площади.

Он в танке сейчас один способен был вести бой, ибо ранило и водителя.

Осмелев, эсэсовцы поползли к "тридцатьчетверке". Им казалось, что беспомощный танк превратился в мертвую груду металла, что экипаж танка погиб.

Но Синичкин не думал сдаваться. У него оставался автомат, запас гранат. Танкист встречал гитлеровцев автоматными очередями. Он стрелял из открытого люка, бросал оттуда гранаты, вел огонь через смотровую прорезь на передней стенке танка, вновь быстро возвращался к люку, и эсэсовцам казалось - внутри танка не один, а по меньшей мере трое танкистов, яростно сражающихся.

Так продолжалось долго, несколько часов. Вся мостовая вокруг танка была уже изрыта воронками. Над "тридцатьчетверкой" свистели трассирующие пули. Они были видны даже днем и казались короткими огненными черточками, рассекавшими воздух.

Трассирующие пунктирные траектории сходились на танке - это вражеские автоматчики искали на его броне уязвимые места, тонкие щели. Как им хотелось поставить в конце трассирующего пунктира свинцовую точку - убить Синичкина!

И действительно, временами казалось, что танкист убит, - танк не отвечал огнем минуту-другую. Тогда гитлеровцы подползали все ближе и ближе, еще мгновение - и они овладеют танком!

Но вот тут-то в люке появлялась голова Синичкина и его рука, метавшая гранаты.

Огонь противника на площади был так силен, что наши бойцы не могли подползти на выручку Синичкину. Он по-прежнему дрался один. Шесть атак чередовались одна за другой. Синичкин отбил все атаки.

Его ранило в правую руку, он сам перевязал себя и продолжал бой. Его ранило в ногу, в плечо. Синичкин все еще дрался!

Так старшина Синичкин превратил свою "тридцатьчетверку" в неприступную крепость на одной из берлинских улиц.

И только через несколько часов, когда сюда подошел второй танковый батальон части Шаргородского, товарищи вытащили из танка потерявшего много крови, ослабевшего Синичкина и унесли героя на носилках в санитарную роту.

Могила Карла Либкнехта

Под вечер 24 апреля немец-рабочий, только неделю назад освобожденный из тюрьмы, вызвался проводить нас к могиле

Карла Либкнехта.

Оставив в стороне нашу машину и дозарядив на всякий случай оружие, мы пошли в район, уже очищенный от гитлеровцев, к Лихтенбергскому городскому кладбищу, пробираясь среди горящих домов и улиц, забитых густым, удушливым дымом.

Проводник наш шел молча, пристально оглядываясь вокруг, словно попал в Берлин впервые. Только видя геббельсовские лозунги, намалеванные чуть ли не на каждой стене, он сумрачно отводил взор в сторону.

Уничтожая гитлеровское государство, наши люди вовсе не собирались мстить немецкому народу, женщинам, старикам, детям.

Немцы-антифашисты первыми вылезли из подвалов, из бетонных щелей, чтобы помочь нашим солдатам расчистить улицу от завалов камней, убрать трупы. Они указывали на переодетых в штатское платье гитлеровских офицеров, нацистских активистов, пытавшихся замешаться в толпе и скрыться. Одним словом, всем, чем могли, истинные немецкие патриоты стремились помочь нашим воинам.

Скоро мы очутились в огромном саду, разбитом на большие и маленькие квадраты и расчерченном прямыми линиями желтых аллей и дорожек. Здесь цвели цветы и воздух был полон пряным запахом свежих и чуть затхлым уже лежалых разбросанных на могилах букетов.

Неподалеку шел бой, а здесь казалась удивительной тишина и аллеи, где под слабым ветром шелестели курчавые и круглоголовые каштаны и чуть раскачивались высокие строгие сосны. Мы шли, как и прежде, молча, минуя один за другим нарядные газоны и ряды аккуратно подстриженных и, казалось, приклеенных к земле кустов сирени.

Наш провожатый время от времени останавливался и, прижимая руку к сердцу, переводил дыхание. Он был, по-видимому, серьезно болен, и об этом говорили его глаза, горящие неровным и возбужденным блеском, и бледность натянутой на скулах кожи.

- Плохо с сердцем! - наконец признался он и ткнул длинным и худым пальцем в коричневую вязаную свою жилетку, которая виднелась из-под потертого и широкого в плечах пиджака. - Испортили сердце, - повторил он, почему-то улыбнувшись, и тут же покачал головой. - Наци испортили сердце!

- Может быть, вернемся? - предложил я.

- Нет, нет, - тотчас ответил наш провожатый и зашагал вперед.

Мы пересекли кладбище с юга на север, пока не натолкнулись на русских автоматчиков, и повернули на запад. Здесь так же пересекались аллеи, и мы долго бродили среди памятников, надгробий и резных чугунных оград, повитых цветами и зеленью. В дальних углах кладбища, где искали мы могилу Карла Либкнехта, стояло меньше мраморных обелисков, украшенных барельефами, и все чаще попадались простые могилки с единственным четырехгранным камнем у изголовья.

- Они должны быть в этом районе. Их похоронили вместе, Карла и Розу. Тут стоял им памятник, - говорил наш спутник, и мы переходили вслед за ним от одного зеленого квадрата к другому.

Минутами казалось, что наш провожатый заблудился. За восемь лет, что он просидел в тюрьме, многое изменилось даже здесь, на кладбище. Наверное, он и сам думал об этом с тревогой. Казалось, худое лицо его еще больше обострилось, и он что-то бормотал про себя, время от времени произнося вслух отрывочные фразы.

Уже начинало смеркаться. Дымное небо, быстро меняя тона, становилось все чернее. Как обычно, в Берлине при наступлении темноты усилилась артиллерийская канонада. Даже здесь, на кладбище, все чаще попадались нам спешащие в город наши бойцы, проезжали повозки и пронеслась по аллеям юркая и чадящая гарью танкетка.

Мы уже начали терять надежду разыскать могилу Либкнехта, когда наш провожатый внезапно скрылся из глаз в гуще кустов. Вскоре раздался его радостный крик. Решив, что он наконец-то нашел могилу, мы поспешили на голос. И что же увидели? За кустом сирени стоял наш провожатый и рядом с ним высокий немец в рабочем комбинезоне. Оба они внимательно разглядывали небольшой гранитный камень у изголовья какой-то могилы.

- Вот это место, - сказал мне наш провожатый, наклоняясь к могиле, здесь они были похоронены. Карл Либкнехт и Роза Люксембург. И другие коммунисты. Но наци вытащили их из земли и зарыли других людей. Я не знал этого, вот Говорит товарищ.

Он показал рукой на высокого немца в комбинезоне.

- Мы не виделись восемь лет, - добавил наш провожатый после долгой паузы. - Восемь лет сидели в разных тюрьмах. И вот мой друг тоже пришел сюда разыскать могилу Либкнехта.

Мы осмотрелись вокруг. Это был отдаленный уголок кладбища. Здесь хоронили самых бедных. Долгие годы на этом маленьком зеленом поле покоились рядом берлинские рабочие.

Теперь же на том месте, где был похоронен основатель Германской коммунистической партии, стоял каменный столбик с надписью: "Луизе Ганзен от любящих папы и мамы".

Я написал неизвестно зачем в свой блокнот имя какой-то Луизы Ганзен, и мы тронулись всей группой в обратный путь. Уже смеркалось. Наш проводник и его товарищ ушли вперед, показывая дорогу.

Так неожиданно встретились на кладбище двое антифашистов, двое наших товарищей, никогда не переставшие бороться за свободу своего народа.

Они шли обнявшись, и эта сценка у бывшей могилы Либкнехта лучше всяких слов говорила о силе пролетарского интернационализма, о силе идей, побеждающих любые страдания и самое смерть, любую фашистскую отраву человеконенавистничества.

Я невольно вспомнил тогда о приближающемся Первомае, который мы будем встречать вместе с немецкими товарищами в Берлине. Поистине особое, неповторимое счастье выпало нам - праздновать Первомай и победу здесь, на улицах столицы Германии.

Скоро стало совсем темно. Мы все еще находились на территории кладбища. За его оградой виднелись дома, двери и глазницы окон зияли темной пустотой. Ни огонька, ни проблеска света! И только когда орудийной вспышкой внезапно озаряло темноту, мы видели, что оба немецких товарища, по-прежнему обнявшись, ждут впереди по аллее и о чем-то разговаривают...

Полк отдыхает в парке

Я уже не помню, каким образом и зачем я очутился в небольшом парке вблизи Лихтенбергского кладбища. Но ясно вижу и сейчас негустой ряд деревьев, клумбы, дорожки, блестящие как желтые ремни, и свежую, апрельскую зелень травы.

Солдаты лежали прямо на газонах, они отдыхали после боев в Бисдорфе и готовились к тем, которые ожидали их в центре города вечером или ночью.

Должно быть, не так уж давно по этому парку гуляли берлинские мамаши, катя перед собою детские коляски, прохаживались нацистские чиновники, а сейчас здесь пестрым и шумным биваком расположились стрелковые роты со всем своим военным имуществом.

Да, это была необычная картина. Автоматы на скамейках, противотанковые ружья, прислоненные к деревьям, стволы маленьких пушек в кустах, а на траве навалом вещи, видно собранные солдатами в горящих домах, различный скарб,

который в конце концов станет достоянием районного магистрата.

Что делают бойцы на приваде? Чистят оружие, если в том есть нужда, переобуваются, курят, спят, разговаривают, намусолив химический карандаш, пишут перед боем письма домой или крутятся около походных кухонь; светлый дымок из закопченных коротких труб, словно клочьями ваты, оседал на кустах, на клумбах и быстро таял в воздухе.

Как передать неповторимое своеобразие привала на этом маленьком зеленом островке парка среди каменного хаоса разрушенных, обугленных и вовсе сгоревших домов!

Рядом с парком находилось здание железнодорожной больницы. Вокруг него черными свежими рубцами выделялись щели окопов, оставшиеся от немецкой обороны. Группа молодых солдат и сержант-санинструктор, которую все просто звали "сержант Катя", закусывали около окопов на траве, громко разговаривали и смеялись.

И вдруг один солдат, курносый, с лицом, обсыпанным рыжими веснушками так густо, словно его кто-то мазанул малярной кистью, громка крикнул:

- Воздух!

Солдаты, побросав еду, скатились в окопы. Как ни мало оставалось у немцев самолетов, а все же они появлялись в небе.

- Сержант Катя, воздух! - еще громче завопил веснушчатый, подгоняя девушку, которая прыгнула в окоп, должно быть на чьи-то спины.

Но поднявший тревогу, ухмыляясь, продолжал сидеть на траве. Он пошутил... Первой за ним погналась Катя. Она настигла веснушчатого и свалила, его на траву. Началась общая возня.

Конечно, шутка молодого солдата была, мягко говоря, неуместной. Но в этом озорстве людей, не уставших после боя и полных молодой, бьющей через край силы, таилось тоже что-то весьма примечательное именно для этих дней в Берлине.

Право, вряд ли тот же солдат позволил бы себе такую шутку в более тяжелые военные времена. А здесь, в Берлине, можно уже было крикнуть: "Воздух!", пугая девушку, именно потому, что вражеской бомбежки с воздуха никто уже всерьез не опасался.

Но если в воздухе господствовали наши летчики, то на земле еще шли очень жестокие бои.

Полком, отдыхавшим в парке, командовал мой знакомый по одерскому плацдарму подполковник Смирнов. Еще несколько дней назад он штурмовал Зееловские высоты, где крутые скаты холмов, опоясанные противотанковыми рвами, простреливаемые многослойным пулеметным и артиллерийским огнем, были

хорошо укреплены противником.

Сюда, на Зееловские высоты, Гитлер бросил из своего резерва три дивизии, много артиллерии, создав плотность примерно двести орудий на километр фронта.

Полк Смирнова вместе с другими частями армии три дня сражался на Зееловских высотах не только днем, но и ночью, чтобы помешать противнику организовать оборону на новых рубежах. Ведь только один немецкий гарнизон внутри Берлина, включая двести батальонов фольксштурма, выпущенных из тюрем уголовников и полицейских, превышал триста тысяч человек.

Вся же Берлинская операция стала одной из крупнейших в Великой Отечественной войне. В ней участвовало более трех с половиной миллионов человек.

Эти цифры, конечно, не были известны ни мне, ни подполковнику Смирнову в тот час, когда, беседуя, мы стояли на залитой солнцем лужайке берлинского парка. Но масштабы сражения мы ощущали по-иному, видя воочию поток наших войск, пехотные, танковые, артиллерийские полки, которые двигались в это утро мимо нас к центру города.

Когда войска 1-го Белорусского фронта подходили к Зееловским высотам, наши летчики сбросили на парашютах четыре больших ключа, представляющие собой увеличенные копии тех, которыми владели русские, вошедшие в Берлин во время Семилетней войны. Один из этих ключей попал в руки Смирнова. К ключу была привязана дощечка с надписью:

"Гвардейцы, друзья, к победе вперед! Шлем вам ключи от берлинских ворот!.."

Однако отпереть берлинский замок, состоящий из трех мощных укрепленных полос, было нелегко. В самом городе, правда, не оказалось сплошной линии обороны, она распадалась на множество опорных пунктов. Но ведь тут каждый дом мог быть превращен в каменную крепость. Артиллерии приходилось разрушать толстые стены, танки на узких улицах теряли маневренность, авиации трудно было различать своих и чужих в хаосе разрушенных зданий.

К началу вторжения русских в Берлин нацисты установили жесточайшие нормы снабжения населения. На одного человека восемьсот граммов хлеба, немного картофеля и сто пятьдесят граммов мяса в... неделю!

Берлинцы голодали. Потоки беженцев заполняли улицы, даже непосредственно примыкавшие к району боев.

Двадцать третьего апреля ставка Верховного командования издала директиву: "Об изменении отношения к немцам".

Там речь шла о гуманном отношении к народу и даже к

рядовым членам национал-социалистской партии, лояльно относившимся к Советской Армии. Предлагалось задерживать только лидеров, в районах Германии создавать немецкую администрацию, в городах ставить бургомистров-немцев.

...Я все еще беседовал с командиром полка, когда к нему приблизилась... делегация от железнодорожной больницы. Врач-смотритель, высокий, седой немец с подозрительным рубцом на выпуклом лбу и военной выправкой, которую не мог замаскировать даже его штатский костюм. С ним был один из служащих больницы, кажется, по хозяйственной части.

Немцы сообщили, что в железнодорожной больнице находятся больные дети.

Запасы продовольствия иссякли, кормить детей нечем.

- А много детей? - спросил Смирнов, внимательно оглядывая смотрителя.

- Около пятидесяти.

- Как же так? - спросил Смирнов. - Голодают? Мы поможем, дадим продукты.

Он снова пристально посмотрел на смотрителя, словно бы обвиняя его за то, что в больнице сложилось такое положение.

- Капитан Шуман! - позвал командир полка.

К нам подошел офицер невысокого роста, темноволосый, в очках. Густые брови его почти сходились у переносицы. Смирнов уже раньше познакомил меня с ним. Это был агитатор полка. В те дни существовала такая штатная должность.

- Я слушаю, - сказал капитан и отдал честь. И то, как он это сделал, поднеся руку к пилотке, сразу же выдавало в нем человека глубоко "штатской" складки, к которому никогда уже не пристанет подтянутая молодцеватость кадрового офицера.

- У него, - Смирнов кивнул на смотрителя, - в больнице голодают дети. Надо проявить гуманность. Мне лично некогда сейчас. Сходи посмотри. Продукты надо дать.

- Это разумеется, - ответил капитан и еще более сердито, чем командир полка, взглянул на смотрителя.

- Посмотри там, нельзя ли выделить полевую кухню. Наши солдатики разбаловались за счет трофейных разносолов, не очень-то тянутся к ротному борщу.

Капитан Шуман кивнул без улыбки, не слишком-то поддерживая мнение командира полка.

- Я думаю, там, в каптерке, хлеб, консервы, колбасы немного, пошукайте, что найдется. Проследи.

- Слушаюсь, - ответил капитан. Он снял очки и платком протер стекла. Может быть, он хотел получше разглядеть смотрителя? Лицо его без очков казалось мягче, и глаза

близоруко щурились.

- Сейчас пойду в больницу и посмотрю, - сказал капитан.

- Вот капитан Шуман пойдет и посмотрит, - повторил командир полка смотрителю. - Шуман его фамилия, слышали, наверно, однофамилец вашего знаменитого композитора.

Смотритель заискивающе улыбнулся. И поклонился. Глаза ничего не выражали.

- Однофамилец композитора, - уже вяло повторил Смирнов.

Я не знаю, почему, командиру полка хотелось как-то изменить эту маску услужливого подобострастия, которая, как приклеенная, застыла на лице смотрителя.

Он только улыбался и кланялся. Я был уверен, что он не знал немецкого композитора Роберта Шумана. Не то чтобы не хотел вспомнить. Просто не знал.

Капитан Шуман при этом почему-то покраснел. Но вряд ли ему было стыдно за смотрителя больницы.

- Ну ладно, действуйте, - махнул рукой Смирнов и отвернулся от смотрителя.

Потом за него принялся я. Оказалось, что этот медицинский деятель на редкость малоосведомлен. Он ничего не слышал о том, как гитлеровские войска относились к населению оккупированных ими городов. Сейчас ему было даже страшно слышать об этом. Он только бормотал:

- Чудовищно! Чудовищно!

...С капитаном Шуманом, веснушчатым солдатом и "сержантом Катей", которых капитан захватил с собой, я подошел к больнице, где находились больные дети. Смотритель не соврал. Положение детей было тяжелым, в полуподвальном помещении, тесно набитом койками, - грязь, спертый воздух.

Дети, приподнявшись на своих кроватях, провожали нас испуганными, безмолвно-скорбными взглядами. Я видел, как у "сержанта Кати" увлажнились глаза. Капитан Шуман помрачнел еще больше.

- Прежде всего накормить, - распорядился он и послал "сержанта Катю" в батальон, поторопить доставку продуктов.

Смотреть на больных, исхудавших детей было тяжко, и мы поторопились выйти на чистый воздух, во дворик, примыкавший к больнице.

- Дети, - вздохнув, произнес капитан Шуман, - они всюду одинаковы. Это - воск в руках человеческих. А уж какими они вырастут - зависит от нас.

Смотритель выскочил вслед за нами в садик, и пока Шуман говорил по-русски, он смотрел ему в рот и согласно кивал.

- В Днепропетровске немцы убили моего деда, - сказал

капитан, - зарыли в каком-то рву. Он был глубокий старик, но крепкий, всю жизнь делал матрацы. Ему было семьдесят пять лет, и он еще работал. Сидел целыми днями перед домом с иглою и молотком, стучал, шил, возился с пружинами. Его родные силою тащили в дом - что подумают соседи: дети не могут прокормить деда?!.. А он все равно выходил во двор и расставлял на козлах свои матрацы. Он любил работать, дедушка.

- Зер гут, - сказал смотритель. Черт его знает, может быть, он немного и понимал по-русски.

- И сестру тоже убили, и двоих ее мальчиков, - продолжал капитан Шуман. - Я сам из Днепропетровска, был там учителем физики в средней школе. С первых месяцев войны в армии, начал солдатом. Своих детей не было, очень любил племянников, как родных сыновей. В Краснодаре, кажется, немцы уничтожили всех больных детей, ворвавшись в городскую больницу, я рассказывал об этом солдатам, - вспомнил капитан, глядя на смотрителя. - Вот мы говорим - немцы. Надо, конечно, говорить - нацисты. Это ведь международное племя мерзавцев.

...Я вернулся в парк. Капитан Шуман тем временем ушел на склад за продуктами. Полевая кухня, где варился борщ для больных детей, деловито выстреливала в небо белым дымком. Открыв крышку, повар, обеими руками взявшись за черпак, вертел его в разные стороны, гулко постукивая о железное брюхо котла. И смотритель больницы вертелся тут же неподалеку, ожидая, когда будет готов борщ.

Не знаю, почему мне так запомнилось это утро? Сколько раз я видел в эти дни боев, как на улицах, где становилось немного тише и безопаснее, наши воины кормили беженцев, перепуганных женщин и голодных детей.

Директива "Об изменении отношения к немцам", собственно, мало что меняла в естественном человеколюбии советского человека. Он не хотел да и не умел мстить, его великодушие победителя бывало порою даже слишком неразборчивым и щедрым.

...Через полчаса капитан Шуман, агитатор полка и однофамилец немецкого композитора, повез на полуторке продукты к зданию больницы. Туда же поехала и полевая кухня... Полк отдыхал в парке...

Домик на окраине

Когда линия фронта от восточных окраин передвинулась к центральным районам города, мы перенесли и нашу "базу" из Штраусберга в берлинский пригород Уленгорст.

Уленгорст входил в черту Большого Берлина, но это был уже не город и еще не дачный поселок. Вокруг двухэтажных

коттеджей стояли обширные сосновые рощи, но множество асфальтированных дорог и дорожек да и сами каменные коттеджи как-то не вязались с представлением о легких деревянных дачных строениях.

Война не задела Уленгорст, не оставила на нем своих меток. Так, будто бы ее огненный вал, разрушая и испепеляя все вокруг, здесь пронесся по воздуху, лишь кое-где опалив огнем верхушки вековых сосен.

В удобных, уютных домах, окруженных палисадниками и большими садами, сохранилось, казалось бы, все: электрический свет, водоснабжение, розы и гладиолусы на аккуратно возделанных клумбах, кнопки звонков на каменных панелях калиток и маленькие микрофончики для вызова хозяев коттеджа. Но не было здесь только их самих.

Панически настроенные, зараженные геббельсовской пропагандой, сулящей им всякие ужасы, многие немецкие женщины, захватив детей, уходили в деревни, скрывались, Но вскоре многие из них вернулись в свои дома.

Нашу хозяйку мы не видели целую неделю и предполагали уже, что она или погибла, или убежала в западные районы страны.

Поэтому мы вынуждены были сами хозяйничать в доме и на кухне, а наш шофер находил время по утрам поливать цветы и работать немного в маленьком фруктовом саду, примыкавшем к дому.

Там Корпуснов, возясь как-то с лопатой около куста малины, обнаружил топор с засохшей кровью на лезвии. Топор он очистил и положил на кухню, не подозревая, что с ним связана трагическая история, которая разыгралась в этом домике еще в те дни, когда до Уленгорста начали доноситься первые раскаты орудий наших приближавшихся частей.

Как правило, мы приезжали домой только ночевать. В те часы, которые мы проводили в коттедже, я для работы поднимался на второй этаж, в комнату, которую делил со Спасским. Здесь стояли два дивана около окна, выходившего в сад со стороны калитки.

Из окна виднелась неширокая улица, по обочинам поросшая той нежно-зеленой, веселой апрельской травкой, которая особенно радовала глаз. Рядом с изгородью, обтянутой сеткой, останавливались на ночь и наши машины.

Вот там-то я и увидел однажды под вечер женщину в брюках, с темным платком на голове и с двумя сумками, осторожно, с опаской пробиравшуюся между машинами. Она вошла в нашу калитку и, озираясь по сторонам, нерешительно приблизилась к

дому.

Через полчаса, спустившись со второго этажа на кухню за стаканом воды, я открыл дверь и увидел вздрогнувшую при моем появлении невысокую худую женщину. Она тотчас вскочила со стула и поклонилась. Большие серые глаза ее расширились от страха, а пальцы нервно перебирали края передника.

Я поздоровался с нею и тотчас поднялся к себе, только затем, чтобы женщина успокоилась. Потом мне пришлось еще раз зайти на кухню. И снова, несмотря на все мои улыбки и успокаивающие жесты, женщина продолжала нервничать, лицо ее, жалкое и поблекшее, по-прежнему выражало явный страх, с которым она, казалось, не могла справиться.

Странное поведение нашей гостьи - в ту минуту я еще не знал, кто она, и особенно раболепно-искательное выражение ее лица вызывало у меня неприятное чувство, в котором жалость невольно смешивалась с брезгливостью.

В этот вечер я и другие мои товарищи старались появляться около кухни как можно реже.

За ужином я узнал, что на кухне сидит хозяйка коттеджа фрау Мария Менцель. Она попросила разрешения пожить на кухне.

Мы тут же предложили ей занять одну из пустующих комнат, а если ей надо, то и две, привести свою дочь-студентку, которую фрау Менцель прятала зачем-то у родственников.

Но фрау Менцель отказалась поселиться в комнате и заявила, что ее вполне устроит подвал, где тепло, сухо, светло, где у нее спрятаны вещи.

Наша настойчивость в данном случае только бы испугала хозяйку. Подвал вдали от наших комнат представлялся ей более безопасным, и, в надежде, что фрау Менцель вскоре, лучше узнав нас, переселится в комнаты, мы не стали ее больше уговаривать.

И действительно, прошло несколько дней и фрау Менцель понемногу успокоилась. Она заняла свободную комнату и теперь уже целый день гремела кастрюлями на кухне или ходила с тряпкой по комнатам, убирая их, в те часы, когда мы уезжали в Берлин.

Первым, к кому фрау Менцель почувствовала доверительное расположение, влекущее к откровенности, был Михаил Семенович Гус. Он лучше других говорил по-немецки и более всех интересовался настроением берлинцев, их отношением к нацистскому режиму, доживавшему последние дни.

Михаил Семенович в свободное время беседовал с фрау Менцель, и ему-то первому она рассказала о себе, о своем домике, о квартирантах и соседях.

Муж фрау Менцель, банковский служащий, приобрел этот коттедж в рассрочку, и когда он ушел на войну, фрау Менцель сдала верхний этаж квартирантам.

Вскоре хозяин домика погиб на восточном фронте около Одессы. Фрау Менцель стала вдовой. Но квартирант ее, Вернер Брейтшнейдер, инженер на одном из заводов фирмы АЭГ, оставался дома.

Брейтшнейдер, сравнительно молодой человек, еще будучи юношей, состоял в штурмовых отрядах; став инженером, он записался в нацистскую партию.

В свою "зиппенбух" - родословную книгу, которые по приказу гитлеровцев должны были иметь все арийские семьи, Брейтшнейдер внес имя дочери Ингрид, при рождении нареченной Бертой. Ингрид, имя из древних немецких саг, показалось молодому нацисту более модным.

Однако этот нацист, почитатель средневековья, этот фашистский "рыцарь" растерял все свое самообладание, остатки мужества и разума в тот день, когда к берлинским пригородам начали приближаться наши войска.

Вот что рассказала фрау Менцель.

В тот день, когда население Уленгорста услышало дальние раскаты русских пушек, жена инженера призналась фрау Менцель, что она очень беспокоится за мужа. Он не находил себе места, страшась возмездия, уверенный в том, что, когда придут в Уленгорст наши войска, его, как члена нацистской партии, убьют или отправят в Сибирь.

Спустя некоторое время, когда обе женщины находились в кухне, они услышали странные звуки в комнатах второго этажа. Было похоже на то, что кто-то топором рубит в комнате дрова.

"Что это у вас?" - спросила фрау Менцель.

"Не знаю. Боже мой, какие странные звуки!" - сказала жена Брейтшнейдера и побледнела. Затем она с криком бросилась в свою комнату.

Прошло минут пять. И вдруг дом огласился душераздирающим криком. Перепуганная насмерть фрау Менцель лишилась дара речи. Она не решалась кликнуть кого-нибудь на помощь и даже выйти из своей комнаты.

Однако через некоторое время сосед фрау крикнул ей из-за ограды, чтобы она вышла к нему. Он обнаружил инженера, лежащего в саду около ограды. Брейтшнейдер истекал кровью.

Он признался, что в своей комнате сначала зарубил топором двухлетнюю дочь и четырехлетнего сына, затем тем же топором убил и жену. Трупы закопал в могилу, которую предварительно вырыл в саду.

С ужасом она услышала еще и о том, что Брейтшнейдер пытался покончить с собой, взрезав себе вены. Однако он не мог сразу лишить себя жизни и умер в этом доме спустя три дня.

В тот же вечер фрау Менцель вместе с дочерью убежала из своего дома к родным, живущим в другом пригороде.

Такова эта тяжкая история, далеко не случайная и не единичная в те дни.

Узнав о ней, мы стали невольно иными глазами смотреть на нашу хозяйку, которой довелось много вынести и пережить.

Мы долго и терпеливо объясняли фрау Менцель, что ее квартиранту, как рядовому члену нацистской партии, не запятнанному в военных преступлениях, ровным счетом ничего не грозило.

Поняла ли это фрау Менцель или, вернее, поверила ли? Не знаю.

Мы говорили ей, что Брейтшнейдер был одурачен Геббельсом и его кликой врунов, что поступок его - убийство жены и детей - под стать тому средневековому варварству, которое насаждали гитлеровцы, что это изуверство ничем не объяснимо, кроме как помешательством на почве страхов, клеветнических слухов, психоза и ненависти к советским людям.

Фрау Менцель охотно слушала, кивала, вытирая платком покрасневшие от слез веки, и делала вид, что верит.

На следующий день после того, как мы узнали о трагедии в нашем доме, Спасский в той комнате, где мы спали, нашел в шкафу пальто Брейтшнейдера с большими расплывшимися пятнами крови. Пальто забрала фрау Менцель.

Я не скажу, чтобы мы чувствовали затем себя очень уютно в комнате, пол которой носил следы замытых красных пятен. Мне казалось, что я слышу крики детей, смотрящих на своего отца, когда он с топором подходил к ним.

Да надо ли еще писать о том, чего нельзя ни описать, ни выразить словами!

Но рассказ об этой трагедии незримой тенью лег на наши души. Он сказался и в наших корреспонденциях и записях, которые мы делали в этой комнате, он сказался в той силе ненависти, с какой мы думали о нацистах, принесших столько зла народам, о нацистах, которые еще сидели в подвалах рейхстага и новой имперской канцелярии Гитлера.

Госпиталь у озера

Армейский госпиталь расположился в самом живописном месте Штраусберга, около озера, поросшего по берегам стройными соснами. Большой дом с колоннами стоял близко от берега. Из комнат, переоборудованных под палаты, открывался

чудесный вид на спокойную воду, по которой плавали белые лебеди, и можно было считать каким-то чудом, что они сохранились здесь в эти военные дни.

Посреди озера возвышался зеленый круглый остров, и там, в зарослях кустов, виднелись каменные беседки с тонкими колонками и островерхими железными крышами. Островок был усеян этими беседками, точно гигантскими белыми грибами.

Словом, раненые видели перед собой мирный пейзаж, ничем не напоминавший войну. Вызывал же он в памяти скорее картины русских дореволюционных богатых усадеб, охраняемых ныне как памятники старинного паркового зодчества.

Людям, которых привозили сюда прямо с переднего края, из горящих берлинских улиц, была особенно приятна и тишина в парке, и запах хвои, и лебеди на тихо плескавшейся воде, и лучи солнца на золотисто-янтарной коре сосен.

Небо над Восточной Германией в эти дни можно было считать спокойным, как говорили солдаты - "чистым" от вражеской авиации, а в окрестностях Штраусберга не появлялись бродячие банды "Вервольфа". Вот этим и объяснялась та, я бы сказал, странная для военного госпиталя картина, которую я увидел здесь.

В это утро, должно быть, почти все население военного госпиталя, покинув палаты, перебралось под открытое небо, в парк.

Раненых - тех, кто мог сидеть на полотняных стульчиках, на скамейках, и тех, кто стоял на костылях, и тех, кто лежал на кроватях и носилках, - всех вывели и вынесли на свежий воздух, на зеленую травку, порадоваться солнышку, апрельскому теплу, мягкой весне.

Мы оставили наши машины у резной чугунной ограды парка и прошли на зеленую лужайку. Я узнал, что в этот госпиталь привезли раненого танкиста Павла Синичкина, и хотел его навестить. Мы захватили с собой и наши микрофоны, ибо никогда не забывали о профессиональной обязанности - делать записи на пленку.

Еще шла война, но для раненых она была уже кончена. Передвигающиеся на костылях, перебинтованные, еще лежащие на носилках, здесь, в сорока километрах от Берлина, эти люди в мыслях своих были далеко, за тысячи километров отсюда, дома, на родине. Так что же они собирались делать после госпиталя, после войны? Мы хотели услышать об атом. И записать на пленку.

Конечно, решение, которое принимает человек, лежащий в госпитале, еще больной, еще слабый, - это не окончательное решение.

Но мысли солдат о мирной жизни сейчас, в канун окончания войны, имели свою особую ценность, свою историческую неповторимость, свою значительность именно потому, что принадлежали людям, только что пролившим кровь в боях.

Но сначала о Синичкине. Он лежал на носилках с подложенными за спину подушками, чтобы танкисту можно было видеть товарищей, высоко держать голову и осматривать площадку, пестревшую белыми, желтыми, зелеными, серыми полосатыми пижамами раненых.

Гитлеровцы, стрелявшие в Синичкина, не промахнулись. Одна пуля прошла в мягкие ткани его ноги, другая задела кость предплечья, третья попала в кость правой руки, и поэтому Синичкина туго запеленали в гипс, охватив им весь торс и руку.

Вот так он и лежал в белой гипсовой рубашке, а правая полусогнутая его рука, ставшая вдвое толще от гипса, была намертво прикреплена перед грудью.

Эта гипсовая повязка среди раненых носила название "самолет", ибо действительно чем-то напоминала крыло самолета.

Синичкин, бледный (потерял много крови), лежал на спине, смотрел на небо, и пальцы его левой, здоровой руки гладили траву. Мне он обрадовался как старому знакомому.

- Вот загораю на солнышке, здравствуйте! - сказал он. - Садитесь рядом, на травку. Я опустился рядом с носилками.

- Как в Берлине? - первым делом спросил Синичкин. Я кратко рассказал.

- Не довоевал я. Немного не дотянул! И вам соврал!

- В чем? - не понял я.

- Говорил, что встретимся у рейхстага. А меня вон куда отбросило, на озеро, к белым лебедям!

Синичкин вздохнул.

- Что поделаешь! Война!

- Все-таки, - сказал Синичкин.

Я поинтересовался, как он себя чувствует.

- Да вот завернули в гипс. Скажи какая судьба! Всю войну под танковой броней и опять вроде как в броне, гипсовой!

Он постучал ногтем по своей груди. Звук был такой, словно бы он постучал по деревяшке.

- Вот видишь, крепкая, сволочь! - сказал он не то с горечью, не то с какой-то уважительной интонацией, ощупывая левой рукой свою твердую гипсовую рубашку. - Броня! Одно слово - броня! - повторил он.

- Как там наши, не знаете? - спросил Синичкин через минуту, когда, повозившись на носилках, нашел для тела удобное положение. Я видел, что гипсовая повязка доставляла ему

мучения.

- Полк Шаргородского уже где-то под рейхстагом. - Я рассказал о положении в Берлине. - Ребята воюют здорово!

- Здорово, да без меня!

Я сам был дважды тяжело ранен и знал не из литературы, а по опыту своего сердца, как раненому человеку, уставшему за месяцы боев, в первые дни особенно приятна госпитальная тишина, отдых, чистые простыни, ласковые руки врачей и сестер да и само сознание, что здесь-то ты в относительной безопасности.

Это по-человечески так понятно и вовсе не умаляет храбрости людей, которые, залечив раны, возвратятся в свои части, чтобы хорошо воевать.

Обычно раненые не слишком торопились из госпиталей на фронт, а если и торопились, то не принято было вслух говорить об этом. Я видел, что Синичкин действительно жалел, что не дошел до рейхстага и что находился сейчас в госпитале, а не в части, не в бою.

Как видно, общие слабости еще не делают людей похожими. Их скорее объединяет сила характеров. И это мужество у Синичкина было сильнее страха, сильнее минутных слабостей, боли и страданий.

- Ну, с армией у тебя - все! И с этим примирись. Что думаешь делать в мирной жизни? - спросил я танкиста.

- В гражданке?

Синичкин задумался. Должно быть, он вспомнил что-то, - только хорошие мысли так просветляют лицо. Он легко улыбнулся, но при этом вздохнул.

- В гражданке танкисту прямая дорога от танка на трактор. От машины к машине. Мне теперь без мотора будет скучно. Выходит, что я моторный мужик!

Это выражение понравилось Синичкину. Уже беззвучно, одними губами он повторил слово "моторный".

Мне подумалось тогда, что и в своем характере Синичкин чувствовал что-то сродни неутомимой мощи танкового мотора, который много месяцев был послушен его руке.

- Вчера домой письмо нацарапал. Левой. Правая-то в гипсе. Чудно! Буковки, как безногие, все влево падают. Каракули! Но разобрать можно. Интересно. Начал - и сразу пошло! - говорил он, улыбаясь и словно подсмеиваясь над собой и над тем, как он с первой попытки сумел левой рукой написать письмо. И от сознания этой своей простосердечной гордости он улыбался все шире.

- Вот так же и жизнь новую - начнешь, и сразу пойдет!

- Возможно, товарищ корреспондент. Вот только бы скинуть это!..

И Синичкин снова постучал пальцами о твердую белую гипсовую рубашку, которая мешала ему вздохнуть глубоко, всей грудью.

Я помню лежавшего неподалеку от Синичкина солдата, в прошлом шахтера из Сибири, Ивана Ивановича Борейко. Он был тяжело ранен в грудь и дышал как-то натужно, со свистом, как старый маневровый паровозик на шахтном дворе.

Борейко было трудно разговаривать, я видел это, но он сам подозвал меня, услышав беседу с Синичкиным.

- Вот я, сынок, если выживу, то подамся к себе в Прокопьевск, это в Кузбассе. Слыхал? Хорошие края! В шахту, может, меня и не пустят теперь, так на шахтном дворе какую-никакую работенку сыщут мне. Все около угля - запашок его буду слышать!

- А может быть, и забойщиком сможете?

- Нет, милок, под землю спускаться не надеюсь, прости. Этого не обещаю, - сказал Борейко серьезно, так, словно бы должен был именно сейчас решить, куда ему оформляться на работу.

...К сожалению, я забыл его фамилию, но помню фигуру высокого артиллериста, командира батареи, раненного в голову. По гражданской специальности он был учитель физики в техникуме.

- Когда меня пуля но голове царапнула, я, признаюсь, испугался. Ну, подумал, раз в голову - то все, кончились мои лекции! Без головы физику преподавать не будешь! - Он улыбнулся.

- Сейчас у вас другое настроение?

- Другое. Проверял себя на легких примерах по дифференциальным уравнениям. Обрадовался вдвойне. Во-первых, помню, во-вторых, мозговой аппарат работает. "Черепушка варит!" - как говорят солдаты.

- Значит, на преподавательскую работу?

- Конечно. А может быть, в науку, в какой-нибудь научно-исследовательский институт. Давно хотелось. Если, конечно, вот это не подведет.

И артиллерист осторожно и все-таки с некоторой опаской потрогал "черепушку" - свою забинтованную голову.

...Молодой связист лейтенант Курашов учился в институте связи, потом полгода в военном училище связи и затем попал на фронт. Он сидел сейчас на скамейке, выставив вперед затянутую в лубки раненую ногу. Она выглядела вдвое толще нормальной. Курашов посматривал на ногу так, словно это была не его нога, и вообще не нога, а что-то непонятное, неуклюжее, случайно

оказавшееся рядом с ним, молодым, здоровым, полным энергии.

Всю войну Курашов таскал в своем заплечном мешке институтскую зачетную книжку.

- Хорошая зачетка?

- Приличная. Правда, одна двойка затесалась. По сопромату. Не успел пересдать. Забрали в армию. Какие планы на послевоенный период? Доучиться раз!

- Что же два?

- И два и три. Много разных "до". Долюбить то, что недолюбил из-за потери времени на войну с Гитлером. Добрать счастья личного - сиречь жениться. Доработать недоработанное по той же причине. И вообще так жить, чтобы за год брать от жизни то, что дается за два с лишним.

- Боевая программа!

- А как же? Раз живой остался - давай на полную катушку!

- Я желаю вам успеха, - сказал я связисту.

...Этот старшина, с лицом немолодым, суровым и усталым, лежал рядом с солдатом примерно одних с ним лет и земляком. Оба они были с юга, из Ставропольского края.

- Весна! У нас сеют в марте, сейчас яровая всходит - зеленые побеги. Я агроном по образованию, Люшнин фамилия. После войны хлеба для народа надо будет много. Очень много! И мяса и вообще сельскохозяйственных продуктов! Вы смотрите, что в Германии делается. Тоже голодно. И в Европе. Надо держаться ближе к земле.

- Вам пришлось сильно поголодать в войну?

- Случалось, - неопределенно ответил Люшнин. - Не во мне дело. Вообще сельскому хозяйству очень будут нужны кадры специалистов. Я, конечно, вернусь в свой район. Не на асфальте родился, земля, она, знаете, тянет! Вот земляк, - Люшнин показал на солдата, - тоже хлебороб наших степей, спит и во сне Ставрополыцину видит.

- Точно. Всякому мила своя сторона, - откликнулся сосед. - Товарищ, не слыхали, когда старогодков зачнут домой отпускать? Как. Берлин возьмем? Ведь держать не станут?

- Точно не знаю, но думаю, ваш возраст отпустят домой скоро.

- Хорошо бы еще и Гитлера пымать! - сказал солдат с затаенным вздохом надежды и таким тоном, словно бы исполнение и этого желания сделало бы его совершенно довольным и счастливым.

...Этот раненый в голубовато-серой пижаме, цвет которой трудно было различить в кустах, сидел на берегу с удочкой в дальнем, малолюдном и тихом уголке парка.

На вид ему было лет тридцать или тридцать пять, а может быть, и сорок. Его лицо состарившегося мальчика, овальное, с гладкой кожей, полнощекое, но уже обрамленное сединой на висках, принадлежало к тем лицам, по которым трудно определить возраст человека.

Ранен он был в левую руку, сейчас она, перебинтованная, висела у него на ремне, пальцы шевелились, и раненый довольно ловко нанизывал ими червяков на крючок своей удочки.

Он резко вздрогнул, когда под моими сапогами захрустели ветви.

- Счастливого клева. Здравствуйте!

- Напугали меня. Я тут отдыхаю в одиночестве, - сказал раненый, пристально вглядываясь в меня.

- Простите, пожалуйста. Вот смотрю, как здесь красиво, - сказал я, любуясь спокойной водой озера. Оно напоминало гладкую огромную тарелку с голубыми, слегка обломанными краями.

- Главное - тихо! - сказал раненый. Фамилия его была не то Подточийский, не то Предтеченский, точно не помню, в общем, какая-то тягучая, церковно-семинарская. Он долго думал, мялся и медлил с ответом, хотя я и не вынимал блокнот.

- Зачем вам это?

- Просто интересно. Ведь это всех нас интересует: как мы будем жить после войны?

- Я хочу жить в лесу, большом, глухом. Домик себе построю деревянный вдали от железной дороги, от городов. Может быть, женюсь или брата выпишу.

- Вы лесником работали до войны?

- Нет, зачем. Я в Курске, в одном тресте служил старшим экономистом.

- А в армии?

- Техником-интендантом по артснабжению.

- Значит, сейчас потянуло на природу?

- Не в природе дело, а потянуло подальше от людей, чтобы грохота машин не слышать, а только тележный скрип, вот так! И чтобы в небе только птички пели или шмели жужжали, а не самолеты! Тишины хочется, чтобы всюду была тишина, больше ничего не надо.

- Устали вы?

Я спросил это, как-то невольно подстраиваясь под интонацию раненого.

- А что ж вы думали? Сколько мы с вами ужасов насмотрелись, сколько страданий! Устал я, верно. Покоя хочется.

- Но ведь соскучитесь в лесу-то один?

- Почему? Жена, дети со мной будут. От скуки еще никто не умер. А от бомбежки умирают! Правда!

Мне трудно было опровергнуть это наблюдение. Действительно, от бомб умирают, от скуки, во всяком случае, не сразу. Да мне и не хотелось возражать раненому. Пусть человек живет в лесу, и в лесном хозяйстве нужны экономисты.

...Позже, в Уленгорсте, просматривая свои блокноты, я заметил, что из многих воинов, с которыми я беседовал в госпитале, только один человек мечтал об одиночестве, вдали от людей, от шума и кипения большого и яростного мира. Всего лишь - один.

На станции метро

Партийное бюро части заседало в отбитой у гитлеровцев станции метро. Узнав об этом, я решил пробраться к входу в подземную берлинскую железную дорогу.

Сопровождавший меня солдат сказал, что в вестибюле метро идет сейчас прием в партию.

- Почему именно в метро?

- Тихо там. Опять же бомбы, снаряды, или там пуля не достают. Место подходящее.

Через минуту он добавил, что участвовавшие в атаке на метро бойцы и офицеры после боя за эту станцию и подали заявления.

- Так что разбирают их, можно сказать, на месте происшествия, заключил он.

Без провожатого я бы ни за что не нашел входа в метро, издали почти незаметного, заваленного камнями, мотками колючей проволоки и противотанковыми "ежами" - крестообразно сваренными металлическими балками.

Просто мне бы не пришло в голову, что эта яма среди мостовой с разбитыми каменными ступенями, ведущими вниз, с короткими стенами бетонных парапетов, напоминавшими иные московские общественные уборные, что это и есть вход в берлинскую подземку.

Мой провожатый, на всякий случай вскинув на руку автомат, полез по ступенькам вниз, я за ним, пока мы но натолкнулись на труп гитлеровского солдата. Он лежал широко раскинув руки, словно бы пытался закрыть ими узкий проход в метро.

Вдвоем мы оттащили тело в сторону, и мой провожатый пробурчал что-то насчет нерадивости "похоронной команды", не успевавшей убирать трупы на берлинских улицах.

Сказать, что берлинское метро показалось мне скромным сооружением, это значит выразиться мягко. Нет, оно выглядело очень мрачным подземельем с устоявшимися запахами сырости,

ржавчины, размокшего цемента, гари и дыма, которые после боя еще не выветрились отсюда.

Лестница вниз оказалась короткой. Вскоре я ступил на серый пол перрона станции, по обеим сторонам которого пролегали пути. Над головой висел сравнительно невысокий купол. У этой станции неглубокого залегания было только одно очевидное преимущество - отсутствие эскалаторов и длинных переходов.

Сейчас на перроне было темновато. Дневной свет проникал сюда со стороны входной лестницы. В потолке зияла еще воронка, пробитая бомбой, через нее тоже сочился свет.

Слева на рельсах стоял пассажирский вагон метро, в него затащили небольшой столик для секретаря, остальные члены бюро сидели на продолговатых диванчиках с одной стороны, с другой, держа автоматы у ног, тесно прижавшись друг к другу, разместились те, кого вызвали для приема.

Вагон освещался переносными электрическими лампами, и, право, казалось, что он вот-вот тронется с места и покатится по рельсам в пугающую глубину темного туннеля, к центру Берлина.

Секретарь партбюро, немолодой майор, подперев ладонью щеку и слегка гладя пальцами свой седеющий висок, слушал сержанта, рассказывающего свою биографию. Она была несложной.

Геннадий Бажуков закончил в Перми семилетку, пошел работать на механический завод, а вечером учился в заочном техникуме. Он хотел со временем стать авиационным инженером. Двадцатого июня он сдал выпускные экзамены, двадцать второго началась война, и Геннадия призвали в армию.

Потом учебный полк, формировка, фронт, госпиталь, опять формировка, опять фронт, и так несколько раз.

Сейчас сержант сильно тер ладонью свой выпуклый шишковатый лоб, стараясь вспомнить еще какие-нибудь выдающиеся факты из своей биографии, но ничего, должно быть, не приходило ему в голову.

- Все обычно, товарищ майор! Биография еще не наросла. Как говорится, только заложил фундамент.

- Ты уралец?

- Точно, - оживился Бажуков и произнес это таким радостным тоном, словно выискал в биографии еще одну свою заслугу - он уралец!

- Расскажи, как участвовал в последних боях? - спросил строгий майор.

Последним боем для Бажукова был бой за эту станцию, и прежде чем начать рассказывать, он оглянулся на перрон, на стены вестибюля, испещренные следами от пуль и осколков.

- У них тут фаустники сидели, товарищ майор, - сказал он и посмотрел в темноту, словно бы мог и сейчас заметить там гитлеровских солдат. - А в туннеле - автоматчики. Мы со света, они из темноты, товарищ майор, следовательно, мы их плохо видим, они нас хорошо.

- Ты рассказывай не мне одному, а всем, - поправил майор сержанта, который смотрел ему в лицо.

- Есть!

Бажуков отступил чуть назад, чтобы видеть всех членов партбюро.

- Конечно, по этой причине были потери с нашей стороны, - закончил он свою мысль.

Я обратил внимание на то, что все сидевшие в этом вагоне участники боя за станцию сейчас слушали сержанта с острым вниманием людей, узнававших что-то необычное и очень интересное. В глазах слушавших постепенно разгорался веселый огонек возбуждения. Конечно, каждый мысленно вспоминал и заново переживал картины только что окончившегося боя.

И Бажуков стал говорить громче, быстрее, энергичнее, порой торопясь и проглатывая окончания слов.

- Сильно били немцы! Мы ползком - по-пластунски.

Да место ровное, не спрячешься. Пулемет наш с мостовой, сверху через воронку стрелял. Мы попросили артиллеристов - вкатите пушку семидесяти шести в метро. По ступенькам ее спустили, а сами за лафетом прятались. Все-таки спустили на руках.

- Понятно, - кивнул майор. - Вот она!

Как это я сразу не заметил орудие в подземном вестибюле! Правда, там было темно, а пушка стояла не на перроне, а ниже, прямо на рельсах. Удивительно, как вообще могли спустить ее в метро наши солдаты, спустить на руках, под огнем пулеметов!

- Ну, значит, из нее ахнули разок, другой. Прямо в туннель. Ох и загрохотало же там! Ровно все метро обвалилось. Потом мы бросились в атаку... - Сержант продолжал рассказывать, как он полз по шпалам с автоматом, как залез в темный туннель и там шаг за шагом, стреляя, продвигался вперед.

Я вышел из вагона, чтобы пройтись по перрону к началу туннеля. Гитлеровцы ловко и многосторонне использовали эти туннели метро. По ним они подбрасывали свежие людские пополнения в окруженные секторы, на станциях создавали сильные опорные пункты.

По туннелям немецкие части выходили из окружения, по ним же выносили раненых и доставляли боеприпасы. А когда наши воины спускались под землю, они попадали в туннели,

освещенные прожектором и простреливаемые перекрестным пулеметным огнем.

За каждую станцию, за каждый туннель приходилось вести бой жестокий, упорный и кровопролитный.

Я вернулся к освещенному вагону. Сержант Бажуков, все так же потирая ладонью выпуклый лоб, отвечал на вопросы. Он рассказывал об Уставе партии.

Не знаю, записал ли в протокол майор то место, где проходило заседание. Если бы Гитлер, сидевший неподалеку в подвале имперской канцелярии, узнал, что в берлинском метро идет прием в партию коммунистов? Думается, одна мысль об этом могла бы свести его с ума!

Чувствовали ли члены партийного бюро и принимаемые в партию всю необычность, всю историческую неповторимость этих минут и этого заседания?

Наверняка чувствовали, но не говорили об этом, а лишь внимательно слушали сержанта и полушепотом переговаривались между собой о всяких насущных боевых делах.

...Заседание партийного бюро части на станций берлинского метрополитена продолжалось...

Последние дни

Штаб корпуса генерала Ш. располагался на улице Лагенштрассе, вблизи реки Шпрее. За углом Андреасплац, неподалеку - Силезский вокзал. Это центральный район Берлина, отсюда уже виден шатрообразный массивный купол рейхстага, с пробоинами от снарядов на железных листах крыши.

Кажется, что этот купол тяжел, очень тяжел. Купол давит на высокие, толстые колонны, они изрешечены пулями, осколками мин и снарядов, но чудится издали, что это сам купол своей громадой подкашивает ноги колонн, готовых рухнуть наземь.

Вход в штаб корпуса прямо с улицы в окно полуподвального этажа, где висит на одном гвозде вывеска "Эльза Тоска - колониальные товары" и уже проложена ковровая дорожка, чтобы входящие в окно не поцарапали сапоги об осколки битого стекла.

Мы внесли в маленькую уцелевшую комнатушку нашу аппаратуру и установили микрофон на трехногом, наполовину обгорелом столике. За столик сел генерал-майор, командир корпуса. Казалось, что, если генерал вдруг резко подымется, он выбьет плечами низкий потолок.

Генерал высок, у него богатырская фигура, большие, с узлами вен руки.

Еще до того, как генерал вошел в комнату, его адъютант рассказывал мне, что однажды в доме, который занимал штаб корпуса, разорвалась бомба. Рухнул пол, и куда-то вниз,

окутанные дымом и гарью, провалились все находившиеся в комнатах. Первым поднялся генерал, не торопясь и спокойно.

Адъютант так и сказал: "Поднимается и балки с плеч отряхивает!"

По словам адъютанта, в своем корпусе, где насчитывалось немало Героев Советского Союза, генерал отличался особой храбростью и большим самообладанием в бою.

Когда генерал вошел в эту маленькую и, казалось нам, самую тихую комнату, предназначенную для записи, он с любопытством взглянул на микрофон. Я попросил командира корпуса рассказать сначала коротко о положении в городе и на переднем крае сражения.

- Это для записи?

- Пока нет, просто нам для ориентировки.

- Ну, это легче, а то ведь я не редактор. Могу и грубовато выразиться, по-солдатски. А события последних дней очень радостные, - сказал генерал. Вчера мы по радио новость поймали: Гиммлер обратился к союзному командованию с предложением капитуляции Германии перед США, Англией, но не перед СССР. Каков мерзавец! Вот-вот сдохнут они все, а все же пытаются, чертовы фашисты, поссорить союзников, вбить клин между нами. Но ничего не выйдет. Эта капитуляция отклонена.

"Генерал сказал - вчера, значит - двадцать девятого апреля", - подумал я.

У нас в радиомашине тоже стоял приемник, но это сообщение мы не слышали.

- Теперь уже совсем скоро. Какие мы переживаем дни! - невольно вырвалось у меня.

- А вот еще новости: вчера же гитлеровцы предприняли контратаку в районе Потсдама силами двенадцатой армии генерала Венка. Последние судороги Гитлера. Посмотрите-ка их газетку! - предложил мне генерал, кладя на стол один из последних, а может быть, и самый последний номер "Фолькишер беобахтер". На всю первую страницу красовался заголовок, набранный, видимо, самыми крупными литерами, которые нашлись в типографии: "Героическое сопротивление Берлина - беспримерно. Это признает Москва, Лондон, Нью-Йорк!"

Бесноватый фюрер и в последние свои минуты оставался верен бахвальству и беспардонной лжи, продолжая обманывать своих солдат и последних приверженцев.

Пока мы читали газету, выходивший из комнаты адъютант принес новое сообщение: в Москве отменено затемнение и разрешено нормальное освещение улиц и жилых домов.

- В Москве зажегся свет, - произнес генерал так, словно ждал

этого именно сегодня.

В Берлине хотя и не так строго, но все еще поддерживалась светомаскировка. В районе боев зарево нескончаемых пожаров часто превращало ночь в день.

Я попросил генерала рассказать о кануне первомайского праздника в Берлине.

- А куда пойдет пластинка? - спросил он.

- В Москву, а оттуда запись передадут по всей стране. Я сказал, что можно, кроме того, изготовить письмо-пластинку и послать ее в Горький, на родину генерала. Там формировались и полки этого корпуса.

- Что ж, хорошо! - сказал генерал. Перед тем как сесть к микрофону, он протянул мне карточку своей матери и попросил переслать ей пластинку.

С глянцевитой, покоробившейся в кармане карточки на меня взглянули умные, по-стариковски словно бы жалеющие всех глаза, в паутинной сетке морщинок, с чуть припухшими, должно быть от бессонницы, веками. Мать генерала оказалась маленькой старушкой, с фигурой сутулого мальчика, в черном гладком платке и с белым кружевным воротничком на груди.

Трудно было представить себе, что именно она родила такого богатыря. В углу карточки виднелась бисерная надпись: "Ради бога, береги себя. Мама". Эту надпись генерал все время старательно закрывал пальцем.

Мы начали запись.

- Дорогие товарищи земляки, - сказал генерал, низко наклоняясь к микрофону и придерживая его за основание пальцами, чтобы случайной воздушной волной микрофон не свалило на пол. - Я хочу поздравить вас с праздником отсюда, из Берлина, где мы добиваем гитлеровскую Германию. Чем мы встречаем наш праздник? Усилением нажима на врага в тех районах, где он еще продолжает держаться...

Пока генерал говорил, я невольно вспомнил, как выглядят эти самые районы, прилегающие к переднему краю сражения.

Какой-то старик немец, одетый во все черное, так, словно он собирался примкнуть к траурной процессии, на одном из перекрестков улиц, где остановилась наша машина, неожиданно предложил купить у него путеводитель по Берлину. Он неуверенно попросил за него одну рейхсмарку. Вряд ли в разрушенном городе кто-либо мог воспользоваться путеводителем, тут целые кварталы были снесены бомбовыми ударами. И притом рейхсмарки доживали последние часы.

Наверно, старик догадывался об этом. И все-таки он продавал путеводитель, рассказывающий о том Берлине, каким он был до

начала войны, затеянной Гитлером. Путеводитель мы купили, заплатив не рейхсмарками, а советскими оккупационными марками, которые начало выпускать наше командование.

Здесь, в центре города, я, несколько раз вытаскивая путеводитель, пытался сориентироваться в лабиринте улиц, разрушенных домов и мостов. Но безуспешно. На некоторых улицах, где под землей проходило метро, мостовая вся провалилась и лишь у домов торчали обломки тротуара. Многие переулки исчезли вообще, похороненные под громадами рухнувших зданий. Многие проспекты перегораживали дамбы из камня и бетона, на которые не могли взобраться ни машины, ни танки.

Неподалеку от штаба корпуса, на Блюхерплац, вся улица была запружена нашими самоходными пушками и танками "Т-34", готовящимися к атаке. А вот рядом с танками и самоходками можно было увидеть на берлинских улицах и наших лихих повозочных. Смело подбирались они к самой передовой, подвозя продукты и фураж. И запах нагретого солнцем сухого сена, словно бы запах русских полей, тихое ржание лошадей, крики повозочных, слышимые в паузах между разрывами снарядов и мин, - все это, смешиваясь с отдаленным и близким гулом боя, создавало картину удивительно пеструю, необыкновенную и неповторимую.

...Генерал читал перед микрофоном свое выступление. И хотя мы сидели только вчетвером в тесной комнатушке, не видимые и не слышимые никем, голос генерала вздрагивал, ломаясь от непривычного напряжения.

В конце своей речи, передавая гвардейские приветы землякам, генерал на мгновение остановился и задумался.

- Знайте же, товарищи, что у нас тут все в порядке! - произнес он после паузы, наверно внутренне обращая эти слова к своим родным. - У нас же, товарищи, все в порядке! - повторил генерал любимую фронтовую поговорку и внезапно остановился...

Где-то, пока еще далеко, нарастал знакомый свист летящего снаряда. Фронтовое чутье подсказывало, что снаряд упадет в районе штаба корпуса.

Все это произошло в один миг. Генерал попытался своими большими ладонями прикрыть микрофон, словно это могло уменьшить звук разрыва. Горячей волной воздуха в комнату втолкнуло раму окна. Ладони генерала, конечно, не помогли, и в конце его речи на пластинке записался оглушающий грохот, звон разбитого стекла и громкие крики раненых. Пластинка была испорчена.

- Так, одну похерили, - спокойно отметил генерал, подымаясь

со стула, чтобы стряхнуть с плеч обсыпавшуюся штукатурку. Потом он сердито посмотрел через окно на дворик дома, куда еще падали поднятые взрывом камни. И мне показалось, что генералу очень хотелось сейчас прикрикнуть на невидимых гитлеровцев, которые мешают такому деликатному делу, как запись на пластинку.

Пока налаживали аппарат, генерал молча откинулся на спинку стула, устало закрыл веки. Его пальцы, лежавшие на краю стола, медленно опускались и поднимались. Может быть, в эту маленькую паузу в разгаре боя командир корпуса думал о своей старушке матери, думал о пройденном пути, о пережитом, обо всем том, о чем не расскажешь перед микрофоном никакими словами.

- Придется начать все сначала, - сказал я.

- Да, да! - словно бы очнувшись, произнес генерал и снова взялся пальцами за основание микрофона, искоса и сердито поглядывая в сторону окна. Он говорил теперь спокойно, не таким сухим командным тоном, как в первый раз, и теплее. Он улыбнулся мне одними глазами, как бы говоря: "Вот видите, все хорошо заканчивается",

...На этот раз мы не услышали даже предупреждающего свиста. Сначала показалось, что кто-то гигантски сильный тряхнул дом, как спичечную коробку, будто проверяя, есть ли там что-либо внутри, прислушался к звуку и потом тряхнул еще раз.

Микрофон вместе со столом скатился на колени генералу. В открытое окно ворвался поток ветра, пахнущего дымом, гарью и... неожиданно ароматом цветущих лип. Должно быть, где-то поблизости сохранился скверик. И там цвели деревья.

В нашей тесной комнатушке стало как будто бы шире.

- Липами пахнет! - глубоко втянув в себя воздух, произнес генерал. - И по-моему, немного сухим сеном. Тут повозочные где-то близко. А в Горьком у меня в садике липы!

И тут, словно бы забыв об обстреле, командир корпуса заговорил о родном городе, о Волге, о своем домике на крутом волжском откосе.

- А какие у нас на Волге закаты, какие закаты! Полнеба в цветении. А для красок и слов не подберешь. Выйдешь на берег и чувствуешь - у тебя точно крылья, так бы и полетел птицей над рекой! А сейчас у нас уже навигация открылась. Побежали пароходики по Волге-матушке!

И вдруг, не меняя мечтательного своего тона, сказал:

- Так ставьте же, черт побери, еще одну пластинку. Надо же закончить.

Пришел адъютант и долго мялся в дверях, молча показывая

генералу какие-то бумаги. Но тот не смотрел в его сторону.

- У нас все в порядке, - снова начал генерал с того места выступления, на котором его прервал грохот разорвавшегося снаряда, - поздравляю с первомайским праздником!

Пальцы генерала, державшие микрофон, сжались от напряжения. Он подался грудью на столик, словно хотел на этот раз уже безо всяких помех поскорее "втолкнуть" в микрофон радостные слова о победе.

Наконец, после четвертой попытки, мы довели запись до конца. Генерал вышел из штаба и сел в свой "виллис". Машина тронулась по улице, заваленной обломками камней и железа. Поднявшись на сиденье, генерал на прощание приветливо махнул рукой.

- Приготовьте мне пластинку, - крикнул он сквозь шум мотора. - На память... старушке! Я разыщу вас после конца войны!

Штурм "Цитадели"

Подготавливая город к обороне, гитлеровские генералы разбили его на девять боевых участков - секторов обороны. Девятый - последний, включавший главные правительственные учреждения и район парка Тиргартен, именовался "Цитаделью", что само по себе должно было свидетельствовать о его неприступности.

"Цитадель"! Бойцы называли этот район иначе: "логово фашистского зверя"! Взять "Цитадель" означало и добить этого зверя в его логове. В центре сектора стоял рейхстаг. Но это здание было, конечно, не просто опорным пунктом противника, а символом крушения гитлеровского государства, символом победного окончания войны.

Военное счастье начать исторический штурм рейхстага выпало на долю трех стрелковых батальонов. Два из них - батальоны капитанов Степана Неустроева и Василия Давыдова - принадлежали к 150-й Идрицкой ордена Кутузова второй степени дивизии, а 3-й батальон старшего лейтенанта Константина Самсонова к 171-й стрелковой дивизии. Обе дивизии входили в корпус генерал-майора С. Н. Переверткина, а корпус принадлежал 3-й ударной армии генерал-полковника В. И. Кузнецова, чьи части первыми ворвались на северо-восточные окраины Берлина.

Конечно, читатель понимает, что подробный рассказ об одном этом сражении и о всех его участниках потребовал бы отдельной книги{1}. Я же ограничусь здесь лишь несколькими эпизодами, которые частично наблюдал сам, эпизодами, связанными с действиями батальона Неустроева.

К полудню двадцать восьмого апреля этот батальон вышел к реке Шпрее. В это же время к командиру полка полковнику Ф. М.

Зинченко прибыло Красное знамя, одно из девяти знамен Военного совета армии, учрежденных специально для водружения над куполом рейхстага.

Заранее было трудно определить, какой полк первым выйдет к рейхстагу, поэтому все знамена были направлены в различные части армии.

Получив знамя, Зинченко уведомил об этом командиров всех своих батальонов, в том числе и двадцатитрехлетнего капитана Степана Андреевича Неустроева, родом из города Березовска, невысокого, но плотно сбитого в плечах офицера, с круглым лицом, красиво очерченным ртом и пристальным взглядом больших серых глаз.

Неустроев осмотрел местность. Он видел перед собой по меньшей мере три опорных пункта противника, мешающих ему приблизиться к рейхстагу. Это были: река Шпрее, "дом Гиммлера", площадь Кёнигсплац.

- Вот три "орешка", - сказал он своему заместителю по политической части лейтенанту Бересту. - Ох, чувствую, крепкие!

Берест, молодой, атлетически сложенный офицер, веселый и спокойный, приложил к глазам бинокль.

- Разгрызем, Андреич! Вот бы первыми пробиться к рейхстагу. Я бы считал - это как награда за всю войну! - сказал он.

- Ладно, там видно будет. Сейчас начнем по порядку. Перед нами Шпрее! закончил разговор комбат.

Закованные в гранит берега реки Шпрее, протекавшей по самому центру Берлина, простреливались многослойным и перекрестным огнем пулеметов и орудий. Неустроев видел перед собой мост через реку, носивший имя Мольтке. Подходы к нему были забаррикадированы, заминированы и опутаны колючей проволокой.

Вскоре немцы сами подорвали мост Мольтке, но неудачно: середина его провисала над водой. Этим и решил воспользоваться Неустроев.

Он знал, что наши части готовились к форсированию Шпрее еще на Одере, когда собирали трофейные лодки, подготавливали понтонные мосты и специальные переправы. Когда войска широким фронтом подошли к Шпрее, был установлен участок главной переправы - район Трептов-парка, там, ширина реки достигала двухсот метров.

Через Шпрее навели паромы для танков, по воде под огнем плавали надувные лодки, моторные катера, полуглиссеры речной флотилии. Но все это было позже. А в первые часы солдаты Неустроева перебирались через Шпрее по стальной нитке провисшего моста, могущего от взрывов сорваться в воду.

Первым перебрался на другой берег взвод младшего сержанта Петра Пятницкого, за ним взвод сержанта Петра Щербины, а затем и вся рота старшего сержанта Ильи Сьянова.

До рейхстага им оставалось не более пятисот метров. Но какие это были метры!..

...Перед ними, загораживая путь, возвышалось мрачное большое здание с земляными насыпями у нижних этажей, со стенами толщиной в два метра, с окнами и дверьми, заваленными кирпичом, с бойницами и амбразурами в оконных проемах. Это и был "дом Гиммлера".

Утром двадцать девятого апреля атака на здание министерства внутренних дел началась артиллерийским налетом. Затем штурмовые группы батальона Неустроева стали подбираться к зданию. К середине дня они захватили угловую часть дома, выходившую на Шлиффенуфер, ворвались во двор. Началась борьба за каждую комнату, длительная, упорная,

ожесточенная!

Санитары докладывали Неустроеву, что тяжелораненых в батальоне нет. Это поражало комбата. Почему в "доме Гиммлера" оказывались только убитые или легко раненные наши бойцы, продолжавшие бой? Только позже комбат узнал, что даже солдаты, раненные серьезно, если только у них оставались силы, пока могли, держали в руках оружие.

Здание министерства горело. Густой дым душил, ослеплял, мешал продвигаться! Весь день двадцать девятого апреля и в ночь на тридцатое батальоны Неустроева и Давыдова с разных сторон вели бой за одно лишь здание. И Голько к четырём часам тридцатого апреля "дом Гиммлера" был взят.

Неустроев расположился в нижнем этаже здания, в комнате с окнами, выходящими на Кёнигсплац. Эта площадь была вся изрыта траншеями вдоль и поперек. Насколько мог видеть комбат со своего КП, впереди около самого здания возвышались темные бугры - это были доты противника.

Отдельные огневые узелки, снабженные пулеметами, кроме того, еще соединялись между собой ходами сообщения. Площадь оказалась сильно укрепленной для обороны.

Неустроев вызвал на свой КП командира роты старшего сержанта Сьянова. Он уважал этого бывалого, уже немолодого командира. Все было крупно в Сьянове: лицо, руки, немного тяжеловатые скулы, большой лоб. От фигуры его веяло силой.

- Илья Яковлевич, ты хорошо видишь этот дом? - спросил Неустроев.

- Хату Гитлера? - усмехнулся Сьянов.

- Можно считать и так, хотя Гитлер сейчас сидит в другом доме.

- Значит, рейхстаг! - догадался Сьянов.

- Ставлю тебе задачу: прорваться к нему, - сказал Неустроев. - Твоя рота пойдет впереди. Чувствуешь, какая задача!

- Будет выполнено, товарищ капитан, - спокойно ответил Сьянов.

- Нет, ты не торопись, Илья Яковлевич, выслушай обстановку. Там гарнизон - тысячи полторы. Фаустников много. И сам ты видишь, какой огонь они ведут - и минометный, и артиллерийский. И рейхстаг в общем-то круглый, очень удобный для круговой обороны. Так что людьми зря не рискуй!

- Будет выполнено, - снова твердо повторил Сьянов.

Вскоре рота Сьянова начала постепенно вытягиваться из "дома Гиммлера" на Кёнигсплац. Штурмовые группы старались двигаться за огневым валом разрывами снарядов. Однако, пробежав сто метров под прикрытием артиллерийского огня

наших батарей, штурмовые группы вынуждены были залечь около рва, заполненного водой. Это была часть трассы метро, строящегося открытым способом.

В это время к Неустроеву в "дом Гиммлера" прибыла группа полковых разведчиков. Их послал полковник Зинченко. Двое молодых, физически сильных, натренированных разведчиков принесли с собой знамя Военного совета армии. Это были сержант Егоров и младший сержант Кантария.

Неустроев с удовольствием оглядел молодцеватых разведчиков.

- Знаменосцы?

- Так точно, приказано водрузить Знамя Победы, - ответил Егоров.

- Будете пробиваться к роте Сьянова, передайте мое распоряжение, чтобы они вас хорошо поддерживали огнем, когда пойдете со знаменем. Сами впереди роты не двигайтесь, а то убьют.

- Никогда, товарищ капитан, мы заговоренные, знамя несем, - сказал легкий, быстрый в движениях грузин Мелитон Кантария.

Но его товарищ Михаил Егоров все-таки попросил разрешения передать Сьянову: если разведчики не донесут знамя, пусть его подхватят бойцы роты.

- На всякий случай, - добавил Егоров.

- Ну, это само собой ясно. Добро, разведчики, - сказал в напутствие комбат, - вам великая честь! Желаю успеха!

Едва разведчики уползли на площадь, как Неустроен связался по телефону с командиром полка, прося усилить артиллерийское прикрытие. Вскоре рота Сьянова стремительным рывком преодолела ров и ворвалась на широкую лестницу, ведущую в рейхстаг. Первыми здесь оказались Пятницкий, Якимович, Прыгунов, Щербина.

Противник встретил их сильным огнем. Упал убитый Петр Пятницкий.

Тем временем рота Сьянова ворвалась в само здание, где началась борьба за каждую комнату, за каждый коридор.

Внутри рейхстага образовался "комнатный фронт". Он тянулся на верхние этажи и спускался в подвалы, куда отступила большая часть гарнизона рейхстага.

Вслед за ротой Сьянова в здание проникли бойцы из других рот, сам комбат Неустроев и замполит Берест.

Позже, вспоминая, как он пробирался через Кёнигсплац, Неустроев говорил:

"Кто-то нам рассказывал, что тридцатого апреля над Берлином стоял солнечный день. Возможно. Но нам казалось, что

бой шел в вечерних сумерках. Солнца мы не видели, такой дым подымался над площадью..."

И действительно, к разрывам снарядов на площади, к облакам гари и пыли на Кёнигсплац добавился еще и дым из рейхстага. Гитлеровцы сами подожгли его. Огонь поднялся в зале заседаний, перекинулся в коридоры. Пропитанная краской и лаком деревянная обшивка зала, мягкие кресла, ковры - все это горело быстро и жарко. Пылали десятки комнат... И все-таки бойцы прочно закрепились на первом этаже здания.

Неустроев связался по телефону с командиром полка, теперь уже из рейхстага.

- Передаю тебе приказ старшего хозяина, - сказал Зинченко, имея в виду командующего армией, - я назначен комендантом рейхстага. Доложи обстановку!

Неустроев сообщил, что гитлеровцы предпринимают контратаки из подземного помещения, что их много в подвалах. Разведчики Егоров и Кантария гранатами проложили себе путь на второй этаж, но выше разрушены лестничные марши. С третьего этажа строчат пулеметы противника.

- У меня еще нет воды, мало боеприпасов, - добавил он.

Зинченко сказал, что он сделает все возможное, чтобы помочь батальону, но пока огонь противника не дает ни одной живой душе пересечь Кёнигсплац.

- Держись своими силами, я послал к тебе людей с едой, с боеприпасами.

Но солдаты, посланные Зинченко, не могли пробраться к рейхстагу.

В 12 часов 25 минут Егоров и Кантария установили знамя на втором этаже и спустились к Неустроеву, чтобы доложить об этом. Тогда комбат организовал штурмовую группу для сопровождения знаменосцев. Ее возглавил лейтенант Берест. В эту группу полностью вошло отделение сержанта Петра Щербины.

И снова начался бой за каждую ступеньку лестницы, ведущей на верхние этажи рейхстага, за каждый метр, приближающий разведчиков к его куполу.

Тем временем пожар внутри здания все нарастал. Зловеще гудело пламя в громадном помещении. От жары и искр на солдатах тлели гимнастерки, плащ-палатки. Густой дым ослеплял, вызывал тошноту.

На верхних этажах дыма было меньше и не так жарко, но все-таки почти полдня понадобилось штурмовой группе Береста, Егорову и Кантарии, чтобы добраться со знаменем до купола рейхстага. И в 22 часа 50 минут тридцатого апреля над рейхстагом взвилось Знамя Победы.

Наступил день первого мая, но бой в рейхстаге не прекращался. Засевшие в подвалах гитлеровцы дрались о особой яростью. Они еще надеялись получить подкрепления, надеялись, что пожар вытеснит из рейхстага батальоны Неустроева, Давыдова, Самсонова, ведущие бои в различных крыльях здания.

И действительно, пожар становился невыносимым.

У Неустроева оставалось все меньше комнат, не охваченных огнем, комнат, где можно было держать раненых и находиться самим. Неустроев опять позвонил Зинченко:

- Товарищ полковник, где же вода, где боеприпасы?

- Люди не могут подобраться к тебе, дорогой! Мы все очень беспокоимся, пошлю еще солдат.

- Воду из фляжек давно выпили, мучает жажда.

- А как здание?

- В огне уже четыре этажа. Я не ослабляю осады подвала.

- Молодцы! Но слушай, Неустроев. Если держаться будет невозможно, разрешаю временно отойти.

- Только в самом крайнем случае, - ответил Неустроев. Но про себя он тут же подумал, что, пока жив, не оставит рейхстага, взятого с таким боем и жертвами.

К счастью для батальона, в эти часы солдаты случайно нашли пролом в стене, который вел в те помещения, где еще не было пожара. За стеной солдаты Неустроева обнаружили, что очутились... в тылу у противника. Здесь гитлеровцы, выбравшись из своего подземелья, жадно дышали свежим воздухом.

Появление советских воинов было так неожиданно и так ошеломило немцев, что они, даже не открыв огня, бросились в свое укрытие.

И только на исходе дня первого мая на одной из лестниц, ведущих в подземную часть здания, появился солдат с первым белым флагом. Это гарнизон, обороняющий рейхстаг, предлагал начать переговоры.

Первым в подвал спустился солдат Прыгунов, знавший немецкий язык. Прыгунов с белой повязкой парламентера пробыл в подвале минут двадцать, и за его судьбу уже начали беспокоиться. Вернулся же он с сообщением, что гитлеровцы готовы вести переговоры, но только со старшим офицером.

- Генерала им подавай или полковника! - сказал он со злостью.

- Ну пусть подождут, пока мне присвоят это звание, - пошутил Неустроев. Вместе с тем требование немцев всерьез озаботило его, потому что батальон устал и у комбата осталось мало людей.

- Привередничают! Спесь свою показывают, видишь, Берест! - сказал он, думая о том, что солдаты и командиры уже много

часов не ели, не пили, а если и дрались с необычайным самоотвержением, то только за счет нечеловеческого напряжения сил. К тому же пожар не утихал и люди задыхались в густом дыму.

- Что делать? - спросил Неустроев. Он вытащил из нагрудного кармана маленькое зеркальце, взглянул в него. Гимнастерка в нескольких местах прогорела, щеки обросли, глаза ввалились.

- Не поверят, что я и есть самый старший на данной территории, как думаешь, Берест? - спросил он и остановил свой взгляд на крупной, представительной фигуре и молодцеватой выправке своего заместителя.

- Тебе приходилось быть дипломатом?

- Мне? - Берест пожал плечами. - Может быть, после войны доведется.

- Нет, сейчас. Умывайся, брейся. Мы тебя переоденем, давай скорее, Берест, давай!

Замполит кое-как поскоблил бритвой щеки, успел пришить свежий подворотничок, который всегда носил с собой, примерил сначала пилотку, но ему дали фуражку, которую Берест лихо сдвинул набекрень. У одного из солдат случайно нашлись кожаные перчатки,

- Ну как? - спросил Берест.

- Хорош! - кивнул Неустроев.

- Не слишком ли... с перчатками. Май все-таки!

- Сойдет! Веди делегацию. Ты - глава, я твой адъютант и с нами переводчик Прыгунов, - сказал Неустроев и насколько мог привел себя в порядок.

- Неофициальным представителем предлагаю захватить еще лейтенанта Герасимова... с пулеметом, - добавил Берест.

Группа парламентеров спустилась в подвал. Там Береста встретил немецкий подполковник, не назвавший своей фамилии.

- Мы поднимемся из подвалов только с одним условием, - заявил он.

- С каким же? - спокойно поинтересовался Берест.

- Отведите ваши подразделения из рейхстага. Мы не пойдем через ваши боевые порядки.

- Вот как! - сказал Берест. - Мы окружили рейхстаг и теперь должны уйти?

- Хотят выиграть время, - шепнул Бересту Неустроев.

- Предложение отвергается, - заявил Берест. - Теперь слушайте наши условия. Сдача в плен без всяких условий! Ваше сопротивление бессмысленно. Всему гарнизону, в случае сдачи, гарантируется жизнь.

- Вы ворвались в рейхстаг и отсюда живыми не выйдете.

Никто! В том числе и вы - парламентеры! Наши батареи простреливают перед рейхстагом каждый метр. У нас сила! - нагло заявил подполковник.

- Еще раз повторяю: капитулируйте. На размышление дается двадцать минут. Не будет ответа - откроем огонь! - закончил Берест.

Наши парламентеры покинули подвал. Это было в два часа ночи второго мая.

Прошло еще два часа, гитлеровцы не сдавались. И Неустроев начал подготовку к последнему штурму.

В это время огонь противника на Кёнигсплац стал тише, наши главные силы проникли в центр Берлина, в сектор "Цитадель". И тут же в здание рейхстага ворвалось с шумом сразу несколько подразделений.

Появились наконец и посланные сутки назад солдаты с термосами, наполненными горячим супом и кофе! Прибыли боеприпасы.

И тогда в пятом часу ночи батальон Неустроева вместе с батальонами Самсонова и Давыдова предпринял последний штурм подземелий рейхстага. Солдаты забросали проходы в подвал гранатами, небольшие группы наших автоматчиков стали проникать в подвалы.

Вот тогда-то наконец навстречу им начали выходить солдаты и офицеры с белыми флагами. Неустроев приказал прекратить огонь. Вылез офицер, вручивший комбату приказ коменданта рейхстага о сдаче в плен.

Уже было светло на площади. Майское солнце весело искрилось на изрешеченных осколками, рваных железных листах купола здания, когда по разбитым лестницам рейхстага начали спускаться первые понурые пленные. Они шли медленно, вяло передвигая ноги, словно боясь оступиться на разбитых лестницах и упасть.

Тем временем Неустроев и Берест слегка подкрепились супом и горячим кофе. Это взбодрило их. Но все-таки оба офицера чувствовали такую ломящую тело усталость, такую боль в ногах, готовых подкоситься, что, выйдя из рейхстага, чтобы подышать свежим воздухом, они прислонились спинами к холодному граниту колонн.

Здесь Неустроев и Берест молча смотрели на толпу пленных и искали глазами высокую фигуру того самого наглого подполковника, который обещал им смерть в рейхстаге.

Но прошло уже много пленных, а подполковника все не было. Может быть, его ранило или убило гранатой или же в последнюю минуту этого взбесившегося эсэсовца застрелили свои же

солдаты, решившие во что бы то ни стало живыми выбраться из подземелий рейхстага на Кёнигсплац.

Конец "третьего рейха"

В этой главе будет рассказано о смерти фашистской империи, о событиях, касавшихся гитлеровских главарей, о том, что стало нам известно по свидетельствам пленных генералов, эсэсовцев, по розыскам и публикациям уже в более позднее время{2}.

Утром шестнадцатого апреля, одновременно с наступлением наших войск на Одере, был обрушен на Берлин мощный удар с воздуха. Бомбы рвались в центре города, во дворе имперской канцелярии. Трясся бетонный потолок в глубоких подземных бункерах, где началась агония гитлеровских сановников и генералов, их предсмертные метания.

В этот же день утром Гитлер созвал в своем подземном кабинете совещание генералов и адмиралов. Дрожащая его рука металась по карте, он судорожно перемещал флажки с обозначением номеров армий, разбитых, обескровленных или же вообще уже существующих только в его воображении. Этот маньяк все еще верил или же пытался другим внушить веру в благоприятный исход войны. Он твердил не уставая, что силы русских иссякли.

Раболепный Кейтель, поддерживая фюрера и больше всего, пожалуй, свои собственные пустые надежды, сказал на этом совещании:

"Господа, есть старое военное правило: если наступление не завершается успехом на третий день - оно будет неудачным".

Гитлер с благодарностью взглянул на своего фельдмаршала.

Однако остальные генералы промолчали, и молчание это было многозначительно. А Дениц сдержанно и хмуро заметил, что правило Кейтеля ему не кажется таким обнадеживающим.

Вечером того же дня Дениц сделал свои выводы из этого совещания у Гитлера. Как только стемнело, большая колонна грузовиков с имуществом штаба Деница, нагруженная вещами самого гроссадмирала, тронулась из Берлина в город Плэн.

Дениц показал путь, он был первым, кто решил держаться подальше от Гитлера, Берлина и фронта, заботясь главным образом о спасении своей шкуры. Двадцать первого апреля Гитлер предпринял отчаянные попытки деблокировать Берлин извне. Ангелом-спасителем для гитлеровской клики, запертой в Берлине как в каменном мешке, вдруг предстал эсэсовский генерал Штейнер, под командованием которого находилась небольшая группа войск - две дивизии танкового корпуса. Штейнер получил приказ - перейти в наступление.

В тот же день Гитлер бросил в бой всех, кто служил в военно-

воздушных войсках Германии.

"Всех, кто может ходить по земле, немедленно передать Штейнеру. Каждый командир, который не выполнит этого приказа, будет казнен в течение пяти часов".

Однако эти истерические вопли гитлеровского приказа не помогли Штейнеру.

На следующий день на совещании с Кейтелем, Йодлем, Кребсом и Борманом Гитлер спросил, где же находится Штейнер, начал ли он свое наступление? Узнав, что Штейнер под давлением советских войск не только не смог продвинуться к Берлину, но и едва удерживает свои оборонительные позиции, Гитлер пришел в исступление. Он вопил, что немецкий народ не понимает его целей, что он слишком ничтожен, чтобы осознать и осуществить его намерения.

На этом же совещании Гитлер предложил открыть фронт англичанам и американцам, сняв с западных позиций все войска, повернув их все на восток. Кейтелю, а вслед за ним и Гитлеру начало мерещиться, что эта мера позволит им "столкнуть" западные войска с русскими. Это единственное, что составляло сейчас надежду Гитлера на "спасение". Гитлер, настроения которого внезапно менялись от состояния прострации до бурного ликования, вновь возвышая голос, приказал снять все войска с западного фронта и повернуть их на выручку Берлина - против русских.

Генерал Штейнер провалился, но на этом заседании возникло имя нового "спасителя" Берлина. Это Венк, который еще располагал, по мнению Гитлера, боеспособной армией. И хотя теперь Гитлер приказал Венку пробиться к Берлину, он уже сам не верил в то, что ему удастся изменить положение в столице Германии. В этот день Гитлер впервые признал, что он проиграл войну, что все потеряно и ему, Гитлеру, остается только покончить с собой. Кейтель и Геббельс на этом совещании и на совещании двадцать третьего апреля, когда Кейтель, побывав в штабе Венка, вновь возвратился в имперскую канцелярию, пытались ободрить своего фюрера.

Однако Гитлер делал вид, что не слышит Кейтеля и Геббельса, вновь повторяя, что он умрет в Берлине... И вся его напыщенная поза, и декламирующий голос, и театральный жест как бы призывали всех окружающих оценить решение фюрера и последовать за ним.

Первым нарушил наступившее тягостное молчание Йодль. Начальник штаба оперативного руководства вооруженными силами Йодль был ставленником и приближенным советником Гитлера. Этот искусный льстец считался любимцем фюрера. Его

генеральская карьера началась с предательства: по его доносу еще в 1938 году попали в негласную опалу нацистов генералы Рундштедт и Браухич.

Обычно надменный, с чопорной осанкой, с натянутым выражением лица, Йодль сейчас выглядел стариком, уставшим и раздраженным. Однако то, что он произнес голосом сухим и твердым, заставило вздрогнуть Гитлера.

- Мой фюрер, - сказал Йодль, - я считаю, что мое дело руководить войсками, а не погибнуть среди развалин!

Но Кейтель и тут же вслед за ним Геббельс напыщенно заверили своего фюрера, что они останутся верны ему до последней минуты.

Однако, выйдя из имперской канцелярии, Кейтель вслед за Йодлем поспешил на аэродром Гатов. Его машина едва смогла прорваться по берлинским улицам, сюда уже долетали тяжелые советские снаряды.

Самолет еле-еле поднялся над высокими домами, окружавшими аэродром в городе, и, благополучно пролетев над линией фронта, сделал посадку в Берхтесгадене. Там Кейтель присоединился к Герингу, Гиммлеру и другим фашистским главарям, решившим, пока суд да дело, вырвать власть из рук Гитлера.

Двадцать шестого апреля в имперскую канцелярию прибыла переданная по радио телеграмма Геринга из Берхтесгадена. Она была адресована Гитлеру. Герман Геринг писал, что фюрер должен передать ему власть.

Телеграмму вручил фюреру Борман, видимо не сомневавшийся в том, какую она вызовет реакцию у Гитлера. В телеграмме говорилось: "Мой фюрер, вы согласны с тем, что после вашего решения остаться в Берлине и защищать его я возьму на себя на основе закона от 29 июля 1941 года все ведение дел империи, внутри и вне. Если до двадцати двух часов я не получу ответа, я буду считать, что вы лишены свободы действий, и буду действовать по своему усмотрению".

Телеграмма Геринга взбесила Гитлера. Он приказал немедленно арестовать Геринга, хотя еще несколько дней назад именно его назначал своим заместителем.

Двадцать седьмого апреля, явившись на очередной доклад к Гитлеру, генерал Вейдлинг был поражен царящей в имперской канцелярии суматохой и растерянностью. Эсэсовцы шептались между собой с самым удрученным видом. Гитлер не принял рапорт от командующего гарнизоном Берлина.

Вскоре Вейдлинг узнал о причине суматохи. Оказалось, что приближенный Гитлера и его родственник, женатый на сестре

Евы Браун, эсэсовский генерал Фегелейн изменил своему фюреру и покровителю.

Переодевшись в штатский костюм, бросив в своем бункере черную форму СС, Фегелейн бежал.

Однако Гитлер послал своих гестаповцев, и Фегелейн был обнаружен и схвачен в одном из кварталов Берлина. Гитлер приказал расстрелять родственника тут же, во дворе имперской канцелярии.

Фегелейн был расстрелян. В эти дни каждый приказ Гитлера неизменно украшался привычным словом "расстрел!".

Но не помогали и расстрелы. Эсэсовским головорезам все-таки своя рубашка была ближе к телу, и, пользуясь каждым удобным случаем, гестаповцы всех чинов и званий, телохранители Гитлера и его секретари, личные повара и врачи - вся эта разномастная челядь бежала из подземелий имперской канцелярии, как крысы с тонущего корабля.

Двадцать седьмого апреля Гитлер совершил еще одно жестокое и поражающее своим изуверством преступление, которое изумило даже приближенных фюрера.

Гитлеру доложили, что к подземной станции метро, находящейся позади имперской канцелярии, приближаются разведчики наших передовых наступающих частей.

Гитлеру было прекрасно известно, что на станции и в прилегающих к ней туннелях разместился немецкий военный госпиталь. Там лежали тысячи раненых. Но Гитлер знал и другое: рядом со станцией метро протекают воды Шпрее.

Осталось неизвестным, подсказал ли кто-либо Гитлеру эту мысль или чудовищное решение само родилось в его воспаленном мозгу. Не остановило Гитлера и то, что в метро лежали офицеры и солдаты немецкой армии, родственники которых находились среди окружавших его эсэсовцев.

- Затопите метро, - приказал Гитлер, - откройте шлюзы, вода проникнет далеко под землей и не позволит русским завладеть им.

Дежурному эсэсовскому офицеру показалось, что он ослышался.

- Там наши люди, мой фюрер! - пытался робко возразить он.

- Не имеет значения. Мы должны бороться. Остальное не имеет значения,. - глухо пробормотал Гитлер.

Подняли шлюзы, и мутные воды Шпрее хлынули в туннели.

Затопление берлинского метро не остановило нашего наступления и вряд ли хотя бы на сутки отсрочило взятие имперской канцелярии.

Захлебывались в подступавшей к горлу воде люди,

прикованные к носилкам. Последние свои проклятия посылали они Гитлеру, лежа на бетонном полу метро. Ничто не могло объяснить им эту нечеловеческую меру жестокости.

Так одним взмахом руки Гитлер присоединил к многомиллионному числу своих жертв еще и раненых в берлинском метро, утопив там несколько тысяч человек. Таков был Гитлер!

Через день, двадцать девятого апреля, Гитлер женился. Многие годы он имел внебрачную связь с Евой Браун, служившей лаборанткой в фотоателье в Мюнхене. Обряд венчания Гитлера происходил в подземелье имперской канцелярии. Видимо, он был краток, ибо молодым надо было торопиться. Русские могли ворваться в имперскую канцелярию в любой час, заранее определить который было невозможно.

Мрачной выглядела эта церемония, мрачными были лица гостей: Бормана, Геббельса и его жены Магды. Новобрачные, сидевшие молча, с опущенными головами, уже приготовили для себя ампулы с ядом.

Едва кончилось венчание Гитлера, как к нему явился с докладом Вейдлинг. Двадцать девятое апреля было воскресным днем, и этот воскресный рапорт Вейдлинга был его последним докладом Гитлеру о положении в Берлине.

Внешний вид Гитлера поразил Вейдлинга. Перед ним была сутулая фигура, с бледным одутловатым лицом, сильно сгорбившаяся в кресле. Когда Гитлер поднялся, Вейдлинг заметил, что у него дрожат руки, а левая то и дело судорожно подергивается, что Гитлер всячески старался скрыть. К тому же при ходьбе он еще волочил одну ногу.

Голос у Гитлера пропал, он говорил полушепотом. Рядом с ним сидели: старший адъютант генерал Будгдорф, Мартин Борман, новый начальник генштаба Кребс и Геббельс.

Вейдлинг кратко обрисовал тяжелое положение берлинского гарнизона. Нет боеприпасов, нет продовольствия, исчезла всякая надежда на доставку их по воздуху. Вейдлинг поставил вопрос: что делать?

Гитлер долго молчал, наконец заговорил о том, что он еще рассчитывает на доставку боеприпасов из армии Венка.

Вейдлинг тогда заметил, что воздушная гавань Берлина, аэродром Темпельгоф и аэродром Гатов захвачены русскими и что взлетную площадку, сооружаемую неподалеку от имперской канцелярии, сожгла русская артиллерия.

Вейдлинг хотел сказать Гитлеру: "Это все, конец!", но вместо этого произнес:

- Берлин мы больше не можем защищать. Но, может быть,

найдется возможность спасти вас, мой фюрер.

Гитлер не прореагировал на это предложение.

Это был уже не человек - развалина! Всякое подобие мужества покинуло его. Он уже не был в состоянии принимать какие-либо решения вообще.

И Вейдлинг видел это.

Он знал, генерал Гельмут Вейдлинг, что Гитлер все годы войны и особенно в последнее время вел образ жизни по меньшей мере странный. Он был крайне замкнут, ограничивая круг своих приближенных небольшой группой лиц, имевших право видеть Гитлера, докладывать ему и иногда присутствовать во время обеда фюрера.

Но никто из этих приближенных не мог бы похвастаться тем, что находится с Гитлером в личных доверительных отношениях, даже следивший за ним доктор Мо-рель. Гитлер никому и никогда не доверял.

Чаще всего свои трапезы он совершал в угрюмом одиночестве, с жадностью ел овощи, запивая их холодной водой или же пивом.

Его нелюдимость, по мнению Вейдлинга, была порождена почти мистическим отношением к себе как к избраннику нации и верховному руководителю войны. Но вместе е тем этот "избранник" был в плену у всегдашнего и неусыпного страха и ненасытной ненависти, которые он, казалось, питал ко всем, включая людей из своего ближайшего окружения.

Генералам было известно, что Гитлера так и не удалось вытащить на восточный фронт. Должно быть, он боялся, что в такой поездке, перед лицом военных поражений, он может разбить внушенное нацистами массам представление о его, Гитлера, якобы чудодейственной воле.

Бывший ефрейтор первой мировой войны, он считал, что может руководить войной, сидя за своим письменным столом и водя карандашом по своему огромному глобусу, лучше, чем его генералы на фронте.

Этот страдавший бессонницей невропат, превращавший ночь в день и день в ночь, около полуночи рассылал из своей ставки один приказ за другим.

После последнего вечернего доклада Гитлер часами сидел с адъютантами и секретарями и, захлебываясь, до самого рассвета вещал им о своих планах.

Затем он ложился и короткое время дремал. Около девяти часов Гитлера будил дворецкий. Фюрер из спальни отправлялся принимать очень горячую ванну, которая должна была вновь поднять и возбудить его дух.

Пока гитлеровские войска имели на фронтах временные успехи, это странное существо жило без особых изменений. Не изменял Гитлер и единственному своему стратегическому принципу, который он соблюдал с упорством фанатика: "держаться ценой любых человеческих жертв".

Но вот удары стали следовать один за другим. И нервы Гитлера начали сдавать. Все чаще он прибегал к впрыскиванию наркотиков, чтобы заснуть хотя бы на несколько часов и утром выглядеть бодрым и энергичным.

Личный врач Морель не отказывал Гитлеру в наркотиках и не скупился на уколы. Однако Гитлер все чаще переходил норму, установленную Морелем, наркотики все более разрушали его тело.

Гитлер день ото дня становился все более согбенным, глаза блуждали и были тусклыми, на щеках разлились красные пятна. Когда он хотел сесть, то опирался на стул, а сидя, закладывал ногу на ногу, чтобы меньше была заметна дрожь.

Здороваясь с Вейдлингом, он подавал ему слабую, дрожащую руку. Гитлера покидало и чувство равновесия. Проходя по ковровой дорожке короткий путь в двадцать - тридцать метров, он должен был присаживаться на скамейки, стоящие вдоль стен его кабинета, или же держаться за своего собеседника.

Зрение его ухудшалось. Хотя для Гитлера писали буквами в три раза большими обычных, на особой пишущей машинке, он мог читать только через большие очки. Когда Гитлер говорил, в углах его рта постоянно накапливалась пена - признак неукротимой ярости.

Таков был внешний портрет Гитлера в апреле 1945 года. Единственно, что сохранил он, - острую память, которой отличался всегда, особенно на числа, даты и фамилии, да еще и свою неуравновешенность и возбудимость, все возрастающие в эти последние дни его существования.

Припадков фюрера страшились приходившие на доклад генералы, и Гельмут Вейдлинг в их числе. Они пятились к дверям, когда Гитлер терял выдержку. Ярость его в эти минуты не знала предела.

В беседе с нами в районе Иоганнисталь Вейдлинг говорил, что двадцать девятого апреля Гитлер, несмотря на все свое душевное актерство и то вспыхивающее, то угасающее возбуждение, произвел на него впечатление человека конченого, сломанного судьбой. Он был раздавлен не только морально, но и физически.

Тот, в ком трусость сочеталась с невероятной жестокостью, мистик и невропат, Гитлер в этот час представлял собой жалкое и

отталкивающее зрелище. Вейдлиинг считал, что Гитлер уже не имел сил уйти в подполье, так же как не находил в себе мужества держать ответ за свои преступления, предстать перед судом народов.

Уже на этом последнем своем совещании с Гитлером генерал Вейдлинг не сомневался, что сознание безысходности, усиленное животным страхом, может подсказать Гитлеру только один выход - самоубийство.

И все-таки, повинуясь чувству, которое позже Вейдлинг не мог ни объяснить, ни ясно определить, он, исправный генерал, служивший Гитлеру, сейчас, на совещании, опять предложил поискать какие-нибудь пути для спасения фюрера.

Вейдлинг вспомнил в эту минуту то, что он наблюдал, проходя по коридорам имперской канцелярии. Во всех бункерах сидели пьяные эсэсовцы. Генералы, стенографистки, телохранители, автоматчики старались утопить в вине свой страх, свое отчаяние. Имперская канцелярия пропиталась кислым винным запахом. В некоторых комнатах вино было разлито по полу - коньяки и ликеры, шампанское и вермут. И Вейдлинг замочил свои ботинки, шагая по этим лужам. Гитлеровская клика разлагалась заживо.

- Мой фюрер! - снова начал было Вейдлинг, надеясь, что Гитлер скажет ему еще что-либо относительно сражения в городе.

Но Гитлер умолк. Это была последняя встреча Вейдлинга с Гитлером, больше он его не видел. В этот день Вейдлинг ушел из имперской канцелярии, торопясь покинуть кабинет фюрера с одной лишь мыслью и надеждой - как-нибудь самому уцелеть в этом кровавом переполохе, в этом хаосе разложения и смерти нацистского государства.

На следующий день, тридцатого апреля, снаряды наших тяжелых орудий стали рваться во дворе имперской канцелярии, несколько тяжелых снарядов пробили стены. К огню нашей артиллерии присоединились бомбы с самолетов союзной авиации. Центр города был весь опоясан столбами пламени. Дрожала земля, казалось, вздрагивали бетонные стены бункеров и укрытий.

Этот мощный голос войны слышался теперь и в подвалах имперской канцелярии. Грозный голос возмездия! Уже не было в Берлине такой глубокой норы, куда можно было забраться, чтобы не слышать разрывов снарядов.

В тот же день, тотчас после полудня, генерал Вейдлинг собрал у себя в штабе командующих секторами обороны Берлина, их оставалось уже немного, и все они примыкали к центральным районам Берлина.

Вейдлинг поставил на обсуждение вопрос о возможности прорыва оставшихся в его распоряжении войск из Берлина. Командующие секторами склонялись к тому, что такую попытку надо провести. Пока Вейдлинг добирался из своего штаба снова в новую имперскую канцелярию, наши разведчики неподалеку от этого здания поймали немецкого офицера, пытавшегося перейти линию фронта. В портфеле офицера были обнаружены важные секретные бумаги, в том числе и личное и политическое завещания Гитлера. Бумаги были немедленно доставлены в штаб армии генерала Чуйкова. Первое завещание гласило: "Мое личное завещание,

Хотя в годы борьбы я считал, что не могу взять на себя такую ответственность, как женитьба, теперь перед смертью я решил сделать своей женой женщину, которая после многих лет истинной дружбы приехала по собственному желанию в этот почти окруженный город, чтобы разделить мою судьбу. Она пойдет со мной и на смерть по собственному желанию, как моя жена, и это вознаградит нас за все то, что мы потеряли в результате моего служения германскому народу.

Все мое имущество принадлежит партии или, если она больше не существует, государству. Если государство тоже разгромлено, то нет никакой необходимости давать дальнейшие распоряжения. Картины, приобретенные мной за эти годы, я собирал не для себя лично, а для того, чтобы создать картинную галерею в моем городе. Линце на Дунае, и я бы очень хотел, чтобы мое желание было выполнено.

Моим душеприказчиком я назначаю своего самого преданного товарища по партии Мартина Бормана. Он имеет право принимать любые решения. Он может передать моим родственникам все, что дорого им как память, и все, что необходимо для того, чтобы обеспечить им существование, особенно матери моей жены и моим верным работникам - мужчинам ч" женщинам, которые ему хорошо известны. Большинство из них мои верные секретари - фрау Винтер и другие, которые многие годы помогали мне своей работой. Моя жена и я избрали смерть, чтобы избежать позора падения и капитуляции.

По нашему желанию наши тела должны быть немедленно сожжены в том месте, где я осуществлял большую часть моей ежедневной работы за двенадцать лет службы своему народу.

Берлин, 29 апреля 1945 г, 4.00

Адольф Гитлер

Свидетели: Мартин Борман

Д-р Геббельс

Николас фон Билоу".

...Вейдлинг очутился в новой имперской канцелярии в семь часов вечера. Его снова провели в кабинет Гитлера. Но самого Гитлера в нем уже не было. Здесь Вейдлинг застал троих: Геббельса, Бормана и Кребса. Они-то и сообщили ему о существовании двух завещаний, причем отрывки из политического завещания Геббельс зачитал Вейдлингу вслух. В завещании говорилось: "Мое политическое завещание. 2-я часть.

Перед своей смертью я исключаю из партии бывшего рейхсмаршала Геринга и лишаю его всех прав, которые были ему даны указом от 29 июля 1941 года и в моей речи в рейхстаге 1 сентября 1939 года. На его место я назначаю адмирала Деница президентом рейха и главнокомандующим вооруженными силами.

Перед своей смертью я исключаю из партии и лишаю прав бывшего рейхсфюрера СС и министра внутренних дел Генриха Гиммлера. На его место я назначаю гаулейтера Карла Ханке рейхсфюрером СС и начальником германской полиции и гаулейтера Пауля Гизлера министром внутренних дел.

Помимо того, что Геринг и Гиммлер были неверны мне, они покрыли несмываемым позором нашу страну и нацию тем, что секретно и против моего желания вели переговоры с противником и пытались захватить власть в государстве.

Чтобы Германия имела правительство, состоящее из честных людей, которые будут продолжать войну всеми средствами, я, как лидер нации, назначаю членами кабинета следующих лиц..."

Тут Геббельс оборвал чтение и заявил Вейдлингу, что Гитлер перед смертью назначил в своем завещании президентом гроссадмирала Деница, министром партии - Бормана, имперским канцлером его - Геббельса.

Потом Геббельс добавил, что Гитлер и его жена Ева Браун приняли яд и после этого для верности еще и застрелились. Это произошло тридцатого апреля в три часа дня.

Итак, Вейдлинг стоял перед новым канцлером - маленьким, хромающим на одну ногу, худощавым Геббельсом - и смотрел в его серое, нервно подергивающееся лицо с выдающимися надбровными дугами и мечущимся взглядом маленьких темных глаз.

Преемник Гитлера просуществовал в новой имперской канцелярии недолго половину дня тридцатого апреля и весь день первого мая. Он ничего не сделал, да и ничего уже не мог сделать, кроме одного - продолжать хоть половину дня бессмысленную войну в Берлине, продолжать обманывать немецкий народ.

Первого мая в своем воззвании он уверял беженцев, что с западного фронта сняты все войска для защиты города, в то время как в действительности на западном фронте солдаты полками и дивизиями сдавались в плен союзникам.

Первого же мая Геббельс предпринял попытки связаться с советским командованием и начать переговоры о прекращении огня и перемирии в Берлине.

Перед рассветом

День первого мая мы провели в районе штаба армии генерала Чуйкова. Был какой-то высокий и волнующий смысл в случайном совпадении дня праздника с ощущением неминуемого победного конца боев в Берлине.

В подвалах домов еще отстреливались отчаявшиеся эсэсовцы, а на изрытых снарядами мостовых можно было увидеть машины с красными полотнищами вдоль бортов, флагами и цветами. Выкрашенные в черный цвет бронетранспортеры везли на передовую сирень, а там всюду, где только можно было укрыться от минометного обстрела, проводились короткие митинги. После митингов вновь начинались атаки.

Каждый час боя мог оказаться последним. И все понимали, как нелегко идти в атаку в солнечный, майский, праздничный день и какое высокое мужество в подвиге солдата, идущего навстречу смерти в последние минуты войны.

Во второй половине дня батареи, стоящие в районе Силезского вокзала, начали бить по новой имперской канцелярии, Унтер-ден-Линден, району правительственных учреждений. Ночью стали понемногу затихать орудийные раскаты. И наступил рассвет. Начинался день второго мая 1945 года.

Мы лежим в узкой, похожей на детский пенал комнате, на четвертом этаже большого дома. В комнате плавает тяжелый красноватый свет от пожара, полыхающего в соседнем квартале. Из открытого окна видно, как на фоне светящегося неба желтеют и становятся прозрачными длинные языки пламени. Мы лежим и слушаем глухое дыхание города, медленным прибоем вкатывающееся в комнату.

Сквозь треск пожаров и редкие залпы орудий неожиданно доносится звук необычный и, казалось, уже забытый. Это гудит надтреснутым голосом паровоз на окружной дороге, куда, наверно, пришли уже наши дорожные войска. Паровоз гудит долго и призывно, словно торопит солдат, зовет домой. Его гудки слышат и в соседней комнате, отделенной лишь тонкой деревянной перегородкой, где лежат шофер командира дивизии, пожилой минчанин, и двое солдат, сменных часовых.

- Живым голосом гудит, - со вздохом говорит шофер. В ответ ему раздаются только два коротких и сильных вздоха и жестко скрипят, пружины матрацев.

- Я, когда был в гражданке, десять лет с перерывами провел на северных зимовках, - вступает в разговор кто-то из часовых. - Слышал о таких? спрашивает он и, не дожидаясь ответа, продолжает: - Эх, Арктика! Кто бывал там - не забудет. - Говорит он не торопясь, выбирает слова, и чувствуется, что сами они нужны ему только как толчки к воспоминаниям, которые сейчас проносятся вихрем в его душе.

- Тяжело, что ль?

- Не в этом суть, а вот поживешь так года три на далекой зимовке, где только снег белый да белые медведи, а потом в отпуск на Большую землю. Едешь на собаках, неделю, вторую, и вдруг слышишь - далеко, еще не видно за горизонтом ничего, незнакомый, протяжный звук. Что это, думаешь? И вдруг догадываешься - паровоз гудит! Большая земля... А потом садишься в поезд и первые незнакомые голоса как музыку слушаешь. И всегда мне казалось, будто новую я жизнь начинаю.

- Эх, - прерывает его не то стоном, не то восклицанием другой часовой. Голос у него мягкий, о восточным акцентом, и говорит он скороговоркой. - Эх, фисташкой пахнет, куда ни пойду, везде. И сердце, как фисташка, от тоски лопается.

- Какие фисташки? - удивленно спрашивает шофер.

- Женка из аула прислала мешочек жареных. В кармане ношу. Запах за мной ходит, как собака за мясом. Что делать? О доме думаю, о жене думаю, о Туркмении думаю, голова тяжелый! - Слышно, как он вскакивает с дивана, быстро ходит по комнате и что-то долго бормочет про себя.

Не говорит о доме только шофер комдива. Жена его увезена немцами из Минска при отступлении. Вот уже год, как он разыскивает ее во всех немецких городах. Он ищет ее на дорогах Германии, в толпах беженцев и полонянок, пристально всматриваясь в лицо каждой молодой женщины с красной повязкой на рукаве. Он разыскивает ее теперь в Берлине.

- Завтра, наверно, война кончится, - говорит полярник и тут же замолкает, точно хочет прислушаться к тому, как прозвучали эти простые, желанные, как счастье, слова.

Все замолкают.

- Скоро вернемся на Большую землю, - снова говорит полярник.

- Хорошо, - одним слогом выдыхает туркмен.

А паровозик все гудит и гудит. Звук то удаляется, то вновь становится яснее, и потому кажется, что паровоз делает пробежки

по восстановленным путям, все ближе и ближе к центру Берлина.

- Теперь бы только жить и жить! - неожиданно говорит шофер, и голос его, обычно сухой, раздраженный, трудно сейчас узнать. - Только бы жену найти, разыскать женушку. - Последние слова он произносит почти шепотом, но та глубокая тоска и зовущая нежность, которая слышится в них, заставляет всех на мгновение замолчать..

- Найдешь! - после паузы уверенно говорит поляр

- Раз так любишь, не можешь не найти.

- Хорошо, - снова разом выдыхает туркмен и начинает что-то нашептывать губами. Шепот переходит в тихое бормотание, потом слышится протяжная мелодия.

Она растет, становится увереннее. Это песня без слов, бескрайняя, как пустыня Каракумы, звонкая, как колокольчик на шее мерно и тяжело шагающего по пескам верблюда. В ней и грусть, и радость, и мысли о доме, и гнев к врагу, и еще много такого, чему не подыщешь слов и что вызывает сейчас у нас томительно-сладкое стеснение в груди.

Солдаты, затаив дыхание, слушают песню туркмена. Под ее вольную, широкую мелодию легко думается обо всем сразу.

За окном становится все светлее. Белый флаг на соседнем доме кажется синим, точно заново выстиранным. С неба медленно съезжает серое солдатское одеяло.

Мы выходим на улицу. Темные силуэты машин расплываются в предрассветном тумане. Огромные массивы домов, точно горы, сдвинутые землетрясением, загораживают небо, оставляя лишь узкую светло-серую полоску. Наша машина выезжает на середину переулка, но неожиданно шофер резко тормозит, бросает руль и до пояса высовывается из кабины... К крайнему в переулке дому, где находится штаб армии, медленно подъезжает бронетранспортер. Резко бросается в глаза штандарт с туго свернутым полотнищем. Его держит рослый немецкий солдат в светло-зеленой шинели и в блестящей каске с высоким шишаком на гребне. Рядом с ним на черной броне машины плечом к плечу сидят несколько немецких генералов.

Первыми на асфальт спрыгивают двое советских офицеров. Они показывают немцам дорогу в штаб. Наклоняя вперед древко знамени, к открытой двери штаба идет немецкий солдат. За ним, втянув шеи в стоячие воротники шинелей и не глядя по сторонам, спешат генералы.

Все это происходит в одну минуту. Туман еще не рассеялся, и трудно различить лица немцев.

- Генералы! - ахает Корпуснов и почему-то хватается за сердце.

- Немецкая делегация. Сдают город.

Мы бросаемся с вопросом к первому показавшемуся в дверях штаба офицеру. Он кивком головы подтверждает. Да, это капитуляция!

Бежим к машине. Мотор заглох, руками выталкиваем "виллис" за полосатый шлагбаум. От волнения руки у шофера дрожат, и он точно вслепую ощупывает приборы на щитке машины.

Скорей, скорей в Штраусберг, к узлу связи. Мы должны вернуться сюда к полудню, чтобы через проходы в последних баррикадах проехать в центр города.

Машина мчится по безлюдным улицам Берлина. Стало уже совсем светло, туман поднимается наверх, и там в молочном воздухе плавают красноватые отблески пожаров. Корпуснов все прибавляет газ. На перекрестках улиц мелькают наши солдаты и видны кое-где выползающие на улицы немцы.

Машина за городом. Здесь уже больше людей. Мы обгоняем группы беженцев.

Совсем близко, едва не задевая колесами лошадь, наша машина подъезжает к высокой украинской телеге, покрытой сверху большим полосатым шатром. На шум из телеги высовываются две девушки с красными повязками на рукавах кофточек.

Девушки успевают разглядеть нашу форму и погоны. Они хватают небольшой красный флажок, прикрепленный к шатру телеги, и машут им в воздухе. И мы не отрывая глаз смотрим из машины на качающийся огонек, пока он не превращается в маленькую красную каплю на синем холсте неба и не сливается совсем с огромным шатром утреннего красного солнца, поднимающегося к зениту.

Падение Берлина

Возвращаюсь к рассказу о том, что произошло за день первого мая и в ночь с первого на второе мая в новой имперской канцелярии и на командном пункте генерала Чуйкова.

В этот день начальник генерального штаба немецких вооруженных сил генерал Ганс Кребс в сопровождении нескольких офицеров явился как парламентер для переговоров к командующему 8-й гвардейской армией Василию Ивановичу Чуйкову.

Произошло это в квартале Шулленбургринг, населенном состоятельными берлинцами, в богатом квартале, составленном из массивных пятиэтажных домов.

Геббельса, расположенном на одном из самых нижних этажей убежища, проходило совещание, на котором присутствовали

Борман, Кребс и Вейдлинг. Здесь шел спор о том, принять ли безоговорочную капитуляцию.

- Фюрер приказал нам сражаться до конца, - настаивал Геббельс. Борман был согласен с ним. Кребс предпочитал молчать. Возражал Геббельсу лишь Вейдлинг.

Он напомнил, что Берлин остался без воды, без света, без радиостанций. Русские сосредоточили для последнего удара в районе Унтер-ден-Линден свыше пятисот орудий.

- Фюрер не разрешил нам капитуляцию, - упорно повторял Геббельс, не ответив на замечание Вейдлинга.

Тогда командующий берлинским гарнизоном заявил, что, по его мнению, Берлин удерживать больше нельзя. Однако Геббельс снова повторил свой приказ о сопротивлении.

После этого совещания Кребс направился к аппарату Зарубенко, и старший лейтенант передал на КП 8-й гвардейской армии, что Кребс просит вновь принять его.

Во второй свой приезд к Чуйкову Кребс изложил просьбу нового правительства Германии: немцы сложат оружие, если русские оставят в распоряжении Геббельса ту часть Берлина, которая в настоящую минуту находится под контролем немецких войск.

И на этот раз Кребс услышал в ответ:

- Никаких условий. Капитуляция!

- Но поймите, господин генерал, - сказал Кребс Чуйкову, - мы никак не можем остаться без территории. Тогда наше правительство, лишенное своей территории, будет похоже на польское правительство в Лондоне. Это невероятно и смешно!

- Смешно другое, - сдержанно ответил Чуйков, но нахмурил брови. Смешно то, что ваш Геббельс просит оставить себе территорию. Не поздно ли спохватились? Что же касается Польши, то тут я не вижу никаких аналогий. Гитлер, как разбойник, напал на Польшу.

- Но, господин генерал... - снова начал было Кребс. .Чуйков резким жестом остановил его:

- Ни о каком вашем новом фашистском правительстве мы не хотим разговаривать. Вы должны капитулировать сейчас же и безо всяких условий. Иначе наши солдаты пробьются в имперскую канцелярию, и в Берлине будут новые жертвы.

Кребс снова пытался мотивировать свое требование. Но это был уже второй его приезд, явно рассчитанный на то, чтобы выиграть время. Видевший это Чуйков на этот раз был еще меньше расположен затягивать переговоры. Все-таки, по просьбе Кребса, он согласился подождать еще несколько часов, пока Кребс поедет в имперскую канцелярию для доклада Геббельсу и

консультации с ним.

Кребса до линии фронта сопровождал советский офицер, майор Белоусов. Он прошел рядом с Кребсом примерно километр, неся в правой руке белый флажок. У самых проволочных заграждений, где для Кребса был сделан проход, немецкий генерал прошел вперед, а Белоусов остался стоять на открытой площадке. Все гитлеровцы по ту сторону проволоки, конечно, видели его белый флажок парламентера.

Едва Кребс скрылся из вида, как гитлеровцы выстрелили в Белоусова из автоматов. Сраженный насмерть майор упал на дорогу. Наши воины ответили огнем по вражеским траншеям. Санитары подбежали к Белоусову, но было уже поздно.

- Вот фашисты, - сказал Белоусов, умирая, - не верьте им!

Не дождавшись в положенный срок ответа от Кребса, наше командование приказало открыть огонь по имперской канцелярии.

В это время, вечером первого мая, в девять часов тридцать минут, Вейдлинг созвал последнее совещание офицеров штаба обороны Берлина. Там он подвел итоги бессмысленному и кровопролитному сопротивлению гитлеровских войск в Берлине.

Офицеры штаба Вейдлинга молча выслушали его. Никто не возразил.

ˆВ ночь на второе мая в Берлине шел мелкий, противный дождик. Небо затянуло тучами. На Ландвер-канале вода казалась густой, как чернила, она не отражала, как обычно, тусклого блеска звезд. В темноте еще более громадными и неуклюжими казались полуразбитые памятники в Тиргартене, на площади перед рейхстагом. Каким-то распластавшимся над водой чудовищем казался издали силуэт Потсдамского моста. В Берлине было мрачно.

В эту ночь наш радист, находившийся в подвале рядом с Тиргартеном, поймал открытый текст радиосообщения о капитуляции на русском языке.

В назначенное время на мосту появился немецкий полковник Теодор фон Дуффин, оказавшийся начальником штаба 58-го танкового корпуса. Он протянул нашему офицеру письмо Вейдлинга, в котором говорилось, что полковнику генерального штаба фон Дуффину поручено от имени Вейдлинга и от имени находящихся в его распоряжении войск передать, что штаб берлинской обороны решил сдаться.

А через несколько часов, когда над Берлином занялся рассвет и громады домов словно бы медленно выплывали из тумана, в тот час, когда свежий воздух над городом казался подсиненным и оттого еще более знобким, два русских солдата увидели на одном

из участков переднего края странную фигуру.

Кто-то в форме немецкого офицера, крадучись, почти полз вдоль стены разрушенного дома.

- Хенде хох! Руки вверх! - закричали солдаты по-немецки и по-русски.

Офицер выпрямился. Солдаты увидели генеральские погоны на плечах и кресты на груди. В руке генерал держал белый лоскут материи.

- Капитуляция! - сказал генерал по-русски. Его тотчас проводили в штаб части. Это был Вейдлинг. В штаб генерала Чуйкова Вейдлинг прибыл еще с двумя генералами - Веташем и Шмидт-Данквардом, которые тоже в этот час сдались в плен. К самому дому они подъехали на бронетранспортере вместе со своими денщиками. Немецкие солдаты были в блестящих касках.

Вот их-то я и видел на рассвете второго мая, когда садился в свою машину, чтобы ехать в Штраусберг на пункт связи.

В кабинете у Чуйкова Вейдлинг, придя в себя после короткого обморока (не выдержали нервы), сообщил, что Геббельс и Кребс покончили самоубийством, а Мартин Борман в последние часы незаметно исчез из бункеров имперской канцелярии.

Сам Вейдлинг так волновался, что не мог сразу составить приказ о сдаче. Минут тридцать он просидел молча около стола, Лишь потом, немного успокоившись, подписал составленный для него немецким полковником Рефнором приказ о капитуляции всех войск, находящихся в Берлине.

Второго мая после полудня

Уже несколько часов, как молчат пушки. Не все еще знают, но большинство догадываются. Конец! Город еще пылает. Воздух над городом забит дымом. Точно сквозь запотевшее стекло, с трудом пробиваются к земле лучи солнца и угадывается наверху, за темными облаками, бездонная голубизна майского неба.

Мы въезжаем на узкую улицу, перегороженную полосатым шлагбаумом. Первым направо стоит небольшой деревянный домик с колоннами и палисадником. У ворот часовые. Нас встречает начальник караула, лейтенант с артиллерийскими погонами. На его выгоревшей гимнастерке золотые ленточки ранения.

- Комендант Берлина у вас под стражей?

- Да, здесь, - улыбается лейтенант.

В полутемной комнате с задернутыми шторами за длинным столом сидят генералы. Все они в парадных кителях, с полным набором цветастых орденских ленточек и железных крестов. Первым справа сидит Вейдлинг. У него крупные черты лица, опущенный вниз мясистый нос, прилизанные черные волосы. Изо

всех пор его лица проступает усталость. Если бы не погоны, он выглядел бы сейчас бюргером в случайном военном костюме.

Я обращаю внимание на то, как странно, не по-генеральски одет Вейдлинг: он в затасканных серых брюках и в длинных, тоже серых чулках, которые я сначала принял за солдатские обмотки. Китель его испачкан и давно не чищен. Должно быть, последнему защитнику Берлина в эти дни некогда было даже привести в порядок свой мундир, который он, если бы смог, наверняка бы выкинул с радостью в первую же попавшуюся яму.

Я смотрел на Вейдлинга и вспоминал, что этот пожилой, сильно потрепанный годами и событиями генерал, по случайному стечению обстоятельств назначенный Гитлером последним комендантом Берлина, год назад за катастрофу 9-й немецкой армии под Бобруйском тем же Гитлером едва не был расстрелян.

Правда, потом Гитлер отменил свой приказ, но можно не сомневаться, что Гельмут Вейдлинг натерпелся немало страху в ожидании исполнения приговора и надолго запомнил крутой, сумасшедший нрав бесноватого фюрера, приказы которого так и пестрели любимым словечком "расстрел!".

Почему выбор Гитлера в эти последние дни фашистской империи пал именно на Вейдлинга, догадаться нетрудно. Тогда под рукой у Гитлера не оказалось другого опытного офицера, а Вейдлинг еще во время первой мировой войны командовал дирижаблем "Цеппелин". В Польше он был командиром артиллерийского полка, во Франции начальником артиллерии корпуса.

Побывал Гельмут Вейдлинг и на восточном фронте, в России. Но здесь он главным образом отступал. Отступал от Москвы, от Курской дуги, бежал из-под Бобруйска, бросив "вверенные ему части", отступал из Восточной Пруссии, от Одера и, наконец, отступал в Берлине, отдавая нашим войскам один квартал за другим.

Так, отступая и отступая, он очутился в районе Иоганнисталь, в маленьком домике перед нашим микрофоном, на который взирал сейчас с мрачным спокойствием морально разбитого и угнетенного человека.

Сосед Вейдлинга, сравнительно еще молодой генерал, повернулся к нам всем своим туловищем. Я помню его холеное, надменное, налитое жиром лицо. В левом глазу монокль. Генерал нервно подергивал ногой в лакированном сапоге, потом встал и прошелся по комнате. Под ним заскрипели половицы.

Вытянув перед собой худые кисти рук, не поднимая головы, рядом с Вейдлингом сидел старик, генерал в отставке. Он не смотрел на нас, не смотрел на Вейдлинга, глаза его впились в

какую-то точку. И хотя он все время молчал, казалось, от него исходила волна почти физически ощутимой ненависти. Мы привезли с собой адъютанта Вейдлинга, молодого офицера, и, пока мы раскладывали аппаратуру, он рассказал генералам о положении в городе. Адъютант развозил по частям берлинского гарнизона приказ коменданта. Происходит массовая сдача в плен. Адъютант перечислял районы и номера частей. Генералы молча слушали.

...Еще подписывая приказ о капитуляции в штабе Чуйкова, Вейдлинг сомневался, выполнят ли его части СС. Он заявил, что на войска СС власть его не распространяется.

"Ну, этих-то мы сами заставим сдаться", - коротко бросил Чуйков.

Однако вскоре нашелся заместитель Геббельса по министерству пропаганды, статс-секретарь Фриче, не успевший удрать из имперской канцелярии. Он-то и выразил желание обратиться по радио к войскам СС.

Фриче привели к Чуйкову. Василий Иванович увидел перед собой высокого мужчину, худого, с крупным, костистым носом.

- Войска СС вас послушают? - спросил Чуйков, подозрительно оглядывая темный траурный костюм этого господина.

- Конечно, я известное лицо в Германии!

На подобострастном лице Фриче изобразилось нечто вроде обиды. Как это русский генерал не слышал о нем, Гансе Фриче, политическом руководителе гитлеровского радио? Его личность могут удостоверить захваченные русскими солдатами советник министерства пропаганды Хейрихсдорф, фашистский публицист Кригк, личная машинистка Геббельса Курцава.

- Хорошо! - махнул рукой Чуйков. - Отвезите их к радиопередатчику. Если будет в этом нужда, пусть выступит.

...Фриче не пришлось выступать по радио. Войска СС сдавались так же охотно и быстро, как и прочие другие. Но вот наш микрофон второго мая после полудня установлен на столе перед Вейдлингом.

Вейдлинг сидел чуть согнувшись, вытянув на красном сукне вздрагивающие кисти рук.

- Радио? - коротко спросил он.

- Да, это звукозапись, пластинка пойдет в Москву, а оттуда радиостанции передадут ее в эфир.

Вейдлинг повторил: "В Москву" - и кивнул головой. Несколько генералов шепотом произнесли это слово.

Вейдлинг мял в пальцах текст своего приказа берлинскому гарнизону, отпечатанный на тонкой папиросной бумаге.

- Читайте, - сказал ему Спасский.

В комнате тишина. Мягко крутится диск аппарата.

Алмазный резец царапает лак, и бежит по пластинке тонкая, серебристая стружка.

- "Ко всем солдатам, сражающимся в Берлине, - читал Вейдлинг. - Фюрер покончил с собой и нас, поклявшихся ему в верности, бросил на произвол судьбы".

Оператор смотрел в светящийся микроскоп на бороздки звукозаписи. Осторожно пальцем снимал стружку. Застыл, точно пригвожденный к столу, толстый генерал. Кисти его рук больше уже не плясали по столу. Они лежали точно раздавленные.

- "В Берлине мало оружия, мало боеприпасов, - сухим голосом читал Вейдлинг. - Каждый день сопротивления увеличивает безмерные страдания нашего населения и раненых. Всякий, кто погибнет в эти дни в Берлине, принесет свою жертву напрасно... Согласно с требованием советского командования, предлагаю прекратить борьбу".

Подняв голову, Вейдлинг вопросительно посмотрел на Спасского.

Вейдлинг смотрел на аппаратуру, кажется, только затем, чтобы не видеть своих генералов. Глаза у него обмякли, взгляд был рассеянный и пустой.

В комнате раздался шорох передвигаемых стульев, приглушенный шепот генералов, и вдруг неожиданно для немцев из усилителя послышался громкий и отчетливый голос Вейдлинга:

- "Ко всем солдатам, сражающимся в Берлине..." - Вейдлинг вздрогнул и инстинктивно отстранился от микрофона. Адъютант, склонившись над столом, говорил что-то старику генералу, - они так и застыли на полуслове. Я видел одновременно лица обоих - и молодое, налитое кровью, и старое, поблекшее и пергаментное.

Говорила пластинка. Голос Вейдлинга уже не принадлежал ему. Комендант откинулся на спинку стула. Его ладони судорожно опирались в край стола. Кажется, он хотел оттолкнуть его от себя. Наверно, коменданту казалось: его слышат сейчас Берлин, Германия, Европа, мир, слышат его голос, приказывающий сдать Берлин русским.

- Надо записать еще одну пластинку, на всякий случай, - сказал Спасский. И он снова предложил Вейдлингу прочитать текст приказа... И снова, опустив голову, теперь уже прерывающимся голосом, читал Вейдлинг. Даже надменный толстый генерал не в силах был прямо сидеть на стуле. Словно кто гнул книзу его толстую, красную шею. Он окинул нас ненавидящим взглядом...

Спасский выключил мотор аппарата, и мы вышли из

полутемной комнаты. Прямая как стрела Франкфурт-Аллее увела нашу машину из города. Дорогой мы обогнали колонну военнопленных. Они только что сложили оружие. Истоки колонны где-то у рейхстага, а голова ее скрывается в дали загородного шоссе. Пленные шаркали ногами по асфальту, с трудом отрывая подошвы, словно берлинские мостовые были вымазаны клеем. Монотонный звук шаркающих ног не отставая плыл рядом с машиной. А навстречу в город с грохотом летели наши танки, катились пушки и нескончаемым потоком шли и шли машины...

Во дворе имперской канцелярии

В имперскую канцелярию мы попали второго мая к вечеру. Садилось солнце, и желтое зарево заката, осветившее полнеба, сливалось с огнями берлинских пожарищ.

Наша машина долго пробиралась через проходы в баррикадах и завалы, через воронки от снарядов, кое-где ее приходилось проталкивать на руках, пока наконец мы не приблизились к длинному серому зданию, занимающему целый квартал.

Это и была так называемая новая имперская канцелярия Гитлера - бывшее центральное правительственное учреждение Германии, главный штаб гитлеровцев во время сражения за Берлин.

Золото заката не оживляло городского пейзажа. Все вокруг выглядело мрачным.

Мне пришло в голову сравнение, навеянное образом, далеким от картин разрушенного города. Здание имперской канцелярии напоминало айсберг. Большая часть его не видна, она уходит вниз, на те семь этажей, которыми оброс этот дом, постепенно углублявшийся в землю.

Подземная часть этого здания представляла собой бомбоубежище, покрытое сверху восьмиметровым слоем бетона. Это и был так называемый "Гитлер-бункер". Одну половину занимал Гитлер, его личный врач Морель, хирург Штумпфегер, Ева Браун, а также собака - овчарка Блонди. На второй половине бункера жили повара, слуги, камердинер фюрера.

С тех пор как Берлин начал подвергаться интенсивным бомбардировкам союзников, Гитлер перенес свой кабинет в глубину подземелья, и здесь, под глыбами бетона, в духоте и мрачной тиши бункера, Гитлер проводил совещания с генералами и вожаками нацистской партии.

В этот день, когда всюду вокруг имперской канцелярии горели еще дома, а в ней самой лежали и стонали раненые гитлеровцы, когда во многих комнатах канцелярии тлела и горела мебель, - в этот день из подземелья еще поднимались

клубы дыма и удушающей гари.

Говоря честно, спускаться в подземелье было страшно. Кому было охота погибнуть в день капитуляции Берлина! А гитлеровские головорезы могли, конечно, выстрелить или пырнуть ножом из темного угла и тут же скрыться в лабиринте полуразрушенных комнат, окутанных таким дымом и смрадом, что в них не мудрено было и задохнуться.

Но все-таки мы решили осмотреть то, что можно было бегло осмотреть в еще горящем здании. Нам хотелось побывать там одними из первых. Мы точно предчувствовали, что на месяц-два это здание для всех, кто приезжал в Берлин, станет едва ли не главной достопримечательностью, такой же, как рейхстаг, или проспект Унтер-ден-Линден с его Бранденбургскими воротами.

Мы долго пробирались к кабинету Гитлера, влекомые любопытством и тем сильным, сложным чувством, в котором была жажда какой-то личной мести Гитлеру - хотя бы пройтись своими сапогами по его кабинету, увидеть своими глазами его труп. И, чего греха таить, в нас жила извечная людская слабость - тщеславие, я думаю, оправданное в те дни, естественное желание добыть в кабинете Гитлера какой-нибудь сувенир на память о берлинском сражении, чтобы показывать его через много лет детям и внукам.

Длинный коридор, который вел к кабинету Гитлера, был полуразрушен. Его окна оказались забитыми досками и кое-где заваленными книгами из личной библиотеки фюрера.

Конечно, у нас не было времени рассматривать книги. Тут было много дарственных экземпляров: "Дорогому фюреру", а на полу, растоптанные и разорванные, валялись книги "Мейн кампф".

На одной из этих книжных груд лежал труп человека, внешне похожего на Гитлера. Но это был не Гитлер, а один из его двойников. Кажется, их насчитали шесть штук в коридорах имперской канцелярии. Трупы двойников должны были увести наших разведчиков по ложному следу от трупа самого Гитлера.

Двойники были застрелены после смерти Гитлера, по его приказу. И мертвый Гитлер продолжал убивать!

Пробраться к дверям самого кабинета оказалось делом нелегким, потому что пол в коридоре местами провалился, с потолка свисали куски бетона и торчали металлические ребра балок. Приходилось искать обходные пути через другие комнаты и кабинеты секретарей и министров фюрера.

Сам кабинет - большая прямоугольная комната с высокими окнами и камином в углу - был сильно разрушен бомбами. В нескольких местах обвалился потолок. На полу, грязном от

кусков штукатурки, валялась сломанная мебель.

Удивляло, что уцелели бра на стенах - для освещения. Кстати говоря, здесь исправно действовала своя подземная электростанция, водопровод, радиоузел. В то время как берлинцы жили без воды и света, гитлеровская верхушка устроилась в подземелье с комфортом.

И все-таки кабинет Гитлера в наземном здании и его подземные бункеры, как только советские войска подошли к Берлину, превратились, по сути дела, в тюрьму для фюрера и его ближайших приспешников. Из этого каменного мешка им некуда было выбраться.

Я невольно вспомнил в этом кабинете Гитлера о начале нацистского движения в Германии, о так называемом "мюнхенском путче", после которого Гитлер очутился за стенами тюрьмы.

Почти двадцать два года до падения Берлина в сорок пятом году завсегдатаи знаменитого мюнхенского пивного подвала "Бюргербрей" впервые, бряцая оружием, выбрались на улицы и предприняли попытку захватить власть. Это произошло в Мюнхене 9 ноября 1923 года.

Гитлер в тот день заявил: "Национальная революция началась сегодня вечером. Имперское правительство низложено и заменено национальным правительством во главе с Гитлером. Людендорф стоит во главе вновь образуемой имперской армии, которая пойдет на Берлин!"

Ночью национал-социалисты устроили грабеж в городе и разгромили и разграбили здание редакции "Мюнхенер пост", захватили все запасы бумаги, которыми только могли овладеть. Всего на сумму восемь миллиардов марок.

Наутро в двух местах вспыхнули уличные стычки. От многочисленных выстрелов пострадали случайные прохожие. Прохожих обыскивали. Над ними учиняли бесчинства. Трамваям пришлось остановиться. Нацисты врывались в дома, стреляли вслепую по дворам, захватывали проходы и крыши.

Но все это только до той поры, пока против нацистов не выступила полиция. И тут же вооруженные банды, надеявшись главным образом на безнаказанность, быстро рассеялись. Путч провалился.

Недолго нацисты вопили на улицах: "Вперед на Берлин!" За ними шла тогда ничтожная кучка людей, и всем было очевидно, как быстро энергичное вмешательство может задушить в зародыше коричневую чуму, навсегда покончить с этим политическим мыльным пузырем.

После позорного провала первой фашистской вылазки Гитлер

был арестован.

Но вот дальнейшие странные события. Военный вожак нацистов генерал Эрих Людендорф был освобожден после того, как дал честное слово не принимать больше участия в политических заговорах! На следующий день он отрекся от этого заявления, заявив, что будет бороться за "германское народное движение". И угрожал, что сам попросится под арест. Но все же предпочел остаться на свободе. А имперское правительство продолжало выплачивать ему жалованье.

Со 2 февраля по 1 апреля 1924 года в Мюнхенском "народном" суде происходит трагикомедия процесса над национал-социалистами. Процессу предшествовали переговоры, в которых суд и подсудимые "договорились" щадить в своих показаниях интересы баварского правительства. И это при негласном условии, что подсудимым гарантируется безнаказанность. А на тот случай, если кто-либо выйдет из рамок своей роли, все важнейшие судебные заседания, посвященные военной подготовке тайных союзов, шли при закрытых дверях.

И вот на процессе происходит нечто поразительное. Стороны меняются местами. Обвиняемые взяли в свои руки руководство. Когда им хотелось, они требовали закрыть двери. Скамью подсудимых превратили в агитационную трибуну фашизма. Через своих друзей они влияли даже на выдачу пригласительных билетов, чтобы создать в зале суда нужную им аудиторию.

"Сам господин Гитлер", как именовал его председательствующий Нейдгардт, энергично допрашивал свидетелей, а нацисты в суде награждали Гитлера аплодисментами.

Официальный обвинитель, прокурор Эгардт, стал, по сути дела, защитником нацистов. Это он, Эгардт, считал Гитлера "высокоодаренным человеком", а "пробуждение народной идеи" его "великой заслугой". Это по его прокурорскому мнению генерал Людендорф показал себя во время путча "как храбрый солдат и цельный человек".

В последний день процесса Гитлеру разрешили показаться своим приверженцам, собравшимся на улице. Овации в честь подсудимого - вот красноречивая прелюдия к приговору, который был оглашен 1 апреля 1924 года.

Гитлер был приговорен к пяти годам заключения в крепости и к 200 маркам штрафа. Но уже по истечении шести месяцев для него допускалось досрочное освобождение. К тому же Гитлеру засчитывались четыре месяца и две недели предварительного заключения во время следствия. Фактически этот приговор был равносилен полному оправданию, так как Гитлеру оставалось

отсидеть всего лишь... шесть недель!

Генерал Людендорф был по суду оправдан с принятием судебных издержек... за счет государства! Что же касается денежного штрафа Гитлера, то он был оплачен из средств партийной кассы, которая основательно пополнилась после грабежей 9 ноября.

Итак, нацисты получили ясное доказательство того, что они могут спокойно продолжать свою деятельность.

Так судили в Мюнхене тех, кто через десять лет покрыл концентрационными лагерями всю Германию и развязал вторую мировую войну.

"Вперед на Берлин!" - вопил Гитлер еще в 1923 году. И он пробрался в Берлин, превратив его в гигантскую груду развалин.

А если бы нацистов не вскормила немецкая буржуазия и военщина? Если бы этого "высокоодаренного человека" - Гитлера и "цельного человека" - генерала Людендорфа засадили бы в тюрьму не на недели, а на многие годы? Если бы нацизм был задушен в зародыше?

Тогда не лилась бы русская и немецкая кровь в эти апрельские дни на улицах германской столицы.

...У дальней стены кабинета Гитлера я увидел валявшийся на полу измятый глобус больших размеров. Глобус на массивной подставке обычно находился около письменного стола. По нему Гитлер любил прикидывать свои планы, здесь он мысленно размечал маршруты разбойничьих нападений. Глобус вертелся легко. Гитлер мечтал о мировом господстве.

Теперь глобус валялся на полу, на нем были ясно видны вмятины от ударов сапога. Может быть, это был сапог отчаявшегося эсэсовца, в последнюю минуту перед смертью проклявшего Гитлера. Или, скорее всего, русский солдат отшвырнул в сторону этот громоздкий шар.

Теперь глобус разбился, а труп его бывшего хозяина валялся неподалеку, в бомбовой воронке.

О смерти Гитлера в те дни и позже ходило много догадок и версий. С годами появлялись новые сведения. Двадцать пятого октября 1956 года административный суд Берхтесгадена своим решением официально подтвердил смерть Гитлера.

В исследовании "Последние дни Гитлера" Г. Л. Розанов подробно описал эту сцену: "...Гитлер остался верен себе до конца: один он умирать не собирается. Он показывает Еве Браун только что перехваченное сообщение западного радио о судьбе Муссолини. Итальянские партизаны, говорится там, схватили переодетого в немецкую шинель "дуче" вместе с его любовницей Кларой Петраччи в окрестностях озера Комо. Оба были

немедленно расстреляны, а трупы доставлены в Милан. Там их повесили вниз головами у бензоколонки на площади Лоретто, а жители города нескончаемой чередой проходили мимо и плевали на трупы фашистского властителя и его метрессы.

Ева Браун впадает в состояние полной прострации: так, значит, вот что ожидает ее, если она попадет в руки противника. Еле слышно она бормочет, чтобы яд принесли и ей. Гитлер произносит высокопарную речь, в которой противопоставляет "верность" Евы Браун "измене" немецкого народа.

Однако Гитлер все еще медлит, на что-то надеется. Этот палач, который не моргнув глазом отправлял на смерть миллионы людей, теперь долго не решается покончить с собой.

Лишь после полудня 30 апреля... Гитлер наконец решается... За обедом, где, как обычно, собирались наиболее приближенные к Гитлеру лица, на этот раз царило гробовое молчание: присутствие живого покойника сковывало всех. Все с чувством нетерпения ждали, когда наконец Гитлер развяжет им руки. Распрощавшись с присутствовавшими, Гитлер и Ева Браун проковыляли в свои покои. Сначала Гитлер, чтобы проверить действенность яда, отравил свою собаку и ее четырех щенят. Однако матерый убийца все еще трусливо медлит. Наконец страх попасть живым в руки союзников и понести кару за свои преступления превозмогает все. У дверей, в нетерпении переминаясь с ноги на ногу, толпятся Борман, Аксман и камердинер Гитлера - Линге. Наконец часы показывают половину четвертого - раздается звук выстрела.

...Гитлер покончил с собою, выстрелив в рот. Ева Браун скончалась, приняв яд.

Группа офицеров-эсэсовцев - Линге, Гюнше и другие стаскивают труп Гитлера с дивана и закручивают в разостланный на полу ковер. После этого они по запасному выходу через четыре марша лестницы выволакивают свою ношу в сад имперской канцелярии. За ними с трудом поспевает Борман. Перекинув через плечо, он тащит труп Евы Браун. В саду эсэсовцы выстраиваются цепочкой и быстро передают труп от одного к другому, все ближе к большой воронке от фугасной бомбы. Там трупы кладут друг подле друга, быстро обливают бензином и поджигают. Эсэсовцы с тупым любопытством смотрят, как поднимается дым и распространяется зловоние от того, что в течение двенадцати лет, подобно чуме, отравляло мир..."

Эта вырытая для Гитлера бомбой могила находилась во дворе имперской канцелярии, среди редких деревьев и кустов. Труп обнаружили в ней через несколько дней, когда были схвачены эсэсовцы, сжигавшие тела Гитлера и Евы Браун. Они очень торопились, эти охваченные страхом за свою жизнь палачи.

Гитлер, облитый бензином, горел медленно. А грохот русских пушек раздавался все громче! Второго мая мы видели в этом саду, названном самими немцами "садом самоубийц", много трупов. Приближенные Гитлера выбегали из подземелий в этот сад, чтобы глотнуть в последний раз свежего воздуха и пустить себе пулю в лоб.

Здесь чуть ли не под каждым кустом лежали самоубийцы. А кустики, поломанные, пораненные осколками, все-таки тянулись к свету, солнцу и весеннему теплу. И в "саду самоубийц" в эти майские дни пробуждалась земля, и здесь цвела сирень. Жизнь приходила на место смерти! Все это было естественно. "Нормально!" - как говорили наши солдаты.

В этот же день здесь, во дворе имперской канцелярии, я увидел обгоревший труп. Геббельса. Эсэсовцы не успели его спрятать, может быть, потому, что Геббельс задержался с самоубийством, а бункер его находился ниже всех в подземелье и тело долго вытаскивали во двор.

Своих детей - девочек и мальчиков разных лет - Геббельс отравил. Сейчас полуобгоревший его труп лежал перед нами на земле. Земля вокруг казалась черной, словно пропитанной мазутом или бензином. Я увидел характерной формы продолговатый обезьяний череп и короткую ногу с красной медной пластинкой на пятке.

Наши солдаты и офицеры, с невольным любопытством наклоняясь, брезгливо трогали какие-то флаконы, остро пахнущие бензином, куски материи, женские туфли и выпавшие из карманов костюма Геббельса разноцветные карандаши.

Мне вспомнилась в эту минуту фотография, я видел ее в каком-то фотоальбоме, прославлявшем заправил "третьей империи". Геббельс был снят там в кругу своей многочисленной семьи. Рядом с папой и мамой сидели нарядные девочки с бантами на голове, в белых платьях, и стоял мальчик с крутым лбом и неприятно пронзительными глазами.

Я подумал о том, что, как глава пропагандистского аппарата нацистов, Геббельс был прямым виновником и той трагедии, что разыгралась в нашем домике, в Уленгорсте. Я вспомнил о Вернере Брейтшнейдере - рядовом нацисте.

Отравленный чудовищной пропагандой, он зарубил своих детей. Позже отравил своих детей и сам "примерный семьянин" - Геббельс. Поистине, кровавый, порочный круг лжи, нечеловеческой жестокости, этот ужасный круг преступлений и смерти, замыкался!.. ...Пойманный в тот же день статс-секретарь министерства пропаганды Ганс Фриче рассказал нам, как утром двадцать первого апреля Геббельс проводил свое последнее инструктивное совещание.

Около пяти тысяч сотрудников министерства собрались в полуразрушенном помещении бывшего кинотеатра, В зале электричество не горело, лишь тускло мерцали свечи. На большой сцене для Геббельса было приготовлено кресло.

Он проковылял по сцене в черном траурном костюме и погрузился в слишком обширное для него кресло, положив при этом нога на ногу.

О чем говорил Геббельс? Он уже не давал никаких советов своему "аппарату", не учил борзописцев, как им обманывать немецкий народ. Геббельс только с бешено! злостью проклинал народ, который "предал своих руководителей", проклинал армию,

отступающую на востоке и сдавшуюся в плен на западе.

- Что можно сделать с народом, чьи мужчины не могут уже воевать и чьи женщины беспомощны! - истерично взвизгивал Геббельс.

И он снова продолжал ругать немецкий народ, который якобы сам выбрал свою судьбу, доверив власть в стране нацистам.

- Почему вы работали со мной? - закричал он в зал. - Кто вас заставлял? Вот теперь берегитесь - всем вам горло взрежут!

Это было последнее напутствие Геббельса своим подручным.

Провожаемый глухим ропотом обалдевших от страха нацистских чиновников, Геббельс направился к двери и, в последний раз обернувшись, вдруг оскалил в циничной ухмылке рот. Потом он резко хлопнул дверью.

"Если нам придется уйти, мы резко хлопнем дверью", - мрачно пообещал Геббельс в одной из своих речей.

И вот он хлопнул дверью, убегая из здания кинотеатра в более надежный бункер имперской канцелярии. Кого испугал этот стук? Только самого Геббельса.

Я не помню, сколько времени пролежал труп Геббельса во дворе имперской канцелярии, позже его перенесли в тюрьму Плетцензее. Но пока он лежал на земле около "сада самоубийц", вокруг него толпились наши воины, военные журналисты, фотокорреспонденты.

Уже были разобраны все карандаши Геббельса в металлической оправе, и несколько только что подъехавших журналистов шумно спорили о том, кому взять на память самопишущую ручку, найденную рядом с обгоревшим трупом.

Шумели они долго, размахивая руками, а в это время фотокорреспонденты щелкали своими "ФЭДами", снимая редкий кадр: группы оживленных людей у труппа Геббельса и улыбающееся, счастливое лицо человека, ставшего наконец обладателем этой ручки.

Я не слишком большой любитель сувениров, но такой, взятый во дворе имперской канцелярии, конечно, исключение.

Правда, несколько месяцев спустя, уже в Москве, мне показали наши товарищи - военные журналисты - пять или шесть "ручек Геббельса", и каждый уверял, что его - подлинная. Пусть эти утверждения останутся на совести любителей коллекционировать редкие военные трофеи. Впрочем, это неважно. Я пишу об этом только затем, чтобы еще раз напомнить, как валялись трупы Гитлера и Геббельса на земле, в центре Берлина, как закончили свое существование нацисты, мечтавшие о мировом господстве, в какой грязи и смраде кончалось их проклятое народами государство.

Говорящая расписка

В моей берлинской тетради между страницами с фронтовыми записями сохранилось несколько вклеенных фотографий той поры: экипаж нашего "радиотанка", прилетев из Москвы в Познань, временно расстается с экипажем нашего самолета - летчиком Кореневым, бортмехаником Егоровым. Наша группа в берлинском предместье около домика фрау Менцель. М. Гус, М. Шалашников, Н. Ковалев, ленинградские радиожурналисты Л. Маграчев, Н. Свиридов, В. Петушков у памятника кайзеру Вильгельму в центре Берлина.

Теперь, глядя на этот фотоснимок, я вспоминаю пасмурный день, перемежающийся мелкий дождик и довольно прохладную погоду, заставившую нас надеть шинели и пальто. Косой дождик с ветром бил прямо в лицо, поэтому на любительском снимке глаза у многих сужены, а на лицах рассеянное, у иных даже сердитое выражение.

Когда ныне, через много лет, я рассматриваю эту маленькую карточку, мне кажется очень примечательным и то, что все мы стоим тесной группой, и то, что многие засунули руки в карманы шинелей, чтобы стало теплее, и то, что все мы повернулись спиной к полуразбитому памятнику кайзеру.

Но еще в большей степени меня радует мгновенно зафиксированная правда ощущений, именно будничное, спокойное, без тени аффектации или восторженности выражение наших лиц, самоощущение людей, словно бы не видевших ничего особенного в том, что они снимаются на фоне берлинских развалин, в нескольких шагах от лестницы памятника, некогда олицетворявшего величие милитаристской Германии.

Лестница памятника ведет к подножию прямоугольного монумента, обрамленного символическими скульптурными группами. А вершину подножия попирают чугунные ноги огромной лошади, которую оседлал Вильгельм в блестящей каске с шишаком.

На моей фотографии не поместилась фигура кайзера, видны лишь ноги его лошади, а на площадке вокруг подножия валяющиеся там и сям помятые, пробитые пулями каски несколько иной формы - каски гитлеровских солдат.

В тот день их было очень много. Это наводило на мысль - может быть, их принесли сюда наши солдаты и не без умысла сложили у ног обнаженной чугунной женщины, олицетворяющей собой образ Германии, около поясных барельефов воинствующих древних германцев. Мол, смотрите, берлинцы, вот вам наглядный урок истории!

В тот день, отойдя от памятника, мы впервые могли себе

позволить вольную прогулку, удовольствие без спешки прошагать по Вильгельмштрассе и Люстгартен, набережной Шпрее, побродить вокруг и заглянуть вовнутрь огромных полуразрушенных зданий театров и музеев, ныне уже никем не охраняемых, пропечатать свои шаги по грязному полу полутемных залов с высокими сводчатыми потолками. В одном из таких зданий мы натолкнулись на музей оружия. И вот - случайность, порожденная суровой закономерностью: музей немецкой военщины сильно разрушен, пули, летевшие сюда с площади, пробили деревянные ложи мушкетов, осколки мин поцарапали черный глянец старинных пушек.

Так, словно бы новая, устремленная к будущему история Берлина, рождавшаяся на этих улицах, светом своего зарева, разрывами снарядов по-своему* осветила и прокомментировала эти картины, экспонаты и предания давней истории.

Так, бродя от здания к зданию, мы вышли на набережную. Парапеты сохранились как высокая бетонная оправа для темных вод грязноватой Шпрее. Здесь стояла наша машина, и еще издали мы увидели около нее группу каких-то женщин. Это оказались француженки-полонянки, настигнутые войной в Берлине, голодные, но веселые, общительные и в той мере, в какой это им позволяло незнание русского языка, кокетливые.

Объяснялись они с Корпусновым, а потом с нами главным образом знаками и междометиями, что, однако, не мешало нашему водителю угощать их хлебом, холодным мясом и трофейным вином, которое он для такого случая достал из своего "загашника".

Одна из полонянок, молодая женщина, ела с таким аппетитом, что сжевала и всю краску с губ. Но тут же она встала на подножку и покрасила губы перед маленьким зеркалом, укрепленным на кронштейне кабины.

От светлых ее волос исходил нежный и тонкий запах духов. Я видел, как она передала подруге, должно быть чудом сохранившийся у нее, флакончик, а за ним и губную помаду. Француженки прихорашивались, пользуясь шоферским зеркалом Корпуснова. Он улыбался поощрительно, смеялись женщины, и, право, я уже не знаю почему, в сумятице впечатлений тех дней мне на всю жизнь запомнилась эта маленькая сценка.

Что виной тому: запах французских духов? Белозубые улыбки, искрящиеся глаза, смешные движения француженок, по-женски неумело, но вместе с тем изящно бросавших пустые консервные банки в воду Шпрее?..

Мы вскоре перешли по мосту через Шпрее и зашагали посередине широченной Унтер-ден-Линден. Эту улицу поминал

всякий писавший о Берлине. Бранденбургские ворота! Парады гитлеровских войск, ночные шествия нацистов с факелами, гром барабанов, торжествующее пение фанфар, на черных пиках орлы и паучья свастика на знаменах.

Это помнилось по кадрам кинохроники, по картинам, по книгам, прочитанным до войны.

А в этот день мы натолкнулись первым делом на колонну наших танков, зачем-то заехавших сюда, на разбитую немецкую пушку, ствол которой тянулся к двери такого-то магазинчика.

Один из танкистов, закончив работу и обтерев ладони тряпкой, подошел к стеклянной двери и открыл ее.

Я пошел вслед за ним и очутился в помещении магазина, торговавшего часами.

Часов было множество: на прилавках под стеклом, на стеллажах вдоль стен - ручных, карманных, будильников, прямоугольных, круглых, бочковидных. Я помню, что в ту минуту я попытался представить себе Унтер-ден-Линден, парадную улицу Берлина, глазами хозяина этого магазина. Я хотел представить себе, как он любуется мрачным демонизмом ночных факельных шествий нацистов. Он, конечно, ликовал тогда, этот немецкий бюргер, размалевавший все свои стеклянные витрины свастикой. Может быть, он вопил "Хорст Вессель" и размахивал факелом?

Куда он убежал сейчас, бросив все свои часы?

Я наблюдал за танкистом, а он за мною. Танкист взял будильник, поднес к уху.

- Кладбище часов, - сказал он. - Все стоят, хозяина ждут.

Танкист завел весело затикавший будильник, и сначала положил его в карман своего синего комбинезона, но передумал и поставил будильник. снова на стекло прилавка.

- Пускай сами заводят, - произнес он почему-то сердито. Потом немного виновато улыбнулся мне и неопределенно покачал головой, может быть недовольный собой или же тем, что все это добро лежало здесь без присмотра.

Он еще раз обежал глазами все прилавки и вышел на улицу, бережно закрыв за собой стеклянную дверь часового магазина, в котором молчали все часы. Странный магазин, где словно бы остановилось и замерло старое время и еще не начало тикать новое!

Танкист пошел к своей машине, а я, Спасский и ленинградец Свиридов пошли разыскивать на Унтер-ден-Линден здание университета.

Трудно было предположить, что через два дня после капитуляции города мы встретим в университете немецких ученых или немецких студентов. Первые еще сидели в своих

квартирах или совершали первые робкие вылазки на улицы. Вторые же топали по городу в колоннах военнопленных или, освобожденные из гитлеровских тюрем и лагерей, добирались до своих домов. Более того, мы не рассчитывали, что и само здание уцелело от бомбардировок союзной авиацией.

Однако огромные корпуса, занимающие почти целый квартал, не очень сильно пострадали от бомб, а если чем и выделялись на Унтер-ден-Линден, так это тяжеловесной монументальностью и светло-голубой окраской стен и колонн.

Мы нашли вход в университет со стороны улицы, примыкавшей к Унтер-ден-Линден. Массивная дверь с позолоченными ручками оказалась незапертой и легко открылась. Мы поднялись по широкой лестнице на второй этаж, и теперь наши шаги гулко отзывались в длинных коридорах. Множество дверей и комнат чередовались в этих коридорах, где царила тишина, и только ветер, проникавший через открытые окна, шуршал бумагами, брошенными в беспорядке на столах и на полу.

Как и коридоры берлинского суда, это безлюдное помещение показалось нам угрюмым. Занятия здесь прекратились, видимо, очень давно. Во многих окнах от сотрясения воздуха выбило рамы, и дым от пожарищ, пыль и гарь, порывы дождя и ветра словно бы выдули из комнат все, что могло напомнить о занятиях студентов. Да и какие могли быть здесь занятия, если в последние месяцы Берлин бомбили почти непрерывно и днем и ночью? Но все-таки нам казалось, что мы найдем кого-нибудь в этом здании. Порой шорох ветра напоминал отдаленное, расслабленное шарканье подошв по паркету, и чудилось, что из-за дверей вот-вот выйдет навстречу хотя бы какой-нибудь сторож, услышавший наши голоса.

Но один коридор сменялся другим, этаж новым и новым, мы заглядывали во все кабинеты, так и не встретив того, кто бы мог нам указать вход в лабораторию радиотехнического факультета.

А именно он-то и вызывал у нас особый интерес. Там могла находиться сравнительно новая тогда аппаратура магнитофонной записи. Наши операторы мечтали пополнить быстро тающие запасы пленки и звукозаписывающих пластинок.

Уж если человек, влюбленный в свое дело, такой, как Спасский, решил найти новые аппараты, то он их найдет в подвале или на чердаке, запрятанные за семью замками.

Я уже не помню, сколько времени мы бродили по коридорам университета, поглядывая через окна на изрытую воронками мостовую, на забитые досками и мешками с песком Бранденбургские ворота, на маленькие группы наших людей,

которые еще с некоторой опаской, нередко с автоматами наперевес, вступали в этот день на камни Унтер-ден-Линден.

И все-таки наши операторы Спасский и Свиридов отыскали радиотехническую лабораторию. И как только мы вошли в эту большую комнату, заполненную столами и приборами, тотчас нашелся и тот человек, которого мы столько времени безуспешно разыскивали.

Я назову его Мюллер, потому что точное звучание его фамилии не сохранилось в моей памяти. Это был не старый еще человек, высокий, худой, гладко выбритый, в спортивном светлом пиджаке и похожий больше на тренера по теннису, чем на ученого.

Мюллер не испугался, неожиданно увидев русских, и, более того, как показалось мне, даже обрадовался нашему приходу, что сразу было трудно объяснить. Он первым заговорил по-русски.

- Здравствуйте, с приездом! - сказал он и слегка, с достоинством наклонил голову.

- Привет, геноссе, кстати, мы пришли пешком, - первым ответил Спасский.

Я чувствовал, что Спасскому не терпится узнать, есть ли в этой лаборатории магнитофоны? Но сразу начинать с этого даже ему, человеку весьма напористому, казалось неудобным.

- Вы кем здесь работаете? - спросил он.

- А вы кто? - вопросом ответил Мюллер, может быть озадаченный тем, что на гимнастерке Спасского он не обнаружил погон.

Я объяснил Мюллеру, кто мы такие, и не успел Спасский изложить свою просьбу о магнитофонах, как Мюллер быстро достал из стенного шкафа два магнитофона - два небольших прямоугольных ящика с ремнями для ношения за плечами и на руке.

- Журналистские магнитофоны, - определил Свиридов.

- Это они! - с каким-то протяжным стоном восхищения добавил Спасский. По радостно заблестевшим его глазам стало ясно, что эти сравнительно легкие, портативные аппараты, дающие возможность в любом месте, без особой подготовки производить запись, - предел мечтаний звукооператора.

Мюллер раскрыл ящики, показывая, что аппараты в исправности. Его готовность помочь нам не носила следов какой-то подобострастной услужливости, и этот человек все больше заинтересовывал нас.

- Вы давно здесь находитесь? - спросил его Спасский, показывая на стены лаборатории, но, кажется, сам удивился некоторой нелепости своего вопроса.

- Я пришел в одно время с вами. Вероятно. Посмотреть свою лабораторию. Я здесь давно не был. Всю войну. После того дня, как наци бросили меня в лагерь.

- За что? - спросил я.

- Я кому-то не понравился, я что-то не так сказал, я промолчал, когда надо было кричать, и закричал, когда следовало молчать. А может быть, еще за что-нибудь?

Мюллер горько усмехнулся.

Я спросил ученого, не работал ли он в немецком коммунистическом подполье?

- Нет, я не был коммунистом. Просто хороший немец.

Хороший немец! Я подумал о том, что нацисты вкладывали в это понятие свой смысл. Хороший, плохой - эти слова слишком неопределенны без четкой политической окраски. Я сказал об этом Мюллеру.

Он согласился.

- Мир разделился на фашистов и антифашистов. Сейчас для меня нет иных категорий, иной меры вещей, - сказал он горячо. - Фашизм - это самое страшное, хуже холеры, хуже чумы, это самоубийство нации. Я ненавижу фашизм.

Мне показалось, что слова Мюллера, его проклятия фашизму продиктованы истинной болью сердца. Вот он поспешил сюда, в еще пустой университет, пришел первым. Уже одно это говорило о многом. Я сообщил Мюллеру о решении советского коменданта Берзарина сделать все возможное, чтобы сохранить для Берлина те кадры ученых, которые захотят сотрудничать с новой демократической властью.

- Это хорошо, - кивнул он. - В университете теперь все будет по-другому. А магнитофоны возьмите, - добавил он, почувствовав смущение и нерешительность Спасского. - Тут сейчас нет никакой власти, но как бывший профессор этой лаборатории и как хороший немец, - подчеркнул он, - я вам это разрешаю.

Я начал было объяснять Мюллеру, какие магнитофонные записи мы сможем делать на этих аппаратах. Но Мюллер взмахнул рукой, и жест его в равной степени означал и готовность нам услужить, и досаду на то, что ему разъясняют совершенно очевидные вещи.

- Разве нам, немцам, это не нужна? - спросил он. - И вам, и мне, и нашим детям в новой Германии. Берите, берите магнитофоны! - поторопил он.

- Как, просто так? - удивился Спасский.

- Просто так, - сказал Мюллер.

- Нет, мы дадим вам официальную расписку, что взяли магнитофоны во временное пользование.

- Я вам так поверю.

Но Спасский настоял на своем, достал лист бумаги и написал расписку, посетовав, правда, на отсутствие печати или какого-нибудь штампа.

Мы собирались уже уходить, когда кто-то из нас, кажется Свиридов, предложил записать расписку с голоса на одном из аппаратов лаборатории.

- Это лучше печати, - добавил Свиридов. Мюллер живо ухватился за эту идею. Он попросил еще подарить ему какую-нибудь из наших записей.

- Перезапишем голос Вейдлинга, свежий, мы видели этого генерала вчера, - сказал Спасский.

Мы подогнали нашу машину к зданию университета. Внесли аппараты и начали перезапись.

Так третьего мая на Унтер-ден-Линден в здании Берлинского университета под высокими сводами радиотехнической лаборатории я вновь услышал голос Вейдлинга, приказывающего сдать Берлин русским.

Мюллер прослушал эту запись молча. Но мне показалась, что лицо его выражало в эту минуту сложную борьбу чувств. При всей ненависти Мюллера к фашизму слушать о страданиях мирного населения и раненых в Берлине Мюллеру было тяжко. Как и все честные немцы, он глубоко переживал национальную трагедию Германии.

Мы закончили перезапись, Мюллер сказал "спасибо" и каждому крепко пожал руку.

Затем на этой магнитофонной ленте Спасский наговорил в микрофон свою краткую расписку. А я и Свиридов пожелали Мюллеру долгих дней жизни и творческих удач в его университетской лаборатории.

Не знаю, сохранилась ли у Мюллера эта - говорящая расписка. Если и сохранилась, то, возможно, в те дни, когда мы в Москве торжественно отмечаем День Победы, он в своем университете воспроизводит эту пленку для студентов. Или же как реликвию военной поры хранит магнитофонную ленту дома, чтобы при случае дать послушать друзьям уникальную запись: голос последнего нацистского коменданта Берлина, сообщающего о смерти Гитлера.

Что же касается меня, то и групповой фотоснимок у памятника кайзеру Вильгельму, и говорящая расписка вновь и вновь напоминают мне о старых фронтовых друзьях, о боевых радиожурналистах, которые тогда в Берлине занимались делом далеко не будничным и не обычным - улавливали на магнитофонные ленты шум и голоса истории.

"Дом Гиммлера"

Солдаты, штурмовавшие рейхстаг, называли "домом Гиммлера" здание министерства внутренних дел, примыкавшее к Кёнигсплац. Но в том же укрепленном районе "Цитадель" находился другой дом - главная резиденция Гиммлера, самое страшное здание в Берлине, которое вселяло ужас и страх в сердца миллионов людей.

На короткой, сравнительно тихой улице Принц-Альбрехтштрассе, в доме восемь, в здании бывшего музея по истории костюма, некогда имевшего отношение к прикладному искусству и народному творчеству, рейхсминистр Гиммлер, словно бы в издевку над всем этим, разместил... гестапо!

Гитлеровцы, конечно, переоборудовали музей и прилегающие к нему дома. Там, где стояли раньше стеллажи с экспонатами, появились столы следователей и камеры для арестованных, а в помещении большой библиотеки Гиммлер оборудовал свою тюрьму - "Колумбию", которая представляла собой, по сути дела, "тюрьму внутри тюрьмы". Здесь гестаповцы держали, допрашивали, истязали наиболее опасных своих противников.

Весь этот "тихий" квартал берлинцы старались обходить подальше. Его улицы были в последние месяцы основательно повреждены союзной авиацией. Тридцатого апреля, когда передовые батальоны 5-й армии генерал-полковника Берзарина вплотную подошли к этому кварталу, он уже не выглядел "тихим" всюду рвались снаряды, а разбитые дома казались мрачными крепостями обороны.

Само здание гестапо окружал высокий каменный забор, за которым виднелись заложенные кирпичом окна, больше напоминающие узкие амбразуры. Перед ограждающей стеной были вырыты окопы, укрепленные переносными бронированными колпаками. Все это говорило о том, что гестаповцы надеются оборонять свою цитадель долго и стойко. И действительно, первые атаки стрелкового батальона, пытавшегося с ходу проникнуть за каменный забор, успеха не имели. Всю ночь штурмовые группы стремились выбить немцев из укреплений, но тщетно. Только днем первого мая саперам удалось подорвать в одном месте забор, подложив под него противотанковые мины. Образовался проход во двор гестапо.

В два часа тридцать минут командир батальона, зная, что это за дом, отмеченный на его оперативной карте жирным темным кружком, принял решение начать штурм гестапо. Он послал группу разведчиков - пять солдат, чтобы они пробрались через проход в заборе и начали подползать к главному дому,

Примерно в ста пятидесяти метрах от подъезда, когда уже

разведчикам была видна большая доска с надписью: "Государственная тайная полиция", их заметили гестаповцы и сильным огнем заставили прижаться к земле.

Тогда старший в группе разведчиков выстрелил из ракетного пистолета, с тем чтобы, как было условлено заранее, вызвать этим сигналом огонь нашей артиллерии.

И вот снаряды начали рваться во дворе гестапо, точным попаданием наши артиллеристы разрушили несколько бронированных колпаков.

Тем временем под огневым прикрытием артиллерии вторая рота штурмовавшего батальона броском выдвинулась к смелым разведчикам. Теперь со двора рота открыла огонь по основному зданию - по тюрьме "Колумбия", по подземному бункеру, верхняя часть которого трехметровой бетонной горой возвышалась посреди заасфальтированной площадки.

Пока шел бой внутри двора, еще две роты этого батальона подползли с тыла и окружили здание. Гестапо было взято в огненное кольцо.

Прошло еще несколько часов. Гранатами и автоматами наши бойцы прокладывали себе дорогу к вестибюлю основного здания - к одиночным камерам "Колумбии", которые было удобно превратить в Доты, к подземельям бункера, где размещались электростанция, узел связи, где сами гестаповцы в опоследние месяцы проводили большую часть времени, укрываясь от воздушных налетов.

Солдаты, близко подобравшиеся к окнам здания, заметили, что из некоторых амбразур торчат короткие трубы дымоходов. Похоже было на то, что свои застенки гестаповцы обогревали в зимние месяцы железными печурками - в Берлине не хватало топлива для центрального отопления.

Но в эти минуты, пока бой кипел во дворе, они сжигали в железных печурках секретные документы, кипы бумаг, горы папок, штабеля дел, донесений, досье, - сжигали в панике, в безумной спешке, ибо каждую минуту в здание могли ворваться русские солдаты.

И к дыму от разрывов снарядов, к густой пыли, поднимавшейся к небу, здесь, во дворе гестапо, примешивалась еще и густая сажа, хлопьями летевшая из окон, носившиеся по воздуху полуобгоревшие листы бумаги, издали похожие на диковинных черных птиц.

Дым столбом валил изо всех труб, из окон, из дверей, снесенных взрывной волной, густой дым, как черный флаг, поднимался над зданием гестапо, разнося по небу пепел сгоревших архивов. И далеко отовсюду был виден этот дым над

"домом Гиммлера", выделяя его среди других горящих зданий квартала.

Во второй половине дня первого мая в окне верхнего этажа здания мелькнул белый платок, но его не сразу заметили бойцы батальона, увлеченные азартом боя.

Постепенно стихли выстрелы. Из подъезда главного здания, из тюрьмы "Колумбия", из бункера начали один за другим выползать во двор здоровенные, хотя и исхудавшие, с темными от сажи лицами матерые эсэсовцы и, складывая во дворе оружие, выстраивались в колонну около стены.

Это сдавался многочисленный гарнизон еще одной гитлеровской цитадели гестапо. Понимая, что пришел конец, что война проиграна, эти гестаповцы все же ожесточенно сопротивлялись. Что их заставляло так драться в эти последние часы, перед лицом неминуемого поражения?

Поведение "людей Гиммлера" объяснялось просто. Всех их связывала круговая порука, цепь чудовищных преступлений, потоки пролитой крови, неслыханные зверства в концлагерях, нечеловеческая жестокость и замыслы по уничтожению, истреблению целых народов.

Первого мая они выкинули белый флаг капитуляции над домом гестапо. По сути дела, с белым флагом колонны гестаповцев начали отсюда свой маршрут прямо на скамью подсудимых, которая ожидала их в Нюрнбергском международном трибунале.

...Я помню небольшой городок к востоку от Одера. Немцы так быстро откатились, что не защищали город, а наши части, войдя в него (без боя, тотчас продвинулись дальше на запад, и поэтому городок не пострадал от огня, сохранились его улицы, магистрат, тюрьма и дом гестапо.

Это было едва ли не самое крупное здание в центре города, и в нем временно разместилась наша комендатура. Заночевав в городе, мы утром позавтракали в полуподвальном помещении столовой комендатуры, служившей еще недавно баром для гестаповцев.

Был ясный солнечный день, по-весеннему свежий. Сквозь раскрытые окна в продолговатое помещение бара проникал дневной свет, на полу, на потолке шевелились солнечные зайчики, и это несколько смягчало мрачноватый колорит зала, стилизованного под средневековый кабачок.

Вдоль стен бара, сделанные в форме толстых пивных бочек, располагались столы для пива, огромная бочка-резервуар покоилась в углу помещения, стены которого были наполовину обшиты темным деревом.

Здесь поражало обилие оленьих рогов, больших и малых, они украшали собой все стены, висели и над камином, обложенным разноцветными изразцами. Я уже не раз замечал это стойкое пристрастие эсэсовцев к охотничьим трофеям, оленьим рогам, медвежьим чучелам, это стремление вывешивать рога в гостиных, столовых, барах. Вместе с тем гестаповцы, важно сидевшие под тенью от раскидистых рогов оленей, в жизни были главным образом охотниками за людьми, которых они пытали в своих застенках.

Я завтракал, сидя за пивным столиком, и невольно представил себе, как, стуча каблуками, спускались в бар гестаповцы, чтобы "отдохнуть" после допросов.

Они чувствовали себя здесь весьма уютно, эти молодчики, возрождавшие самое дикое варварство и оставившие далеко позади себя палачей мрачною средневековья... Гудел огонь в камине, красные блики гуляли по гладкому зеркалу изразцов, освещая оскаленные пасти медвежьих чучел, темное дерево бочек, ветвистые рога.

Всю ночь гудели в баре гортанные голоса, слышалась пьяная похвальба, играла радиола, сменялись сентиментальные песенки, и захмелевшие следователи звонко чокались зелеными пивными кружками. А потом!.. Потом они, громко топоча о каменные ступени, поднимались в свои кабинеты или же переходили в соседнее полуподвальное помещение внутренней тюрьмы.

Мы пробыли недолго в этом городе, но все-таки я заглянул в коридор тюрьмы. Он был набит камерами, как стручок горохом. Это были одиночки мрачные каменные норы с бетонным полом, на который невозможно было лечь без риска схватить воспаление легких. Зимой на таком полу и стоять холодно.

В правом углу камеры располагалась железная кровать, слева выдвижной столик, и больше ничего, если не считать оборудованием камеры деревянный козырек на окне за решетками. Он закрывал от узника почти все небо и солнечный свет.

В коридоре внутренней тюрьмы мы нашли второпях брошенные наручники, какие-то цепи непонятного назначения, обломки орудий пыток. К ним, кстати говоря, принадлежали и узкие металлические шкафы, куда запирался человек, лишенный возможности пошевельнуться. Так он стоял там навытяжку по многу часов, пока не терял сознание.

В верхних этажах здания находились отделы гестапо, двери многочисленных секций. Как ни мал был городок, но его гестапо выглядело лишь уменьшенной копией берлинского. Здесь находилась одна из ячеек той гигантски разветвленной паучьей

сети, которой гестапо опутало всю Германию и оккупированные страны.

...Нам довелось побывать в берлинском "доме Гиммлера" через пару дней после того, как батальон армии Берзарина заставил эсэсовцев выйти из своих убежищ с поднятыми руками. Но за дом гестапо дрались, конечно, не гитлеровские сановники, не генералы и группенфюреры, а рядовые солдаты, армейские офицеры и гестаповцы нижних чинов.

Главные же тузы, эсэсовские заправилы, к тому времени уже разбежались кто куда: одни через линию фронта пробрались в Южную Германию, другие скрылись в берлинском подполье, третьи, с фальшивыми паспортами, с чемоданами, набитыми валютой и золотом, уже грузились на пароходы, чтобы под чужими именами обосноваться в Испании и Португалии, в нейтральных странах, в республиках Южной Америки.

Через несколько дней после падения Берлина дом гестапо еще носил следы упорных и жестоких боев. Даже улицы, примыкавшие к этому зданию, берлинцы еще не успели очистить от завалов, баррикад и обломков разрушенных зданий.

Около ступенек вестибюля "дома Гиммлера" валялись обломки оружия, груды камня, у входа в кабинеты болтались на погнутых петлях двери, сорванные взрывами, в захламленных кабинетах виднелась обгоревшая мебель, сломанные сейфы, разбитые ящики картотек с доносами и делами, досье на всех подозрительных берлинцев, - эти ящики занимали целые стены.

Во многих кабинетах потолки и стены зияли дырами, э полы были завалены ворохами бумаг, которые гестаповцы все-таки не успели сжечь. Всюду лежали разорванные папки, растоптанные портреты Гитлера и Гиммлера, и весенний ветер, врывавшийся через окна, шевелил всю эту груду бумажного хлама, выволакивал из кабинетов в коридоры и здесь тащил по паркету вдоль, казалось, бесконечного ряда дверей.

Обилие брошенных бумаг и дел поражало нас, как, впрочем, и то, что они пока валялись здесь в комнатах, в коридорах, на лестницах "дома Гиммлера", а не хранились уже на стеллажах архивов.

Но такие уж тогда были дни! Наших людей заботило главное - свалить ненавистное гитлеровское государство, а затем уже со временем разобраться и в гестаповских документах и бумагах.

Естественно, что нам чаще всего попадались папки с делами последних месяцев и среди них особенно много из тех, что были помечены шифром: "Зондеркомиссион". Тан отмечались бумаги "особой комиссии", созданной гестапо после неудавшейся

попытки убить Гитлера в его ставке, в Растенбурге.

Уничтожая миллионы ни в чем не повинных людей, распространив свою паучью сеть провокаторов и осведомителей на всю страну, гестапо тем не менее не смогло уберечь своего фюрера от покушения на его жизнь. Но зато оно отвечало на эти покушения волною массовых арестов, бросая в тюрьмы сотни заподозренных немецких военных служак, офицеров и генералов.

На Гитлера покушались не противники, воюющие за линией фронта, не прогрессивные деятели Германии, загнанные нацистами в подполье. Фюрера пытались убить его же приближенные, когда увидели, что гитлеровская военная машина быстро катится под откос. Эти оппозиционные группки внутри Германии, предвидя крах государства и боясь революционных взрывов в стране, искали лишь возможности, убрав Гитлера, заключить сепаратное соглашение с Англией и США, не ослабляя, а, наоборот, усиливая борьбу на восточном фронте. Должно быть, не случайно в этот день мы находили больше всего бумаг с грифом "особая комиссия" в комнатах гестаповских следователей Старвицкого, Ланге, в кабинете штандартенфюрера Вальтера Хуппенкотена.

Этот молодой юрист по образованию и ярый нацист по убеждениям, специалист по политическим процессам, быстро сделал карьеру в гестапо и в 1944 году был начальником службы безопасности СС. Подписи Хуппенкотена, Ланге, Старвицкого, начальника объединенной разведывательной службы Шелленберга и самого Кальтенбруннера чаще других встречались на бумагах и делах "особой комиссии".

Все эти матерые палачи оказались потом на скамье подсудимых. Их показания, помимо всего прочего, в какой-то мере раскрыли тайну и подробности трех покушений на Гитлера, из которых первое было организовано в провокационных целях самим гестапо.

Это случилось в 1938 году, когда тогдашний начальник гестапо Гейндрих, подозревая о существовании какого-то заговора против нацистского режима, но не обнаружив его следов, решил вместе со своим помощником Шелленбергом организовать провокацию. Гестаповцы решили убедить Гитлера в существовании заговора против него путем раскрытия заговора вымышленного! Само возникновение такой "идеи" как нельзя лучше характеризует гестапо и гестаповцев.

Инсценировка покушения была осуществлена 8 ноября 1938 года в Мюнхене, когда в одном из пивных подвальчиков собрались "ветераны" нацистского движения. В пивную приехал и Гитлер.

Незадолго до этого уголовный преступник, приговоренный к длительному заключению, был выпущен из тюрьмы с условием, что он заложит бомбу в стенных деревянных панелях пивного зала в Мюнхене.

Это и удалось сделать Георгу Елсеру, уголовнику, которого потом гестапо с большой суммой денег переправило через границу.

Бомба взорвалась... но ровно через десять минут после того, как Гитлер покинул пивную. Чтобы придать мнимому покушению окраску полной достоверности, Гейндрих и Шелленберг решили пожертвовать даже несколькими видными нацистскими функционерами, старыми членами партии, которых убила бомба.

Провокация дала гестаповцам новый предлог для массовых арестов, а неуравновешенному и без того бесноватому Гитлеру это покушение внушило страх за свою жизнь.

Но если первое покушение было инсценировкой, то второе - в марте 1943 года - подготавливалось группкой оппозиционных генералов на центральном фронте, куда Гитлер прилетел из своей ставки.

Бомба замедленного действия была упакована вместе с бутылками коньяка, который в качестве подарка вез адъютант Гитлера полковник Брандт одному офицеру в ставку.

И только потому, что в самолете оказалось слишком холодно, не сработал детонатор.

Один из заговорщиков вылетел вслед за Гитлером в его ставку Растенбург и успел извлечь бомбу из пакета, прежде чем ничего не подозревавший полковник Брандт вручил этот "подарок" знакомому офицеру.

На этот раз бомба не взорвалась в самолете, но зато она взорвалась примерно через год уже в Растенбурге, когда в ставку Гитлера приехал с докладом полковник Штауфенберг, недавно вернувшийся из Африки без руки и глаза. В портфеле Штауфенберга среди бумаг лежала точно такая же бомба замедленного действия, которая не сработала в самолете Гитлера.

Штауфенберг собирался незаметно оставить свой портфель там, где будут находиться Гитлер и Гиммлер. Однако улучить такой момент было трудно, и несколько раз Штауфенберг уже намеревался было оставить свой портфель, но в это время Гитлер выходил из кабинета или же должен был удалиться сам полковник Штауфенберг.

Двадцатого июля полковника Клауса Шенк фон Штауфенберга вызвали в ставку для доклада Гитлеру. Штауфенберг решил, что лучшего случая у него не будет, тем более что гестапо уже подбирало нити к раскрытию заговора и

промедление с покушением грозило полным его провалом.

В своей книге "Двойная игра" английский журналист Иан Колвин рассказывает об этом совещании, которое из-за жаркой погоды состоялось не в бетонном бункере, как обычно, а в легком деревянном домике с распахнутыми настежь окнами.

Кроме Гитлера на совещании находились два его адъютанта - генерал Шмундт и знакомый нам уже полковник Брандт, секретари и несколько офицеров, ожидавших очереди для докладов.

Портфель с бомбой Штауфенберг положил на пол, рядом с ногой Брандта, и тот, словно бы предчувствуя что-то, слегка отодвинул портфель в сторону. Стол Гитлера находился всего в трех шагах от бомбы.

Штауфенберг незаметно раздавил пальцами капсюль взрывателя, рассчитанный на десятиминутную выдержку.

Затем, как и было условлено, его вызвали к телефону, и Штауфенберг быстро вышел из домика в полной уверенности, что взрыв бомбы не оставит Гитлера живым.

Уже в парке, окружавшем цитадель ставки, Штауфенберга догнал оглушающий грохот взрыва. Оглянувшись, он увидел столб дыма над домиком и людей, бегущих с носилками.

Через полчаса Штауфенберг был уже на аэродроме, откуда вылетел в Берлин, тут же доложив штабу заговорщиков, что Гитлер убит... Однако он ошибся.

Заговорщики спасовали, как только стало известно, что Гитлер остался невредим. Страх сковал их. Никто не предпринял решительных действий, и ряды заговорщиков распались. Это еще раз подтверждает, что заговор был направлен не против фашистского строя вообще, а только против Гитлера, упорно тянущего Германию в пропасть национальной катастрофы.

Еще гестапо не успело схватить заговорщиков, как в их среде начались самоубийства. Командующий резервной армией генерал Фромм, пытаясь спасти свою шкуру, тут же приказал расстрелять своего начальника штаба Штауфенберга, совершившего покушение, и других офицеров, участвовавших в заговоре.

Генерал фон Тресков, находившийся на линии фронта, вышел из своего блиндажа, чтобы взорвать рядом с собой гранату. И тут же умер. Генерал Бек также пытался покончить с собой, но неудачно, и его, раненого, пристрелили соучастники заговора ночью того же дня, прямо во дворе штаба заговорщиков.

Почему же бомба, разорвавшаяся в Растенбурге, не убила Гитлера? Его стол находился в центре комнаты, и волна взрыва, поток осколков ударили в окна, разрушили легкие стены, а в центре помещения образовалось мертвое пространство. Когда

слегка рассеялся дым, уцелевший Кейтель увидел на полу комнаты мертвые тела адъютанта Гитлера Брандта, нескольких секретарей. Гитлер, оглушенный взрывом, тоже лежал на полу, с опаленной одеждой и волосами.

Ночью, придя в себя, Гитлер выступил по радио и публично признал существование заговора против его правительства. Он прокричал перед микрофоном, что "жалкая кучка предателей из военной клики пыталась убить меня и других представителей верховного командования!..".

Гиммлер, которого в момент покушения не было в Берлине, срочно вернулся, и начались массовые аресты всех, кто хоть в малейшей степени подозревался как противник нацистского режима.

Любопытно, что при обыске в одном из тайных сейфов заговорщиков среди других бумаг была обнаружена история болезни капрала Адольфа Гитлера, относящаяся ко времени первой мировой войны, когда Гитлер лежал в госпитале. Врачи отмечали у больного признаки истерии и настаивали на исследовании рефлексов Гитлера у психиатров.

И должно ли вызывать удивление то, что Гитлер впоследствии не раз впадал в дикую ярость, что в последние месяцы нацистского режима у него случались припадки неудержимого гнева, переходящие в состояние меланхолии, когда Гитлер часами ходил по комнате, вспоминая свое детство или же беседуя со своими приближенными на всякого рода мистические темы.

Вечером того дня, когда было совершено покушение, Гитлер отправился на встречу с Муссолини и военным министром Италии Грациани. Здесь он снова впал в бурную истерию, грозя всем своим врагам страшными карами и понося немецкий народ, который недостоин иметь такого вождя, как он - Гитлер.

А в это время в Берлине все кварталы в центре были заполнены солдатами. Перед входами в метро стояли орудия. Ошеломленные и испуганные берлинцы не знали, чему приписать чрезвычайные меры эсэсовцев.

В тот же вечер вышли экстренные выпуски газет с траурными рамками. Геббельс написал успокоительное воззвание к населению, в котором сообщал, что при покушении на фюрера убито семь человек из его окружения, а сам фюрер спасся чудом.

На следующий день газеты уже печатали списки схваченных гестапо. Берлинцы на улицах да и в домах разрешали себе лишь шептаться о событиях 20 июля. Всюду могли быть "уши гестапо". Многих арестовывали лишь за одно неосторожное слово о заговоре. Опасно было даже иметь печальное лицо.

Роберт Лей написал статью о "высокородных свиньях с голубой кровью, которых надо уничтожить с корнем". Имелись в виду офицеры-заговорщики, принадлежавшие к титулованной немецкой аристократии. Появились их портреты на газетных полосах - "высокородные свиньи" были сняты в нарочито смешных позах: со скорбными лицами без подтяжек, руками поддерживающие штаны.

В Берлине усиленно заработали так называемые "народные суды". Каждый, кто хоть что-либо знал о планах заговорщиков, мог быть приговорен к смертной казни. Судьи заседали в ярко-красных мантиях, вместо "гутен морген" приветствуя друг друга возгласами "Хайль Гитлер". Их ярость усиливалась неудачами нацистов на фронтах.

24 августа перед советскими армиями капитулировала Румыния и объявила войну гитлеровской Германии. Немецкий фронт на Балканах зашатался.

5 сентября под ударами союзных войск на западе пали Брюссель и Антверпен.

"Народные суды" выносили смертные приговоры - тысячами.

Вскоре тюрьма гестапо "Колумбия" была до предела заполнена схваченными по спискам заговорщиками. Все они были казнены в разные сроки, некоторые буквально за несколько дней до падения Берлина и смерти самого Гитлера.

Вот почему нам в здании гестапо попадались в таком количестве брошенные наспех "дела" "особой комиссии".

Трудно передать то чувство гнева и омерзения, которое охватывало каждого советского офицера, когда он переступал порог логова Гиммлера! Ведь именно здесь глава гестаповцев еще в начале войны с Советским Союзом подписал чудовищную "установку" на уничтожение... тридцати миллионов славян.

"...Мы хотим добиться, чтобы на Востоке жили исключительно люди чистой немецкой крови..." - писал Гиммлер вдогонку гестаповцам и эсэсовцам из групп специального назначения полиции безопасности и СД, следовавших за германскими армиями в Россию.

Ему вторил Мартин Борман, заместитель Гитлера по руководству нацистской партией: "...Славяне должны на нас работать. Если они нам более не нужны, они могут умереть... Рост славянского населения нежелателен..."

И снова Гиммлер через два года объявлял своим гестаповцам: "...Вопрос о том, процветает ли данная нация или умирает с голоду, интересует меня лишь постольку, поскольку представители данной нации нужны нам в качестве рабов для нашей культуры, в остальном их судьба не представляет для меня

никакого интереса..."

Таковы были "идеи" этих преступников, сидевших в кабинетах "дома Гиммлера".

"Учреждение Эйхмана"

В другом доме гестапо, на Курфюрстенштрассе, 116, располагалось так называемое "учреждение Эйхмана", кабинеты секции Б-4, занимавшиеся еврейской проблемой. Летом сорок третьего года в Берлине начали разрабатывать планы "окончательного разрешения еврейского вопроса", что попросту означало полное физическое уничтожение всех евреев.

В одном из кабинетов секции Б-4 за большим дубовым столом, в окружении сейфов и шкафов с картотеками, под портретом своего тезки Гитлера, сидел крупноголовый худощавый человек, с большими, как у летучей мыши, растопыренными ушами, острым носом и узкими сухими губами оберштурмбанфюрер СС Адольф Эйхман, которому фюрер лично поручил руководить арестами всех евреев в европейских странах.

Эйхман не принадлежал к клике высших гитлеровских чиновников. Его эсэсовский чин казался не очень важным, а главное, что сам Эйхман старался не выставлять себя напоказ, порой он избегал даже подписывать важные документы, предоставляя это право своим заместителям.

Но эти на первый взгляд малозаметные посты Эйхмана не должны никого обмануть. Эйхману Гитлер и Гиммлер давали полную свободу действий и полноту власти, в распоряжении Эйхмана находился огромный аппарат гестаповцев в Берлине, в провинции, в оккупированных странах.

Преступник по убеждению и призванию, в прошлом мелкий чиновник, Эйхман возвысился в гитлеровском государстве, доказав свою готовность совершать чудовищные преступления безо всяких моральных сомнений и угрызений совести, но зато с неукоснительной последовательностью, преступным размахом и жестокостью.

Эйхман был палачом не только евреев, но и польского и других славянских народов. Именно при реализации так называемого плана уничтожения народов Восточной Европы Эйхман впервые заслужил благосклонное "доверие" гитлеровской верхушки.

План этот под названием "Генералплан Ост" предусматривал выселение в Западную Сибирь двадцати миллионов поляков и уничтожение остального населения Польши. После тридцати лет действия этого плана польский народ прекратил бы свое существование.

Документы этого плана пока не найдены в германских архивах, но факт его существования подтверждается докладными записками гестаповцев, обнаруженными письмами Гиммлера, не раз излагавшего главную "идею" плана - уничтожение не только польского государства и его народа, но и народов Чехословакии и, конечно, крупнейшего из славянских народов - русского.

И планы эти были не только бредовыми грезами нацистов. Всюду, где только для этого представлялась возможность, везде, где гитлеровцы оказывались хозяевами над беззащитным населением оккупированных стран, они немедленно приступали к реализации своих намерений.

Адольф Эйхман, назначенный Гиммлером на должность специального референта по вопросам польской выселенческой кампании, рассылал по всем управлениям гестапо директивы и приказы, где значилось количество поездов, заполненных жертвами, тонны груза, маршруты движения, время, рассчитанное на часы и минуты. За цифрами этих расчетов - трагедии миллионов людей, которые замерзали, гибли от голода в созданных Эйхманом этапных, переселенческих лагерях.

Эйхман в Польше "усердствовал" и днем и ночью. Он упрекал своих подчиненных в "чрезмерном либерализме", он заменял солдат вермахта недостаточно жестоких более молодыми и "преданными" идеям Гитлера. Всюду и везде Эйхман стоял на страже главной задачи "Генералплан Ост" - как можно больше истреблять славян.

Эйхман не щадил и детей. Однажды зимой жители оккупированной Варшавы были взбудоражены известием о том, что на вокзале в запломбированных вагонах находятся маленькие дети, полуотдетые, несмотря на жестокий мороз, уже много дней без пищи и воды, дети, обреченные гестаповцами на гибель.

Разметав заслоны солдат, варшавские матери хватали на руки детей в возрасте двух - пяти лет, забирали их в свои дома, где тоже царили голод и холод, чтобы ценой любых лишений спасти ребят, которых Эйхман уже занес в свои расчеты смерти.

Детоубийство в Польше приняло массовые масштабы. Эшелоны Эйхмана следовали один за другим. Это была последовательная программа - переселение, лагеря, уничтожение. Гитлер называл это преступление "укреплением германского духа"!

Адольф Эйхман совершал инспекционные поездки в города Польши, он подстегивал своих подручных, торопил их. На ближайшее время было назначено выселение и истребление около пяти с половиной миллионов поляков. И Эйхман старался педантично выполнять директиву Гитлера и Гиммлера. Если же

какие-либо пункты этой программы остались невыполненными, то в этом меньше всего повинен Эйхман, а только партизаны и отряды освобождения, польские железнодорожники, отказывавшиеся везти поезда смерти, и Советская Армия, громившая гитлеровцев на восточном фронте.

Но положение немцев на восточном фронте пошатнулось уже в 1942 году. Это заставило гестапо пересмотреть очередность программы истребления, и тогда на первый план выдвинулась так называемая "еврейская проблема". В начале года на конференции в Берлине Гейндрихом был представлен обширный план, разверстанный по странам и предусматривавший истребление не менее одиннадцати миллионов евреев.

"Конференция" эта происходила вблизи озера Ваннзее, поэтому в гитлеровских кругах впоследствии этот список получил наименование "Протокола Ваннзее". Он предусматривал истребление евреев в тридцати странах, наибольшее количество евреев предполагалось уничтожить в СССР - около пяти миллионов.

С "Протоколом Ваннзее" был ознакомлен и Адольф Эйхман, присутствовавший на этой "конференции". Ему-то главное управление безопасности поручило контроль и непосредственное руководство истреблением евреев во всех странах.

Отдел Эйхмана в гестапо к тому времени разросся до размеров огромного ведомства. Сам Эйхман заявил, что выполнение "Протокола Ваннзее" он рассматривает как самую важную задачу всей своей жизни. Теперь весь мир знает, что "деятельность" отдела Эйхмана вылилась в преступления, не имевшие себе равных по чудовищному размаху и невиданному зверству во всей истории человечества.

...В конце августа 1944 года майор СС Вильгельм Хеттль, работавший в гестапо, встретился на своей квартире в Будапеште с оберштурмбанфюрером СС Адольфом Эйхманом.

В те дни Румыния уже вышла из войны, советские войска подходили к Балканам, на повестке дня было уже освобождение Польши. По свидетельству Хеттля, Эйхман уже не сомневался, что Германия проиграла войну и для него лично все потеряно.

Эйхман сказал, что его наверняка будут разыскивать после войны, так как он уничтожил миллионы евреев.

- Все-таки сколько именно? - спросил Хеттль.

- Это величайший государственный секрет! - ответил Эйхман. Потом он добавил: - Для тебя, как для историка, я сделаю исключение. Тем более что я не уверен, вернусь ли теперь в Берлин.

- Так сколько же? - снова спросил Хеттль.

Эйхман сказал, что он недавно составлял отчет для Гиммлера, который хотел знать точно, какое число евреев он убил. По подсчетам Эйхмана выходило, что четыре миллиона евреев было убито в лагерях и еще два миллиона умерщвлено другими путями.

- И Гиммлер узнал об этом? - спросил Хеттль.

- Да. Но остался недоволен докладом. По его мнению, число убитых евреев должно было превышать шесть миллионов.

И Эйхман сообщил, что рейхсфюрер решил даже прислать к нему человека из своего статистического бюро, который по материалам Эйхмана составил бы новый отчет.

Сам Эйхман, рассказывая все это, выглядел мрачным и удрученным. Хеттлю показалось - даже в состоянии душевной неуравновешенности. Гестаповец не мог понять, что Же больше печалило Эйхмана: такое же, как у Гиммлера, недовольство цифрой в шесть миллионов убитых или же страх перед возможной карой за преступления?

Что делал начальник отдела Б-4 после этой встречи с Хеттлем неизвестно, как и то, вернулся ли он в Берлин. О нем больше не было слышно в дни разгрома гитлеровского рейха. Эйхман скрылся, избежав скамьи подсудимых на Нюрнбергском процессе. Версия о его самоубийстве, державшаяся много лет, возможно, была создана самими нацистами. Она облегчала кровавому палачу жизнь в тайне подполья, под чужим именем, с чужим загримированным лицом.

И вот только пятнадцать лет спустя, в мае 1960 года, стало известно об аресте Эйхмана. Известие это мгновенно облетело все страны. Только тогда просочились в печать новые факты, свидетельствующие о том, что в мае сорок пятого Эйхман нырнул в подполье по совету Кальтенбруннера, с которым был связан многими годами службы, того самого Кальтенбруннера, который был повешен по приговору Международного трибунала.

Пять лет Эйхман скрывался в глухом уголке Северо-Западной Германии, в Люнебургской пустоши, конечно, не без помощи властей Федеративной Республики Германии или уж во всяком случае при попустительстве ее полиции.

Затем Эйхман счел для себя более безопасным обосноваться в Аргентине, вместе с другими гестаповцами и военными преступниками, которые в разные годы причаливали к берегам Южной Америки в одиночку и группами, а в 1945 году даже на подводной лодке, принадлежавшей тем, кто хотел сохранить эти "кадры" нацистских головорезов.

Эйхман в последние годы скрывался на окраине Буэнос-Айреса под именем сеньора Рикардо Клемента. Однажды к нему

постучались двое: сотрудник гитлеровской разведки австриец д-р Лангер и голландский журналист А. Сассен, в прошлом эсэсовец. Свои откровенные беседы с Эйхманом они записали на магнитофон. Подлинность этих записей проверена и не вызывает сомнений. Да и сам Эйхман впоследствии не отрицал существования такой стенограммы.

Своим единомышленникам, гитлеровским журналистам, он сделал ряд чудовищных признаний. Вот некоторые из них: "...Это было в Берлине, в моем кабинете на Курфюрстенштрассе. Война близилась к концу. Все было проиграно. Я вызвал, кажется, всех моих офицеров (это были последние дни моего управления) и, прощаясь с ними, торжественно сказал: "Если уж так должно быть, я охотно и о радостью сойду в могилу, сознавая, что вместе со мной сошли туда же пять миллионов врагов рейха".

Помню, что произнес я эти слова очень твердо, так как я был очень счастлив. Если уж и придется мне сдохнуть, как собаке, то хоть не одному.

Я должен сказать вам совершенно откровенно, что если бы из 10,3 миллиона евреев было убито 10,3 миллиона, то я был бы счастлив и тогда мог бы сказать: "Хорошо, что мы уничтожили врага". Но судьба захотела, чтобы большая часть этих евреев осталась жить. Я утешаю себя словами: "Так было угодно судьбе и провидению..."

На вопрос, говорил ли Эйхман о том, что для победы в войне следовало бы поставить к стенке полмиллиона немцев, Эйхман ответил: "...Я сказал об этом тогда Мюллеру. (Начальник гестапо.) Я сказал, что мы должны сначала поставить к стенке пятьсот тысяч немцев и только тогда мы имели бы право долбануть по врагу". "...Я делаю все для моей жены, точно так же как я все делал для Германии, - заявил в том же интервью "коллега Эйхман". - Моя семья - только частица Германии. Когда-то Мюллер сказал мне, что, если бы у нас было пятьдесят Эйхманов, мы наверняка бы выиграли войну".

"Моим последним подарком жене, - вспоминает там же. Эйхман, - был портфель, наполненный крупой, и полмешка муки. Потом я дал ей ампулы с ядом. Я сказал: "Если придут русские - надкусите ампулу, а если американцы и англичане - не смейте делать этого". Когда пришли американцы, моя жена взяла эти ампулы и бросила их в озеро Альт-Аусзее". "...Кажется, это был один из первых дней мая 1945 года. После обеда я поехал в Лозерханг. Там были летние виллы. В такой вот элегантной вилле и жил начальник полиции безопасности и службы безопасности Эрнст Кальтенбруннер. Его адъютант, мой давнишний коллега штурмбанфюрер Шейдлер, принял меня и доложил о моем

прибытии; я вошел в одну из комнат, за столом сидел Кальтенбруннер. На нем был китель фельдмаршала рейха, лыжные брюки, великолепные лыжные брюки...

Кальтенбруннер повернулся ко мне и спросил: "Итак, что ты теперь собираешься делать?" Я сказал, что пойду в горы. Он заметил, что это было бы на руку и рейхсфюреру Гиммлеру, тогда он мог бы иначе говорить с Эйзенхауэром, который знает, что если уж Эйхман в горах... то он не сдастся, ведь он сдаться не может. Вот так и были улажены мои служебные дела, я стал вроде как бы руководителем партизанской войны. Распрощался я с Кальтенбруннером официально, без особых эмоций. С его стороны их тоже не было. Я оставил его за столом, на котором был разложен пасьянс..."

Итак, Эйхман с бандой своих подчиненных, которых он сам именует "разным сбродом", ушел в горы, но никакой партизанской войны они там не вели, просто спасали свои шкуры.

Эйхман рассказывает: ...Эрнст Калътенбруннер прислал ординарца, который передал такой приказ: "Рейхсфюрер приказывает в англичан и американцев не стрелять".

...На следующий день ко мне обратился Бургер: "Мы тут посоветовались вот о чем: вас разыскивают как военного преступника, а нас не разыскивают. Следовательно, если бы вы скрылись и назначили другого командира, вы оказали бы своим коллегам большую услугу, поскольку в англичан и американцев нам и так стрелять нельзя, а русские сюда не придут, ведь это сфера влияния американцев".

Так Эйхман объясняет, как он очутился в лагере Обердахштеттен, но уже не под своей фамилией, а как унтер-штурмфюрер Экман. Там он и оставался вплоть до начала января 1946 года. Затем, почувствовав опасность, Эйхман стал готовиться к побегу из этого лагеря. Бывшие гитлеровские офицеры и эсэсовцы, догадывавшиеся, кто скрывается под личиной Экмана, помогли ему в этом. "...Полагаю, что я могу опустить то, каким образом я бежал, вспоминает Эйхман, - и перейти к лету 1947 года.

В это время я очутился в лесах, в округе Целле, где мне показали целую кипу газет, которые занимались моей особой. "Об убийце Эйхмане", "Где прячется убийца?", "Кто такой Эйхман?"... Я стал осторожным, когда прочитал фамилию Экман... прочитал буквально, что этот пресловутый Экман... сбежал из лагеря... хорошо замаскированный, ему только известными тропами, и должен якобы пробраться к великому муфтию. (Амин эль Хусейн - великий муфтий в Иерусалиме. Ставленник германских фашистов.) ...Тогда я подумал, вспоминает Эйхман: - "Да, я

смылся как раз вовремя"{3}.

Да, он смылся вовремя с помощью все тех же своих друзей и единомышленников, смылся так, что многие годы Эйхмана не могли найти. Но вот наступил один из майских вечеров, когда в Буэнос-Айресе Эйхман шел к своему дому от автобусной остановки, поглядывая на прохожих. Несколько мужчин курили неподалеку, о чем-то судачили женщины, ничто не предвещало опасности.

Но предчувствия обманчивы. Когда около тротуара остановился черный автомобиль с закрытым кузовом, Эйхман-Клемент не обратил на него внимания, лишь слегка посторонился. Ничем не встревожил его и обычный вид четырех молодых людей, выскочивших из машины на тротуар и, видимо, куда-то спешивших.

Но вот они окружили Эйхмана-Клемента, и один из них больно толкнул его локтем и произнес шепотом:

- Стойте спокойно, господин оберштурмбанфюрер!

Эйхман рванулся, но его держали крепко. Сильный удар по голове чем-то жестким и вместе с тем эластичным лишил Эйхмана сознания. Его втащили в автомобиль, который тотчас направился к аэропорту.

Так был пойман Адольф Эйхман. Он очутился вскоре в одной из тюрем государства Израиль. Здесь его держали до начала процесса, который, по логике событий и согласно чаяниям всей мировой общественности, должен был перерасти в гневный суд над всеми соучастниками злодеяний Эйхмана, и по сей день занимавшими видные посты в правительстве Федеративной Республики Германии. Около года длилось следствие, израильские власти из месяца в месяц оттягивали начало процесса, хотя следователями было изучено четыреста тонн документов и три тысячи страниц показаний самого Эйхмана.

Причина этой оттяжки была очевидна. Шла обработка показаний Эйхмана, и правительство Израиля, пойдя на сговор с правящими кругами Западной Германии, стремилось оградить бывших нацистов, ныне здравствующих на высоких постах в бундесвере и в государстве, от угрозы разоблачения.

В канун начала процесса западногерманские газеты запестрели кричащими снимками: "Эйхман отдыхает в тюрьме", "Задумчиво смотрит вдаль", "Убийца в ночных туфлях".

В сообщениях газет, всерьез обсуждающих "проблемы защиты Эйхмана", читатель не находил гневного осуждения убийцы миллионов людей, а лишь сенсационный интерес, густо приправленный сочувствием.

Западные газеты писали о том, что рядом с Эйхманом на

скамье подсудимых будут призраки Гитлера и Гиммлера и других нацистских главарей. Но полно, только ли призраки прошлого? А те двенадцать министров и статс-секретарей правительства Аденауэра, которые в свое время работали на Гитлера, а бывший первый заместитель Эйхмана хауптштурмфюрер Вруннер - ныне преуспевающий хозяин ночного кабака, а Глобке, так же, как и Эйхман, занимавшийся еврейской проблемой, но только по другому ведомству - министерству внутренних дел, а триста восемьдесят помощников Эйхмана, которых он вначале намерен был назвать в среде нынешних высокопоставленных чиновников Западной Германии?

Не зря западные газеты обсуждали проблемы защиты Эйхмана. В обход существующих законов правительство Израиля назначило защитником Эйхмана адвоката из Западной Германии - Серватиуса, в свое время защищавшего на Нюрнбергском процессе нацистского главаря Заукеля. И более того, гонорар адвоката оплачивался из специального фонда канцлера, которым распоряжался не кто иной, как тот же бывший соратник Эйхмана статс-секретарь Глобке!

О многом знал Эйхман, внезапно, перед началом процесса, "потерявший память". Вне всякого сомнения, что от Эйхмана кровавые следы ведут ко многим матерым нацистам, что, кроме всего прочего, именно Эйхман мог пролить свет и на судьбу Мартина Бормана, заочно приговоренного Международным военным трибуналом к смертной казни. Возможно, Борман и до сих пор скрывается, ибо найдены его письма, написанные уже после мая 1945 года. Одиннадцатого апреля 1961 года в Иерусалиме в Народном доме начался этот процесс. Он длился много месяцев. Эйхман в зале суда находился в прозрачной, не пробиваемой пулями кабине из стекла. С помощью особого телефона он разговаривал из этой кабины со своими защитниками и судьями. Эйхман, приговоренный судом к смертной казни, во время процесса сидел в стеклянной клетке, как зверь, выставленный для обозрения. Но сколько еще подобных нацистских зверей, читая газеты с отчетами об этом процессе, чокались пивными кружками за столиками ресторанов и подвальчиков Западной Германии! Сколько еще существует нераскрытых преступных тайн, которые нацисты скрыли в сожженных архивах, в затопленных контейнерах, подобно тем, что в последние дни войны были опущены на дно австрийского озера Топлицзее.

Мы узнали об этом из австрийской газеты "Фолькштимме", сообщившей в 1960 году о поисковых группах, работающих на озере. По их предположениям, в затопленных контейнерах

находятся кроме золота и драгоценностей еще и документы: дневники Гиммлера, секретная переписка Кальтенбруннера и архивы Эйхмана.

Среди этих бумаг хранятся и личные дела большого числа нацистов, многие из них и ныне служат в правительстве и бундесвере Западной Германии. Возможно, там находятся и списки доверенных лиц эсэсовцев, которые в 'свое время основали за границей торговые фирмы и сейчас содержат явки бежавших нацистов - эти организационные центры подпольного неонацистского движения.

Поисковые группы, куда входят бывшие участники немецкого и австрийского движения Сопротивления, надеются также разыскать в контейнерах протокол и распределительный список так называемого "Страсбургского совещания", состоявшегося в октябре 1944 года.

На этом совещании финансовые магнаты гитлеровской Германии договорились, как им спрятать свои исчисляющиеся миллиардами богатства. Валютные ценности были ими вложены в банки нейтральных стран на имена подставных лиц, которые не знают друг друга и могут получить деньги лишь сообща.

Все эти ценности были награблены нацистами в оккупированных странах, украдены у народов Европы, оплачены смертью бесчисленного числа жертв фашизма и концлагерей, ведь даже и они являлись для нацистов весьма "доходными предприятиями".

Во всех мировых банках имеются подобные таинственные вклады, особенно их много в Швейцарии.

Но в 1964 году истек срок хранения швейцарскими банками этих вкладов и ценностей. И если они не будут востребованы вкладчиками, то по закону, принятому швейцарским парламентом, все ценности станут собственностью швейцарской федеральной казны.

Это обстоятельство встревожило многих неонацистов и весьма обострило борьбу вокруг секретных документов на дне озера Топлицзее. Различные фашистские организации, действующие в Латинской Америке, Испании, ФРГ, Австрии, предпринимали одну за другой нелегальные попытки добыть эти контейнеры с картотекой подставных лиц.

Особенно старалась секретная служба бывшего нацистского генерал-лейтенанта Рейнгарда Гелена, сделавшего еще при Гитлере карьеру обер-шпиона. Сейчас Гелен руководит военно-шпионской службой Федеративной Республики Германии.

Служа Гитлеру, Гелен создал разведывательный архив большого значения, часть которого ему удалось спасти во время

войны. Тайные щупальца "Серой руки", как называют организацию Гелена в Германии, тянутся к озеру Топлицзее, чтобы пополнить этот архив. Не только Гелену, но и многим видным нацистам, в свое время бежавшим в Испанию и Южную Америку, очень хочется, чтобы секретные контейнеры попали в "надежные руки".

И вот подводные телевизионные камеры обнаружили на дне озера контейнер с... фальшивой английской валютой!

Теперь стало известно, что Гитлер давно уже стал фальшивомонетчиком. Он дал директиву еще в начале войны покупать на фальшивые деньги сырье и оборудование, снабжать этими деньгами тайных агентов, всячески подрывать экономику других государств.

В главном управлении имперской безопасности существовала особая группа под названием: "Технические вспомогательные средства". Она-то и изготовляла фальшивые документы и деньги под руководством "специалиста" оберштурмбанфюрера СС Бернхарда Крюгера.

"Операция Бернхард" - это операция фальшивомонетчиков, строжайше засекреченная, тайная тайных эсэсовцев.

Они начали с фунтов стерлингов. "Трудились" долго. Надо было подобрать бумагу, одинаковую по фактуре с оригиналом, печать и клише, точные рисунки с цветовыми оттенками. Начиная с 1943 года нацисты, причастные к "операции Бернхард", упаковывали в пачки сотни тысяч поддельных фунтов стерлингов.

Кальтенбруннер продолжал эту операцию до последних дней войны. Когда к Берлину приблизились наши армии, "производство" фальшивых денег перебазировалось из концлагеря Заксенхаузен в одну из тайных горных шахт Австрии. Здесь молодчики Кальтенбрувнера и печатали американские доллары, только быстрое продвижение союзных войск заставило нацистов взорвать печатные машины.

Но клише, рецептура и фальшивые банкноты были упакованы в специальные ящики.

В начале мая, когда пал Берлин, по горной дороге к местечку Бад-Аусзее, где находился в то время Кальтенбруннер, двигалась колонна тяжело нагруженных машин. Она но смогла преодолеть крутые подъемы. К тому же у одной машины сломалась ось. Колонне не удалось тогда добраться до Бад-Аусзее, и часть ящиков полетела на дно другого озера, находившегося неподалеку от застрявшей колонны, - Топлицзее.

Теперь ящики с фальшивой валютой нацисты хотят также извлечь со дна озера. Это "бумажное оружие Гитлера" влечет к себе подпольные фашистские организации. Они-то уж сумеют им

воспользоваться.

И вот осенью шестьдесят третьего года австрийцы увидели около Топлицзее жандармские патрули. И днем и ночью они дефилировали вдоль берегов. Уж очень неспокойно было около озера.

В этот некурортный уже сезон гостиницы во всех близлежащих к озеру городках и селениях оказались переполненными "туристами". Они проявляли горячий интерес к живописным окрестностям. Не отставали от них в своем рвении и журналисты, австрийские и зарубежные. Они тоже обосновались вокруг Топлицзее, с нетерпением ожидая сенсационных известий.

В конце октября месяца был выловлен в озере... труп девятнадцатилетнего водолаза Альфреда Эгнера из Мюнхена. Как выяснилось, некие Фрейбергер и Шмидт уговорили молодого Эгнера предпринять поиски на дне озера, но в строжайшей тайне.

В воскресный день рано утром Эгнер опустился на дно озера. А днем Фрейбергер сообщил родителям Эгнера, что сын их утонул, так как оборвалась предохранительная веревка. Между тем Эгнер был опытным водолазом и имел отличное снаряжение.

Соучастники Эгнера скрылись. Может быть, Эгнер и нашел какие-то контейнеры на дне озера, поплатившись за это жизнью, и его просто убили фашисты, чтобы оставить все в тайне?

Во всяком случае, это было уже не первое таинственное происшествие и убийство в районе озера Топлицзее.

Воистину, всюду, где появляются гестаповцы, нацисты, бывшие и новоявленные, там везде по их кровавому следу идет смерть.

Я снова вспоминаю двор, окруженный каменным забором. Асфальт, изрытый бомбами и минными разрывами. Смрад от полусгоревших трупов, небрежно и в спешке закопанных тут же позади дома, в бомбовых воронках, в земляных щелях. И свежий майский ветер над Берлином, постепенно выдувавший из здания, со двора, из бункера этот тяжкий трупный запах, смешанный с гарью и дымом.

...Солдаты генерала Берзарина, штурмовавшие здание гестапо, могли пожалеть лишь об одном: они не нашли в этом доме трупа самого Гиммлера.

Падение шпандауской цитадели

Приближалось окончание битвы за Берлин, и волна нашего наступления катилась уже к берегам Хафеля и Эльбы. Это были последние дни апреля. Случайно, по дороге к Эльбе, около города Кладова я впервые услышал о Шпандауской крепости, встретив "газик" седьмого отделения политотдела 47-й армии.

В машине рядом с инструктором отдела капитаном

Пескановским сидел молодой немецкий лейтенант в фуражке с высокой тульей, из-под блестящего козырька которой поблескивали скорее удивленные, чем испуганные глаза, жадно осматривающие все вокруг. Офицер был при оружии, что само по себе казалось очень странным, и вообще держался не как пленный, а как парламентер, уверенный в своей безопасности.

Машина Пескановского шла от линии фронта к Берлину. Удивленный тем, что советский офицер катает немецкого в открытой машине вблизи района боев, я спросил Пескановского: кто находится рядом с ним?

- Офицер из Шпандауокой крепости, там гарнизон химической академии Гитлера, а этот... от них представитель... Зовут Альберт. Цацкаемся вот... недовольно пробурчал Пескановский.

Я попросил капитана рассказать подробнее о Шпандауской цитадели, которая располагалась в северо-западном районе Берлина.

Пескановский сказал, что гарнизон химической академии, имея приказ Гитлера не сдаваться и запуганный, видимо, эсэсовцами, остался как бы единственным вражеским островком в почти совсем освобожденном городе. Нашему командованию ничего не стоило разбить артиллерией крепостные стены или разбомбить цитадель, но тогда пострадали бы раненые, мирные жители, сотрудники химических лабораторий, в числе их и женщины, которых было немало в крепости. Да и сами жители этого района Шпандау просили русских пощадить крепость и как-нибудь уговорить гарнизон сдаться без кровопролития и жертв.

- Мы по нашей МГУ{4} передавали призывы, - сказал Пескановский, - и письма в крепость пересылали от жителей-родственников, даже сам бургомистр района написал письмо полковнику, коменданту цитадели. И что же? Они эти письма принимали через амбразуры в стене, ворота крепости забаррикадированы и заминированы, но отвечали: гарнизону, мол, приказано держаться до последнего!

Заинтересованный этой историей, я сел в машину к Пескановскому и по дороге узнал, что произошло в Шпандау.

После неудачи с вещанием и письмами к цитадели с особым ультиматумом был направлен антифашист, работавший в нашем штабе, переодетый в форму советского офицера, и вместе с ним майор Гришин и капитан Галл. Советское командование предлагало гарнизону сдать оружие и боевую технику и в этом случае гарантировало пленным жизнь и безопасность, даже сохранение орденов и знаков различия, а мирным жителям их имущества.

- Прекрасные условия, - резюмировал я.

- И учтите, - сказал Пескановский, - женщины Шпандау буквально умоляли нас склонить коменданта к сдаче и проявить максимум терпения и выдержки... Немецкий комендант, кстати он австриец по рождению, и подполковник выслушали наших парламентеров, - продолжал Пескановский, - посовещались, как водится, и заявили, что согласие на капитуляцию могут дать только все руководящие офицеры гарнизона, ибо согласно последнему приказу Гитлера комендант окруженного гарнизона пользуется своими правами начальника лишь до тех пор, пока он оказывает сопротивление противнику. А как только он принимает решение о капитуляции, любой имеет право его расстрелять и объявить себя комендантом.

- Чувствуется рука Гитлера! - сказал я.

Несколько часов назад немецкое радио передало о самоубийстве Гитлера. Но и мертвый Гитлер своими приказами продолжал убивать людей.

Нашим товарищам-парламентерам комендант ответил отказом. Тогда работники седьмого отдела связались по телефону с командным пунктом 132-й стрелковой дивизии, которая уже находилась далеко на западе. Трубку взял ее командир - Герой Советского Союза Иван Владимирович Соловьев.

Когда Пескановский заговорил о 132-й дивизии, я вспомнил ее полное наименование: Бахмачско-Варшавская, дважды Краснознаменная, ордена Суворова. Само это наименование несло в себе отблеск славы, осенившей многие соединения, воевавшие и под Москвой, и на Волге, освобождавшие Варшаву и Берлин.

Иван Соловьев - командир дивизии - был примечателен личной храбростью, обаянием. Это был человек остроумный, веселый, добрый и душевно отзывчивый.

Соловьев, поговорив по телефону с майором Гришиным, приказал ему не волноваться и не торопиться, а подняться в цитадель и лично поговорить с теми офицерами, которые не давали своего согласия на капитуляцию.

И вот капитан Галл вызвался вместе с майором Гришиным подняться в крепость по веревочной лестнице, которую спустили немцы с балкона третьего этажа. Иного пути в цитадель не было.

Впереди парламентеров полезли... немцы, "хозяева цитадели". Комендант первым, за ним майор Гришин, третьим Галл, четвертым подполковник-немец. Впоследствии капитан Галл рассказывал:

- Пока я поднимался по неудобной веревочной лестнице, видя, как она изгибается под тяжестью тел немецкого коменданта

и Гришина, я еще был весь во власти охватившего меня порыва и не предполагал, просто даже и не думал о том, куда я попаду. Между тем я влезал прямо в крепостную тюрьму.

За дверью балкона мы попали в полутемную комнату, а пока шли по коридору, я заметил металлические дверцы камер. Это было одно из отделений внутренней тюрьмы, примыкавшей к наружной стене цитадели.

Здесь нас ввели в комнату, где находились военные чиновники в чине майора и подполковников и несколько, судя по погонам, строевых офицеров. Если между ними и были эсэсовцы, то, во всяком случае, они не рискнули надеть черные мундиры.

- Господа, - обратился к ним комендант, - перед вами представители русского командования с предложением о капитуляции.

В комнате наступила зловещая тишина. Два десятка глаз, сумрачных, напряженных, более или менее откровенно враждебных, впились в нас. Что помешало бы нацистам, если бы они захотели, застрелить нас в этой комнате?

- О положении в Берлине вы знаете, господа, - тусклым голосом продолжал комендант, - возможно, что война подходит к концу, но мы должны оставаться верными своему долгу и присяге. Весь гарнизон остается в цитадели, пока от верховного командования немецкой армии не поступит общий приказ о капитуляции. Но я не препятствую желанию русских парламентеров сделать нам подобные разъяснения.

И комендант кивнул Галлу, приглашая его начать речь.

Галл обежал взглядом ряды стоящих перед ним немцев. И увидел замкнутые, словно бы покрытые каким-то серым налетом лица, в большинстве совсем немолодые. Почти у всех мятые, давно не чищенные мундиры. Сам комендант носил серые чулки, издали похожие на обмотки.

- Город падет с часу на час, - заявил Галл. - Сопротивление гарнизона бессмысленно. Я хочу вам сообщить, что в освобожденных районах Берлина уже налаживается нормальная жизнь: открываются магазины, введены продовольственные карточки. Теперь о положении в Шпандау. Наши войска, обтекая крепость, уже ушли далеко на запад. Взят Бранденбург, взят Кладов. Его гарнизон капитулировал. Один из его командиров, полковник, находится у нас в штабе, и вы могли бы с ним поговорить о положении на немецком фронте, которого, по сути дела, уже нет, он распадается.

Галл сделал паузу, хотел почувствовать, налаживается ли какой-нибудь контакт с "аудиторией". Он привык допрашивать захваченных гитлеровских офицеров, а не агитировать их,

находясь в их же крепости. Как пробиться словам через наглухо застегнутые серые френчи к сердцу и разуму .военных чиновников, запуганных эсэсовцами, одуревших от гитлеровских кровавых приказов, от неизвестности и страха перед ожидавшим их возмездием?

- Фюрер написал завещание, и теперь у нас есть президент, гроссадмирал Карл Дениц! - громко и отчетливо, должно быть подбадривая себя звуками своего голоса, заявил комендант с упрямой верой в то, что власть, которой он привык подчиняться, не оставит его своими заботами. - Дениц находится сейчас в Плене. Там есть радиостанция, и мы получили приказ.

- А какой же это приказ? - спросил майор Гришин. Он-то знал, что Дениц призвал все части вермахта "продолжать борьбу против большевиков".

- Так какой же это приказ, господа? - после паузы повторил тот же вопрос капитан Галл.

Комендант уклонился от ответа. Конечно, он понимал, что по логике своей содержание этого приказа должно было поставить Шпандаускую цитадель под огонь русских пушек. Тех, кто продолжает борьбу, уничтожают.

- Война заканчивается в ближайшие же дни, - сказал немцам Гришин, - на что вы надеетесь, господа?

"Господа" молчали, потому что надеяться им было не на что, кроме как на человеколюбие русских воинов, пример которому они видели в том, как русские терпеливо беседовали с ними. Однако нацисты привыкли рассматривать всякую гуманность как слабость противника и решили, что могут еще "поторговаться".

- Мы должны подождать общего приказа о капитуляции, - снова заявил комендант, - не можем изменить своему долгу и присяге.

И в этот момент у него было лицо человека, боящегося выстрела в спину, если он произнесет хоть одно неосторожное слово.

После этого наши офицеры вынуждены были спуститься по веревочной лестнице и вернуться в расположение своих войск.

Гитлеровские военные химики оказались на редкость упорными. Что им было до возможных жертв мирного населения и раненых, если русские решат взять цитадель силой?!

Но и на этот раз полковник Соловьев не торопился. Он дал возможность немцам самим убедиться в положении на фронте, проявив поистине удивительное терпение.

Я бы вообще не поверил рассказу капитана Пескановского, если бы не сидел в тот момент в машине рядом с тем самым напыщенным лейтенантом, который осматривал линию фронта с

разрешения нашего командования, как "посол" осажденного гарнизона цитадели.

- Куда вы его возили? - спросил я Пескановского.

Капитан махнул рукой, и широкий его жест, как бы охватывающий все видимое вокруг, вместе с тем выражал и недовольство человека, у которого отнимают дорогое время.

Я понял, что немецкий офицер сам увидел развал немецкого фронта западнее Берлина и убедился, что офицеры в нашем плену все находятся в добром здравии. Они-то и просили, между прочим, передать в Шпандау свой добрый совет: принять условия капитуляции и сложить оружие.

Мы подъехали к Шпандау, когда уже смеркалось. Лейтенант был благополучно доставлен в крепость, но строго предупрежден, что советское командование представляет немцам на размышление ночь, а утром к десяти часам ждет ответ.

Эту ночь я провел вблизи крепости в одном из домов, где еще недавно находился штаб дивизии Соловьева. Мне не спалось. Подходя к окну, я видел темные очертания островов на реке и озере, силуэты высоких каменных стен, за которыми скорее угадывались, чем просматривались смутные пятна внутрикрепостных строений. Все немецкие городские крепости, исключая, может быть, только старинные замки в горной Саксонии, в общем-то схожи грубой простотой своей казарменной архитектуры.

А на следующее утро комендант, носящий еще и звание профессора военно-химической академии нацистов, в сопровождении своего помощника явился с белым флагом в расположение советских войск и заявил, что гарнизон цитадели принимает условия капитуляции.

Убедил ли своих офицеров лейтенант? Подействовал ли второй ультиматум? Как бы то ни было, то внутреннее единоборство между долгом и страхом, который испытывал нацистский комендант, закончилось в пользу страха и желания спасти свою шкуру. Комендант, видимо, пренебрег угрозами нацистов-эсэсовцев и приказами Деница, призывавшего "к продолжению борьбы".

Последняя в Германии крепость прекратила существование.

Здесь я хочу предоставить слово документу, копии подлинного донесения в штаб фронта бывшего начальника политотдела 47-й армии, тогда полковника, а ныне генерал-полковника М. Х. Калашника. "...Сдача гарнизона цитадели была проведена точно по намеченному плану. Советским командованием были приняты все меры предосторожности: соединения 605 сп 132 сд были приведены в боевую готовность,

все бойцы и командиры были предупреждены о необходимости соблюдать полную корректность в отношении солдат и офицеров сдающегося гарнизона и быть настороже, чтобы не допустить возможной провокации, имеющей цель сорвать капитуляцию.

В назначенное время майор Гришин, капитан Галл, начальник штаба 605 сп с группой офицеров и бойцов вошли в цитадель и приняли от коменданта гарнизона по списку весь личный состав гарнизона, вооружение и имущество.

Состав капитулирующего гарнизона следующий:

Офицеров и чиновников - 20, солдат - 211, рабочих и служащих химической лаборатории - 17, в лазарете - 107 человек (в том числе 31 человек персонала и 76 человек больных), также гражданского населения - свыше 100 человек.

Согласно условиям капитуляции гражданскому населению была предоставлена возможность по собственному Желанию остаться в цитадели или уйти в лазарет. Врачебно-медицинский персонал был оставлен в цитадели. Так как при сдаче цитадели выяснилось, что в ней расположены химические лаборатории, разрабатывающие проблемы химической защиты (опробование и улучшение противогазов, дегазация, химический анализ отравляющих веществ и т. д.), при лаборатории были оставлены ее рабочие и служащие, а также военные чиновники, работающие в качестве научных руководителей - инженеров, химиков и лаборантов (всего было оставлено при лаборатории 42 человека).

Все остальные офицеры и солдаты были строем выведены из цитадели и направлены в лагерь для военнопленных, причем им сразу же было обеспечено горячее питание.

Нами приняты все меры для установления в цитадели порядка по всей территории, у входа в нее и в различных помещениях выставлены посты для Охраны имущества и наблюдения за порядком".

Так наши воины, проявив великодушие победителей и подлинный гуманизм, сохранили жизнь и имущество гитлеровским воякам шпандауского гарнизона, а также сотням людей, проживающих в непосредственной близости от осажденной крепости.

Однако здесь еще рано ставить точку. Скорее - многоточие... Эта история для меня имеет несколько продолжений, связанных с судьбами ее героев. Одно из них по времени непосредственно примыкает к событиям мая сорок пятого года, поэтому с него я и начну.

На следующий день после капитуляции гарнизона Шпандау, а именно 1 мая, большая группа нацистов, решившаяся прорвать внутреннее кольцо окружения Берлина, сосредоточилась на узком

участке фронта юго-восточнее Шпандау.

Здесь им удалось пробить брешь в кольце, а затем отряды противника с бронетранспортерами и танками начали продвигаться в двух направлениях: Шпандау - Фалькенхаген и Шпандау - Зеебург - Дебериц. Казалось, что определился и тактический замысел прорвавшейся группировки - добраться до Эльбы и там по возможности укрыться за спинами американских войск, которые уже выходили на рубеж этой реки.

Всего этого еще не знал комдив Соловьев, когда утром первого мая его вызвал к себе в город Бранденбург командир корпуса. Соловьев приехал в штаб корпуса на "газике"^ торопясь к назначенному часу. В доме, который занимал комкор, Соловьёв застал начальство уже... за праздничным столом.

Он доложил, что прибыл, а комкор указал ему на стол и сказал:

- Садись, бери стакан, выпьем за Первое мая и нашу победу.

- В честь праздника выпить не грех. Но не сейчас. Я там оставил дивизию. - Соловьев махнул рукой на запад.

На сердце его почему-то было неспокойно. Сейчас ему не хотелось усаживаться за стол с водкой и закуской, ибо с утра пить вообще не любил, к тому же это "сидение" могло и затянуться.

- Твоя дивизия не сирота, есть кому и без тебя скомандовать. Садись, комдив, - повторил командир корпуса.

Но Соловьев все же твердо отказался от завтрака, сославшись на срочные дела.

- Если нет указаний, то разрешите отбыть? - спросил Соловьев, все же недоумевая, зачем его вызвали в Бранденбург.

- Указание есть, - поднялся за столом начальник штаба, - твою дивизию переподчиняют нашему соседу, уходишь в другой корпус, и вызвали, чтобы попрощаться. Но если у нас не сидится, то поезжай, поезжай в свою единокровную...

- Да, поеду, - сказал Соловьев и, распрощавшись, сел в машину.

А когда он подъезжал к Шпандау, то еще издали услышал пулеметную трескотню, и первой его догадкой было предположение, что это ловят какую-нибудь банду нацистских головорезов, которые еще бродили в лесах, пытаясь взрывать мосты, нападать на наши обозы и госпитали. Но вскоре он понял, что это не облава, а бой где-то в районе Шпандау.

По счастью, он захватил с собой в машину рацию и радиста, с которым вообще редко расставался в дни наступления, и приказал ему связаться со штабом дивизии. Офицеры штаба тут же запросили у комдива огня и подкрепления, потому что немцы силами двух полков прорывались по шоссе прямо на запад.

- Все полки задействованы в наступлении, но я сейчас что-нибудь наскребу. Верну в Шпандау два батальона, а пока держите немцев. Там близко танковая бригада Шаргородского. Согласуйте действия, я еду к вам, - передал Соловьев по радио.

Он вытащил из планшета карту и по привычке промерил по ней расстояние пальцами, словно бы ощупывая своей рукой дороги, поселки, рощи и каналы, отделявшие его сейчас от места боя.

- Хорош бы я был, бросив дивизию. Как считаешь, Матвеев? Ох, хорош был бы, если бы остался выпивать в Бранденбурге! - сказал Соловьев, обращаясь к радисту, хотя и знал, что смущенный сержант Матвеев вряд ли что-либо ответит самокритично настроенному комдиву. - Вот тебе и первомайский праздник! Война, она до последней секунды война!

- Точно, товарищ полковник, - выдохнул сержант. - Тут в Германии уши все время держи топориком!

Наступление прорвавшейся группы оказалось неожиданным и для той части штаба, что оставалась в Шпандау. Завязался жестокий бой.

И вначале штабным офицерам Соловьева было трудно разобраться в обстановке. Это всегда сложно, когда бой идет в большом городе, а тут еще немцы наступали со стороны нашего тыла. Но вскоре положение стало проясняться.

Немцы направляли свой удар в сторону крепости. Неподалеку на шоссе их удерживали орудия артдивизиона. Но этого оказалось недостаточно. Выполняя приказ Соловьева, его офицеры попросили помощи у танкистов Шаргородского.

Танкам тяжело воевать на узких улицах, в каменных ущельях большого города, где они могут стать легкой добычей пушки, спрятанной в засаде, фаустника, огнеметчика, стреляющего из окон второго или третьего этажа.

Но уже выбираясь на шоссе, танкисты начинают чувствовать себя лучше. Тут вступает в свои права скорость, и сила давящих траков, и широкий обзор, и широкий сектор обстрела.

Танкисты Шаргородского и подоспевшие батальоны одного из полков дивизии Соловьева остановили, отбросили и рассеяли основную ударную силу прорвавшейся бронетанковой колонны нацистов! Лишь небольшие группки солдат продолжали просачиваться далее на запад.

Однако та настойчивость нацистов, с какой они стремились в сторону цитадели еще во время боя, весьма удивляла и Соловьева и Шаргородского. И лишь позже из показаний пленных они узнали о замысле нацистов - пробиться из Берлина в крепость, зайти за ее стены, соединиться с гарнизоном, пополнить свои

запасы оружием, боеприпасами и горючим для танков.

Ведь немцы не знали, что крепость уже сдалась. А если бы капитуляция задержалась? Если бы наши офицеры не проявили столько мужества и терпения, добиваясь сдачи крепости без выстрела и пролитой крови? То тогда кровь бы пролилась наверняка. И победа в Шпандау была бы добыта дорогой ценой.

Можно себе представить удивление гитлеровцев, когда вместо "помощи" из-за стен Шпандауской крепости по прорвавшимся частям берлинского гарнизона ударили наши орудия!

Под их грохот и закончилась, на этот раз уже окончательно, примечательная история крепости Шпандау.

...И вот небольшое добавление к этой главе.

Отгремели последние залпы второй мировой войны. Командир 132-й дивизии Герой Советского Союза, теперь уже генерал Соловьев спустя некоторое время вернулся в Ленинград, в котором провел свою юность, работал на заводе, учился, ушел впервые в Красную Армию служить в пограничные войска.

От заставы до дивизии. И от дивизии до управления Ленинградской милиции, начальником которой стал Иван Владимирович, - вот кратко, по-военному, вехи его ратного пути.

Вернувшись из действующей армии, генерал Соловьев пришел на другой, боевой и "действующий фронт", он только сменил цвет своей шинели.

Его работа в милиции - это уже иная тема. И сам он хорошо написал об этом в книге, которая называется: "Будни милиции". Будни эти затянулись лет на двадцать. Но... стало сдавать сердце, и генерал-лейтенант Соловьев ушел в запас.

Впрочем, этот официальный термин выражал применительно к Ивану Владимировичу лишь то, что запас сил, энергии и душевной страсти у него был не мал, а поэтому стала еще более обширной его лекторская, общественная, литературная деятельность.

Однако "старый солдат", как любил он себя называть, порой надевал парадный мундир с Золотой Звездой и всеми орденами, и не только в дни торжеств и праздников.

И вот по приглашению польского правительства с группой прославленных военачальников Иван Владимирович посетил Варшаву. Он был дорогим гостем столицы, потому что именно его дивизия в ожесточенных боях освобождала Варшаву по пути в Германию, к Берлину и Шпандау.

Социалистическая Польша с любовью встречала героев былой войны. Есть события, которые не меркнут в народной памяти, они навсегда остаются в героической летописи истории.

Я с интересом слушал в Москве тогда рассказы Ивана Владимировича, ныне уже покойного, об этой поездке, о новой Польше, о возрожденной из пепла красавице Варшаве. Но, право, я не предполагал тогда, через некоторое время я увижу у себя дома еще одного живого и здравствующего участника боев в Шпандау.

Я видел перед собой бывшего капитана Галла. Как ни странно, он мало изменился. Видимо, два десятка лет - не такой уж большой срок. Такой же подвижный, порывистый, годы не утяжелили его походки, не изменили артикуляции речи, немного торопливой, по-юношески запальчивой. И те же живые темные глаза, в которых светится желание быть искренним и всячески полезным во всем, что от него зависит.

Но мне-то, собственно, ничего не было надо, кроме дружеской беседы, согретой военными воспоминаниями. Тогда, в дни боев, не было ни времени, ни повода поговорить о довоенной поре учебы, и поэтому только сейчас я узнал, что Владимир Галл, закончил Московский институт истории, философии и литературы и, подобно многим юношам сороковых годов, со студенческой скамьи ушел на войну.

Ныне он сам учит студентов немецкому языку. Капитан Галл стал педагогом в одном из наших институтов.

Он пришел ко мне на следующий день после своего возвращения из ГДР, куда ездил на конгресс по приглашению Общества германо-советской дружбы. В новой Германии не забыли капитана-парламентера, так много сделавшего, чтобы избежать напрасного кровопролития в Шпандау.

Конгресс был плодотворный и интересный, я видел, что Галл весь еще под впечатлением увиденного, пережитого, бесед, дружеских встреч, возникавших неожиданно на улицах Берлина, Лейпцига, Дрездена, и тех, что были заранее продуманы и любезно организованы хозяевами конгресса.

Именно этим немецким товарищам Галл обязан чудесной встречей в кулуарах конгресса с "милым Кони", с Кондаром Вольфом - известным ныне немецким кинорежиссером, с тем самым "Кони", который девятнадцатилетним юношей переводчиком пришел служить в нашу армию, чтобы помочь освобождению своей страны от гитлеровцев. Конрад Вольф - сын прогрессивного немецкого писателя Фридриха Вольфа - воевал вместе с капитаном Галлом и майором Гришиным, а следовательно, и генералам Соловьевым в 47-й армии. Владимир Галл и Кони Вольф подружились еще во время войны.

Конгресс в Берлине! Здесь не было ни официальной помпезности, ни утомительно длинных речей, ни строгого протокола совещаний. Скорее всего конгресс походил на широкий пленум друзей, проходящий под знаменем внимания и чуткости к каждому делегату.

Так говорил мне Владимир Галл.

Вот он встретился с Конрадом Вольфом, московский токарь Павел Быков со своим другом токарем-скоростником Эрихом Виртом, Андрей Сарапкин - бывший узник концлагеря - с немецкими товарищами из этого лагеря, летчик капитан Эдуард Семенов - с Эрихом Дренгнером, председателем сельскохозяйственного кооператива имени В. И. Ленина, тем самым Дренгнером, который, сам подвергаясь смертельной опасности, спас жизнь Семенову, вытащив его из горящего самолета, когда тот потерпел аварию. Советское правительство наградило Дренгнера орденом Красной Звезды.

Об этих встречах писали немецкие газеты, рассказывало радио, телевидение.

Я слушал Галла и думал о том, что дружба по самой свой сути не может быть понятием отвлеченным, умозрительным, что, несмотря на всеобщность, когда речь идет о странах, она не мыслится без таких вот личных связей, душевных контактов, привязанностей, вытекающих из опыта целых народов и переплетения личных судеб людей.

Владимир Галл признался, что там, в Берлине, он переживал сложное чувство и смущения, и благодарности, и трепетного волнения от того внимания и почестей, которые оказывали немецкие товарищи ему, герою Шпандау.

- Саму крепость вы, конечно, не видели? - спросил я.

- Нет, конечно, она ведь сейчас в Западном Берлине, - сказал Галл.

- Да, к сожалению, в Западном.

И я снова вспомнил Шпандау - серые, мрачные стены и башни на берегах реки Хафель. Тюремный замок высится и по сей день зловещим микрогородом внутри большого жилого района. Сразу же после войны, в сорок пятом, крепость превратилась в тюрьму для нацистских преступников. Правда, большинство из них просидели здесь недолго. Десять лет находился в одной из камер осужденный Нюрнбергским трибуналом гроссадмирал Карл Дениц, преемник Гитлера на посту президента уже разгромленного "третьего рейха".

Дениц получил свободу, большую пенсию, пишет мемуары, совершает увеселительные прогулки за границу, например в Италию, как об этом сообщали газеты.

Не так давно вышли из тюрьмы бывший министр вооружения "третьего рейха" Альберт Шпеер и бывший "фюрер молодежи", а затем гаулейтер Вены Бальдур фон Ширах.

Шпеер когда-то заявил: "Если Гитлер имел друзей, то я был его самым ближайшим другом". "Ближайший друг" Гитлера просидел в Шпандау двадцать лет. Теперь Шпеер займется прежней профессией - архитектора, а Бальдур фон Ширах посвятит себя литературной работе.

Шираху при освобождении из тюрьмы было пятьдесят девять лет, а Шпееру шестьдесят один, оба они, по сообщению печати, еще собирались насладиться жизнью.

В тюрьме Шпандау шестьсот камер. После войны они все были заполнены. Теперь в Шпандау остался только один узник - это бывший "заместитель фюрера" Рудольф Гесс, приговоренный к пожизненному заключению. Западногерманская пресса ведет кампанию за освобождение и этого "теперь уже безвредного старика, ради которого не стоит, мол, содержать тюрьму, охраняемую солдатами четырех стран-победительниц".

Да, крепость Шпандау находится в Западном Берлине. Но ведь вокруг нее живут люди с острой памятью о войне. Они не забыли ее уроков. Не должны забывать!

Берлин без судей!

Это произошло третьего или четвертого мая, во всяком случае вскоре же после падения Берлина. На своей машине мы

очутились около площади Александерплац и вошли в парадную дверь здания бывшего гитлеровского окружного суда.

Как и все подобного типа дома для фашистских чиновников, здание суда поражало своей тяжелой и неуклюжей монументальностью. Темно-красный, почти бордовый цвет его кирпичных стен только усиливал это впечатление. Если берлинские архитекторы стремились придать официальным домам обличив как можно более мрачной строгости, то можно считать, что они преуспели в этом.

Здание, занимавшее собой полквартала, почти не пострадало от артиллерии. Здесь, в центре Берлина, это было редкостью. Целое, не тронутое снарядами, оно тем не менее и внутри выглядело мрачным и словно бы обволакивало холодом.

Холодом тянуло не только от толстых бетонных стен, из полумрака длиннющих коридоров, холодом как бы веяло от самой угрюмости этого сейчас безлюдного и всеми покинутого здания.

Я не знаю, когда убежали отсюда берлинские судьи, чиновники так называемых гитлеровских "народных судов". Может быть, судьи разных рангов, они исчезали в разные сроки. Или же все вместе покинули здание, услыхав грохот советских пушек? Во всяком случае, мы всюду наблюдали в тот день следы массового поспешного бегства: брошенные на столах папки судебных материалов, списки назначенных к слушанию дел, шляпы и форменные сюртуки, за ненадобностью кинутые прямо на спинки судейских кресел или на барьеры перед скамьями подсудимых.

Мы прошли по коридорам мимо судебных камер. Я помню, каким громким гулом и эхом отдавались наши шаги под этими низкими сводами, делавшими коридоры похожими на квадратные туннели. Почти всюду двери в комнаты были распахнуты, и нашим глазам представали пустые, захламленные помещения.

Но почему-то почти в каждой комнате стояли на столах открытые, приготовленные для работы пишущие машинки, а на вешалках слегка раскачивались ветром темные судейские мантии.

То, что эти мантии, похожие на поповские сутаны, не могли уже больше пригодиться нацистским чиновникам, ясно. Но вот машинки? Видно, здесь все время строчили на них приговоры подсудимым: дезертирам из армии, трусам из фольксштурма, немцам, проклинавшим Гитлера, всем, кто не хотел больше умирать за фюрера на берлинских улицах. Ну, а в последний момент? Тогда судьям было уже не до пишущих машинок, они бегством спасали свои шкуры.

Какое-то время, всего несколько дней, Берлин жил без судей.

Старые спрятались, а новые, назначенные магистратами, еще не успели приступить к своим обязанностям.

Этим поспешили воспользоваться всякие подонки населения, уголовники, выпущенные из тюрем Гитлером, переодетые в штатское платье офицеры, чиновники, нацистские функционеры.

Они попросту решили пограбить свой же город в этой военной суматохе, в неразберихе первых мирных дней, под прикрытием все еще продолжавшихся пожаров, а кое-где и стрельбы.

Едва наша машина отъехала от здания окружного суда, как мы увидели большой пожар на Кёнигсштрассе. Будь сейчас гитлеровские судьи в своих кабинетах, они бы хорошо видели из окон, как горело многоэтажное здание универмага и толпа берлинцев окружила его в надежде поживиться.

Подъехать близко на машине к универмагу было невозможно из-за людей, забивших всю площадь. Яркие языки огня выглядывали из окон третьего и четвертого этажей. Внутри здания пока еще глухо, но все-таки различимо на слух гудело пламя.

Издали мы не могли сразу увидеть, кто же бегал по коридорам здания и, спасая товары, выбрасывал их через открытые окна. Туго свернутые тюки материи шлепались на дорогу с глухим стуком. Мужские костюмы повисали и на водосточных трубах, и на балконах нижних этажей. Вороха мужских сорочек, женское белье - все это в коробках, в ящиках, в целлофане летело по воздуху, и сотни мечущихся внизу рук ловили вещи, отбирая их друг у друга с криком, руганью, порой в неистовой драке.

И животный рев толпы, крики и стоны потерявших самообладание людей неслись над площадью, заглушая даже шум все больше разгоравшегося пожара.

Это было тяжелое зрелище! Казалось, только выстрелами можно, было разогнать или остановить осатаневших людей, почувствовавших легкую наживу.

Но в тот момент нас больше занимал другой вопрос: кто же все-таки, рискуя жизнью, там, внутри горящего универмага, продолжал вытаскивать из огня вещи и бросать их вниз?

Но вот на балкон выскочили трое наших солдат. В расстегнутых у ворота гимнастерках, с раскрасневшимися от жара лицами. Пот струился у них по лбу. Красные глаза слезились от дыма и огня.

Один солдат, темноглазый, широколицый, сбросил вниз рулон материи, глубоко передохнул, а затем перегнулся через перила балкона. Он смотрел вниз на темную шевелящуюся массу

толпы, словно высматривая там кого-то, и вдруг закричал:

- Эй, геноссе, геноссе! Ком, ком сюда!

Перепутанные волосы солдата, влажные от пота, сбились на лоб, около глаз виднелись крупные ссадины, - должно быть, ударился где-то, пилотку он потерял на пожаре, и даже издали было заметно, что руки у него обожжены и наскоро перебинтованы.

- Эй, геноссе! - кричал солдат, осматривая свою гимнастерку с прожженными дырами. - Эй, геноссе! Спасайте свое добро! Ком сюда к нам, шнеллер, шнеллер!

Он путал в волнении русские и немецкие слова, но даже если бы он ничего не говорил, вся его фигура, жесты, лицо в крови и, главное, то, что делал он там, внутри горящего здания, - все это выглядело достаточно красноречиво и не нуждалось ни в каких пояснениях. Солдат призывал немцев на помощь. Человек десять из толпы бросились к дверям магазина, но, видимо, им мешал огонь, уже спускавшийся к нижним этажам, потому что фигуры людей в штатском платье долго не появлялись около окон и на балконе.

Солдат без пилотки убежал внутрь здания, через три минуты он появился вновь с тюком, и толпа внизу сочувственно вздохнула, увидев, что огонь опалил его темные волосы. Теперь казалось, что они мгновенно поседели.

Но вот солдат бросил тюк вниз, его товарищ скинул ворох костюмов, и внизу вздохи перешли в крики и роз, и по воздуху снова заметались жадные руки. Конечно, с балкона солдаты хорошо видели, что многие, схватив вещи, пытались тут же незаметно выбраться из толпы, конечно, это не нравилось солдатам, но что они могли поделать? Уж лучше так, чем пожертвовать огню все это добро!

Так, должно быть, рассуждали люди в горящем даме.. Выскочив в третий раз на балкон, солдат без пилотки увидел нашу машину. Он узнал своих.

- Эй, товарищи! - громко закричал он, взмахивая руками, явно обрадованный и надеясь, должно быть, на то, что пришла подмога. - Сюда, сюда, славяне, братцы! - кричал он, размазывая по лицу пот, смешанный с кровью. - Нас тут только трое! Видишь, как немцы шуруют! Спасай универмаг, товарищи!

Корпуснов тут же продвинул вперед машину, и толпа раздалась в стороны, образуя проход.

Но тут произошла заминка. Корпуснов притормозил машину, не слыша команды двигаться вперед. Мы все, признаться, в эту минуту были в нерешительности - что же делать? Бросить машину, аппаратуру? Спасать товары, которые тут же

растаскивали подозрительные личности? Смешаться с этой беснующейся толпой, а ведь в ней могли находиться и вооруженные эсэсовцы?

Все это продолжалось минуту-другую! Но пока мы раздумывали, старший в нашей группе - Шалашников - принял решение.

Он закричал шоферу:

- Стой!

Но Корпуснов по инерции еще продолжал медленно продвигать машину к универмагу.

- Стой! - выйдя из себя, закричал Шалашников. - Никому не двигаться с места! Разворачивай машину. Живо, живо! - Он нервно торопил шофера и успокоился, только когда мы отъехали далеко от здания.

Я видел удивленное лицо солдата на балконе. Он все еще кричал нам что-то. А из окон, с балкона продолжали вываливаться ящики, тюки, коробки, и дым над универмагом становился все гуще, и все сильнее разгоралось пламя внутри здания.

Позже, вечером, Шалашников объяснил свое решение естественной заботой об аппаратуре, которую мы не смогли бы ни исправить, ни восстановить в разрушенном городе. И тревогой за наши пластинки с записями. И тем, что наше главное занятие в Берлине было не в том, чтобы тушить пожары и спасать товары магазинов!

Может быть, он был неправ и другой человек на его месте поступил бы иначе?

Сцена пожара на Александерплац крепко запала мне в память и, думаю, многим берлинцам, потому что на наших глазах трое советских солдат, уже после окончания боев, рисковали жизнью в горящем здании.

Я уверен, что они не получили на это никакого приказа, а действовали по велению сердца, по доброй своей воле и не могли допустить, чтобы пропадало добро, которое было так необходимо изголодавшемуся и обносившемуся населению города.

Берлин жил несколько дней без судей! Судьей была совесть каждого и то чувство долга и мужества, которое привело в горящий универмаг троих наших солдат и десять берлинцев.

Залить страх вином!

Мы натолкнулись на этот погреб совершенно случайно, днем, когда ехали из центра Берлина. Корпуснов показал мне на странные фигуры немцев, одна за другой торопливо перебегавшие дорогу. Они тащили ведра, бутыли, двадцатилитровые автомобильные канистры, бежали торопливо,

но мелкими шагами, согнув спины, и казалось, что каждый вот-вот свалится на мостовую от тяжести своего тела или слабого порыва ветра.

- Тащат! - угрюмо произнес Корпуснов.

- Воду, что ли?

- Да нет. Запашок такой, что закусывать хочется, - сказал Михаил Иванович, ниже опуская стекло. Тут и я услышал крепкий винный запах и увидел, что на мостовую выплескивается из ведер то светло-зеленая, то розовая, то густо-красная жидкость.

- Сходить, что ли? - останавливая машину, спросил Корпуснов.

- А зачем? - сказал я, настороженно прислушиваясь к пьяным выкрикам и выстрелам, которые раздавались из глубины двора, где, видимо, находился погреб.

- Слышите, Михаил Иванович, - сказал я через минуту, - там стреляют. Всякая сволочь! Пьяная! Озверевшая!

- Все равно. Что ж, так оставить? Непорядок! - сказал Михаил Иванович, подумав, и твердой рукой открыл дверцу машины.

Было бы наивно предполагать, что в Берлине, охваченном битвой, в городе с тысячами магазинов и складов, всякого рода фашистское отребье не попыталось бы организовать грабежи и бесчинства, маленькие очаги беспорядков, которые быстро ликвидировались нашей военной администрацией.

Оставленные без надзора винные склады представляли собой в эти дни, пожалуй, наибольшую опасность. Пьяные банды эсэсовцев и уголовников, выпущенных Гитлером из тюрем, могли дезорганизовать жизнь города, только-только привыкавшего к новой, мирной поре.

Фашисты в Берлине в канун своей гибели пили много и жадно. Но всех своих винных складов они не опустошили.

Я как-то сам оказался свидетелем того, как командир артиллерийского полка приказал расстрелять тяжелыми орудиями винный завод, лежащий впереди полосы наступления его полка. Вино, сливаясь с пылью и грязью, мутной рекой полилось по улицам. Решение это, видимо, было разумным, хотя многие наши артиллеристы с сожалением поглядывали на то, как растекаются по канавам, ямам, воронкам, просачиваются в землю коньяки и ликеры, вермуты и шампанское.

Сейчас, в первые дни после капитуляции города, ни органы немецкого самоуправления, ни наша комендатура еще не успели взять на учет и под строгую охрану все берлинские магазины и склады.

Только этим и можно было объяснить ту дикую картину, которая представилась нашим глазам: пьяный рев голосов, толчея

и беспорядок около подземного хранилища вин.

Корпуснов, а вслед за ним и я, вскинув на руки автоматы, прошли по двору, одним своим появлением заставляя немцев, тащивших ведра, укрыться в подъезды домов, спрятаться по квартирам.

Двор мигом опустел. Но в подземном хранилище оставались люди, и чтобы выкурить их оттуда, следовало спуститься в подвал по узкой, скользкой и гнущейся доске, заменившей сломанную лестницу. В подземном туннеле царила тьма, насыщенная едкими, дурманящими парами алкоголя. Этот густой мрак освещался лишь тускло мигающими огоньками фонарей да робкими вспышками спичек.

Видимо, хранилище было очень большим. Голоса раздавались и у самого входа, и откуда-то из далекой и гулкой глубины, где крики растягивались многократным гремящим эхом. Оно сливалось со звуками льющихся струй и бурной капели. Казалось, что в огромной бетонной яме образовался маленький водопад из вина и он постепенно заливает дно хранилища, поднимаясь по его темным каменным стенам.

Одним словом, спускаться вниз было страшновато, и несколько минут мы в нерешительности потоптались у входа.

- Надо вниз идти, - произнес Михаил Иванович тоном человека, уже взвесившего и риск и необходимость выгнать пьяных нацистов из подвала.

Меня всегда удивляла в Корпуснове эта непреклонная решимость устранять любой непорядок, все, что ему не нравилось, будь то дело его касающееся или совсем постороннее. Есть люди с такой хозяйской жилкой в характере, и она всегда определяет их поведение и дома и на чужбине.

- Ну, я полез к этим чертям, - снова повторил он, прямо не приглашая меня следовать за ним, но несомненно в душе уверенный, что я не оставлю его одного в подвале среди пьяных гитлеровцев.

Мы спустились или, точнее говоря, скатились вниз по мокрой доске и на дне погреба сразу же очутились по колено в вине. Мы пошли затем вперед, как шахтеры ходят по штрекам, залитым водой. Михаил Иванович высоко поднимал ноги, и темные брызги вина от его сапог летели во все стороны.

Отойдя от доски, мы зажгли свои фонари и увидели слева белеющие в полутьме громадные цилиндрические резервуары. Мне казалось, что они походят на каких-то гигантских слонов, опустившихся на колени в мутную реку вина и сгорбившихся под низкими сводами хранилища.

На верху одного из резервуаров, как погонщик на спине

слона, сидел совершенно упившийся немец и совал через люк резиновый шланг, каким шоферы выкачивают бензин из бочек. За другой конец шланга держался высокий немец с бандитским лицом, в офицерском кителе без погон. Он еле держался на ногах. Тем не менее немец тянул из шланга воздух, пытаясь засосать вино.

Наконец это ему удалось. Сильная струя ударила ему в рот, в лицо и, должно быть, обожгла глаза, потому что немец истошно завопил, замахал руками, а потом схватился мокрыми ладонями за глаза так, словно бы не вино, а кислота облила его с ног до головы.

- Ты что делаешь! - закричал Корпуснов и сначала вырвал шланг из рук того, кто сидел верхом на резервуаре. Пьяный немец с канистрой отбежал в сторону.

Оказалось, что в большом резервуаре хранится очень крепкий ром, обжигающий гортань как чистый спирт. Его-то и пили немцы здесь, в подвале, очень быстро пьянея и теряя человеческий облик. Ударом ноги опрокинув несколько ведер и канистр, мы прошли еще немного в глубь подвала, натыкаясь и там на немцев, которые шарахались в сторону, едва распознавали в темноте нашу военную форму.

Мы решили выгнать пьяных нацистов из подвала, но сделать это можно было, только пригрозив им оружием.

- Выходите все! - крикнул Корпуснов. Конечно, его не поняли немцы, но почувствовали грозную интонацию в голосе, которую Михаил Иванович тут же подкрепил автоматной очередью, выпустив ее в потолок.

Постепенно мы выгнали всех пьяных из подвала. Они выбрались во двор, но не торопились уходить. Тщетно мы пытались, не применяя оружия, отогнать их подальше от этого злополучного двора. Вино придает даже трусливым людям безрассудное и тупое упорство. Пока мы стояли у своей машины, группка пьяных топталась на углу соседнего квартала, но достаточно было нам отъехать немного, как немцы, шатаясь, вновь брели к винному подвалу.

- Ну и гады! - выругался Михаил Иванович.

Его больше всего возмущало то, что среди этого пьяного сброда находилось несколько юношей лет по шестнадцать, годящихся Корпуснову в сыновья. Одного из них, белобрысого, веснушчатого паренька, Михаил Иванович умыл около бочки с водой и усадил на доски, прислонив спиною к стене дома.

И я услышал, что он по-русски говорил мальчишке, вытирая ему платком лицо:

- Чего ты сюда лезешь? Ну, то взрослые - это волки, они

вином совесть глушат. Пропивают свое царство-государство. А ты щенок, тебе что пропивать? Тебе радоваться надо. Новую страну построите, слышишь, ты, фриценок! Где ты живешь? Мы тебя отвезем. А вино пить не приучайся. Это быстро делается, а потом вся жизнь наперекос идет.

А паренек, силясь совладать со своей гнущейся вниз головой, ничего не понимая, смотрел на Корпуснова, и в глазах его, подернутых мутной поволокой, испуг мешался с пьяной дерзостью и удивлением. Рассчитывая по дороге заехать в комендатуру, чтобы сообщить об этом безнадзорном винном подвале, мы пока завалили вход в хранилище пустыми бочками, валявшимися во дворе.

Но одну маленькую бутылочку Михаил Иванович наполнил жгучим темно-бордовым ромом и, не таясь, положил рядом с собой на сиденье в кабинке.

- Беру для пробы, что за ром такой пьют гады в Берлине, - сказал он. Тут ребята вермут пили из подвалов гестапо - хвалили! Может, и этот не хуже?

И потом через минуту, уже заводя мотор, добавил:

- Фашистам страх заливать, а нам, солдатам, с победой - законное дело!

Мы проехали затем в комендатуру, захватив с собой нескольких особо ретивых любителей поживиться за счет неразберихи первых дней мира, и сдали их на вытрезвление двум нашим дежурным сержантам...

У стен рейхстага

Пятого мая сорок пятого года, как обычно в нашей стране, отмечался День печати. Утром мы узнали, что писатели и корреспонденты газет, киноработники и фоторепортеры, находящиеся в этот день в Берлине, решили в ознаменование Дня печати собраться всем у рейхстага. Итак, утром пятого мая наша машина снова взяла курс из пригорода Уленгорст в центр Берлина. Дорогой мы присматривались к тому, что делается в городе, который, как человек после тяжелой, казалось бы, смертельной болезни, начал приходить в себя.

Переход от войны к миру в Берлине произошел мгновенно. Еще вчера гремели выстрелы, весь город был объят пожаром, а на следующее утро берлинцы уже начали восстанавливать дома и улицы, тушить пожары, разбирать баррикады.

Жители города выходили на улицы поработать на восстановлении, влекомые самой необходимостью, и чувствовалось, что после ужасных лет войны им придано делать что-то не для разрушения, а для мира, для нормальной человеческой жизни.

Вот самая типичная картина для берлинской улицы тех дней: на грудах камня, на обломках упавших стен стоят мужчины в ватниках, старых пиджаках, женщины в поношенных платьях, подростки, старики и старухи, и все молча и старательно, по конвейеру передают из рук в руки кирпичи, обломки железа, с тем чтобы расчистить площадку или улицу. Здесь трудно было увидеть веселые лица, услышать громкий смех. Берлинцы слишком много настрадались, слишком устали от войны и голода. Они работали молча. Я бы сказал, что почти у всех взрослых людей лица выглядели усталыми, но спокойными. Как бы ни сложилась судьба каждого, было несомненно одно: наступил мир, в городе не стреляют. Женщины брали воду у водоразборных колонок. Многомесячная бомбовая утюжка с воздуха разрушила берлинский водопровод в домах, даже там, где эти дома сохранились.

И вот, как на деревенской улице где-нибудь в захолустье, сейчас в центре Берлина женщины с белыми оцинкованными ведрами терпеливо стояли в длинной очереди. И тоже, как правило, молча.

Что ж, в эти дни нигде нельзя было обойтись без очередей: у магазинов, где по нормам выдавались продукты, привезенные из России, у первой открывшейся в городе парикмахерской, у аптечного ларька. И даже у полевой походной кухни какой-нибудь части выстраивались маленькие берлинцы, и солдат-повар большой ложкой разливал ребятам суп в металлические миски.

Все эти десять дней боев город покидали толпы беженцев, но у нас не создавалось впечатления, что Берлин обезлюдел. Уже многие вернулись. И, вернувшись, все ходили по улицам только пешком, - ведь еще никакой вид транспорта не действовал. И это тоже создавало видимость многолюдности. Я заметил, что на улицах мало мужчин-немцев среднего возраста. Впрочем, это было естественно: большинство взрослых берлинцев Гитлер успел мобилизовать в армию.

Но почему почти совсем не было видно молодых женщин? А если они и появлялись на улицах, то старались выглядеть немолодыми, закрывали голову платками, шалями, одевались похуже? Все это была, конечно, гнусная работа геббельсовской пропаганды.

Многие месяцы берлинцам внушались бредни о "зверствах русских". Сейчас они рассеивались быстро, как дым, ибо люди верили глазам своим и фактам, а не измышлениям мертвого уже Геббельса. А факты говорили сами за себя. Наши саперы, не успев отдохнуть после боев, разминировали дома и улицы, восстанавливали упавшие мосты. В самом центре, на Унтер-ден-

Линден, - "на Унтер без Линден", как шутили тогда, ибо все липы сжег артиллерийский огонь, - бойцы снимали противотанковые надолбы и ежи, чистили, убирали аллею так, чтобы здесь могли спокойно гулять берлинцы.

Мы увидели Бранденбургские ворота - национальную реликвию города. Это наши солдаты освободили архитектурный памятник от деревянных защитных обшивок, сняли доски, вынули мешки с песком, и теперь Бранденбургские ворота стали похожими действительно на ворота, через которые можно было проехать на машине.

Прошло всего два с половиной дня после сдачи города, а уже и на Кёнигсплац засыпались многочисленные воронки и траншеи. Но работать здесь было трудно, потому что к зданию рейхстага со всех концов огромной площади все время подъезжали машины, повозки, даже танки и бронетранспортеры и пешком подходили группы наших воинов, чтобы побывать в рейхстаге и расписаться на светло-сером мраморе его колонн.

Рейхстаг пятого мая еще дышал смрадом недавно закончившегося пожарища. Едкий и устойчивый запах гари не выветривался, а к нему добавлялся еще и запах пыли, клубящейся на площади и на близлежащих улицах.

Пыли было много. Только в таком большом городе, как Берлин, где целые кварталы были бомбами измолоты в каменный порошок, могло собраться такое количество густой пыли, целые облака которой при ветре поднимались в воздух, затемняли дневной свет, мешали дышать... Я поднялся по разбитым ступенькам лестницы рейхстаг. Громады колонн уходили в небо. Местами они были сильно разрушены бомбами и всюду носили следы пуль и осколков, Уже пятого мая я видел на колоннах много надписей, сделанных карандашом, чернилами и чем-то густым, похожим на тушь, - может быть, танковым мазутом?

Неизвестно, кто первым решил расписаться на колоннах, с тем чтобы все видели, что он побывал здесь, в центре Берлина. Но пример оказался заразительным. С каждым днем надписей становилось все больше, и в конце концов все колонны здания на высоту человеческого роста оказались испещренными надписями и фамилиями. Каждый советский солдат в Берлине считал в те дни для себя и честью и наградой "расписаться на рейхстаге"!

За колоннами находилась небольшая площадка, на которую выходили массивные двери. Сейчас почти все они оказались сорванными с петель. За дверьми начинался вестибюль первого этажа, в этот день выглядевший более чем мрачно, ибо здесь всюду обшивка стен выгорела, обнажив грязный бетон и камень.

Внутри рейхстага все было исковеркано, разрушено. Потолки,

пол, лестничные марши! Вместо них на разных уровнях торчали лишь словно обглоданные бетонные скелеты лестниц, готовых, казалось, вот-вот рухнуть вниз.

Паркет тоже выгорел, и от него не осталось никакого следа. Мы ходили по неровному бетону, на который солдатские сапоги уже успели наносить слои грязи. Пол всюду зиял ямами, воронками и черными провалами колодцев о разбитыми лестницами, - они вели в подвальные помещения рейхстага.

В общем все это напоминало скорее линию обороны после сокрушающего артиллерийского налета, разрушенные бетонные укрепления, а не блестящие залы рейхстага, по которым когда-то прогуливались хозяева "третьего рейха".

Я невольно взглянул наверх, на потолок здания. Там сквозь разрушенные перекрытия, обломки балок и лестниц виднелось сферическое тело огромного купола, того самого купола, который возвышался над всей центральной частью города.

Сейчас там вот уже несколько дней развевалось Знамя Победы. Но как туда добрались наши разведчики Егоров и Кантария, группа лейтенанта Береста? Можно было подумать, что они, как цирковые гимнасты, ползли по стенам. Как тяжело им было здесь вести бой, так же как и солдатам капитана Неустроева, теснившимся в комнатах, к которым подбиралось пламя пожара!

Первый раз рейхстаг горел в 1933 году. Нацисты пытались обвинить в этом коммунистов.

На противоположной стороне площади, так, что его хорошо было видно из дверей рейхстага, стоит большое серое здание - бывший дом Геринга. Как выяснилось позже, от дома Геринга через Кёнигсплац к рейхстагу была проложена тайная подземная траншея.

Через десять лет после первого пожара рейхстага на одном из участков восточного фронта во время пирушки Геринг спьяну проговорился генералам, что это он сам поджег рейхстаг и поэтому ему ли не знать устройства этого здания!

С пожара рейхстага и своего прихода к власти тридцатого января 1933 года Гитлер считал начало "третьей империи". С пожаром рейхстага в мае 1945 года эта нацистская империя заканчивала свое существование! Вот уж действительно символика! Раздув пожар войны, нацисты, сами сгорели в нем!..

...Пока мы утром бродили по рейхстагу, осторожно обходя колодцы и ямы, на площади, около колонн и лестниц, здесь, в вестибюле, начали один за другим появляться представители корпуса прессы.

Писатели и журналисты в те дни не жили все вместе в одном

доме или в одном районе, не собирались в одном штабе или на одном узле связи. Они все время разъезжали, находясь в самых разных уголках Берлина и всей Центральной и Восточной Германии.

Признаться, я даже удивился, что днем пятого мая, примерно в один и тот же час, у рейхстага собралось так много писателей, которых до этого часа не доводилось встречать вообще или же видел мельком.

Но День печати притянул почти всех на Королевскую площадь Берлина.

Я вспомнил тогда, как утром первого мая на Шулленбургринг, там, где находился штаб Чуйкова, я впервые увидел нескольких наших московских писателей, и среди них Всеволода Иванова. С часу на час ждали сдачи немцев. Всеволод Иванов, в военной форме, но без погон, в гимнастерке с расстегнутым воротом, прохаживался по тротуару, от угла до угла дома, и во всей его фигуре чувствовалось нервное напряжение. Иванов поглядывал на двери штаба. Так, словно ждал: вот сейчас кто-то выбежит оттуда, чтобы сообщить важные новости.

В такие напряженные минуты запоминаются всякие мелочи, и потом многие годы их как бы видишь перед собой очень ясно.

Вот мне запало в память, что у Всеволода Иванова был совершенно новенький (и этим привлекающий внимание) - ярко-желтый, как у новобранца, пояс и портупея со съехавшей набок пряжкой. И именно то, как небрежно был застегнут ремень, придавало полной фигуре писателя не совсем "строевой вид". Его обнаженная крупная седая голова (пилотку он спрятал в карман) привлекала всеобщее внимание.

Рядом с Всеволодом Ивановым шагал по тротуару майор Лев Славин. И хотя я видел Льва Исаевича и в нашем домике под Берлином, и в других местах, но он больше всего мне запомнился именно на Шулленбургринг в этот исторический час.

Запомнилось, как он, в летней форме без шинели, с маленьким "ТТ" на поясе, ходил легко, слегка пружинящей походкой, и по его обычно спокойному лицу чувствовалось, что он полон сдержанного волнения.

Третий в этой группе был Михаил Гус, едва ли не единственный московский литератор в Берлине, который не носил военной формы, а ходил в шляпе и в изрядно потрепанном костюме неопределенного серо-коричневого цвета.

Этот необычный для наших солдат сугубо штатский вид Гуса и его манера энергично жестикулировать и так же громко, энергично говорить на улицах, где в штатском ходили только немцы, естественно привлекали к нему особое внимание.

В центре города, где-то около Шпрее, мы как-то встретили темноволосого, темноусого майора - Виссариона Саянова, встречали Василия Гроссмана, в Штраусберге увидели недавно прилетевшего из Москвы Александра Бека, рядом с нами жил корреспондент "Комсомолки" капитан Александр Андреев.

И вот все они и еще Симонов, Горбатов, Вишневский, Долматовский, Габрилович, Кудреватых, Трояновский, Кармен и другие собрались к полдню около рейхстага.

Это была большая и едва ли не самая шумная и веселая группа офицеров на этой площади. Объятья, смех, воспоминания, рассказы о том, что каждый видел и пережил! Подъехавшие фотокорреспонденты незаметно щелкали своими "ФЭДами". Кинооператоры решили отснять этот кадр для готовящегося документального фильма о взятии Берлина.

И вот в этот момент неожиданно на площади появилась машина генерал-полковника Берзарина.

Первый советский комендант Берлина очутился у рейхстага в этот день, конечно, не случайно. Жизнь в городе вступила в новую полосу. Создавались демократические органы самоуправления. Налаживалась мирная жизнь.

Надо помнить, что тогда в Берлине были только наши войска и ни одного союзного солдата или корреспондента. Все это выдвигало и новые задачи перед военными журналистами.

Генерал Берзарин - коренастый, широкий в плечах, с крупным лицом, на котором выделялись густые брови, - здоровался с каждым, чуть щуря свои умные глаза. Он улыбался, и улыбка смягчала тяжеловатые линии его подбородка и суровое выражение глаз. Переходя от группы к группе, он рассказывал живо и сам увлекаясь о последних новостях в городе:

- Введены в обращение новые марки и выпущены карточки для немецкого населения. Нормы не ниже тех, по которым выдавались продукты в Советском Союзе - рабочим, интеллигентам. Немцы это сразу оценили как акт гуманного к ним отношения.

Открылись советские комендатуры во всех районах, они завалены делами надо наладить не только экономическую, но и культурную жизнь города. Работники искусств будут снабжаться по высшей категории, как рабочие, занятые тяжелым физическим трудом.

Надо восстановить работу радио. Открыть зрелищные предприятия. Но все гитлеровское из программ вон!

Советским комендатурам в районах приказано взять на учет и под свою опеку научных работников, чтобы сохранить их для будущей творческой работы. Сроки открытия научно-

исследовательских учреждений зависят от энергии самих ученых - военная администрация им поможет.

В Берлине будут демонстрироваться советские фильмы, пока с устным переводом текстов, но надо создавать и немецкие киностудии без нацистской идеологии, фильмы под девизом: мир, демократия. Программа деятельности обширнейшая! Знает ли история подобный пример глубокого интереса и такой всесторонней заботы победителей о побежденных в те дни, когда только что затихли пушки?

- Мы уничтожили гитлеровское государство, но мы не мстим немецкому народу, - сказал Берзарин, - немецкий народ должен видеть в нас истинных своих друзей...

...Пока генерал беседовал с литераторами, кинооператоры уже подготовились к съемке. Они выбрали место - лестницу рейхстага. Но все не уместились на ступеньках, и мне, например, пришлось взобраться на спину каменного льва, который во время боя чудом сохранился на своем пьедестале.

Генерала Берзарина усадили в центр группы. Вспышки магния! Затрещали съемочные кинокамеры. Первые пробы сделаны, но тут случилась маленькая заминка: из здания рейхстага наши солдаты вывели какого-то человека в штатском костюме, в испачканном глиной пиджаке, обросшего, худого, бледного, панически испуганного.

Оказалось, что берлинец, мужчина лет тридцати пяти - сорока, какой-то служащий заводской конторы, еще тридцатого апреля очутился в подземной части рейхстага, куда его затащили военные, дабы спасти ему жизнь. Гитлеровцы утверждали, что русские его убьют.

И вот этот человек забился в такую каменную дыру, что не видел, как сдавался гарнизон рейхстага, не знал о капитуляции города, четыре дня не ел, не пил, но наконец-то, обессилев, решил показаться на свет божий.

Увидев наших солдат, этот "рейхстаговский узник" совсем потерял самообладание и дрожал, ожидая расстрела.

Наш офицер, проверивший его документы, сказал:

- Идите домой! Гитлер капут! Мир!

Это перевели мужчине по-немецки. Но он не поверил ничему и не трогался с места.

- Нах хауз! Домой! Живи на здоровье! - повторил офицер.

Немец вдруг заплакал от страха или боясь поверить нежданной радости, опустился на колени и стал ловить руку офицера, чтобы ее поцеловать.

- Убирайся! - уже разозлился офицер, резко отдернув руку.

Увидев множество русских офицеров и генерала, немец снова

замер на месте.

- Сам комендант Берлина отпускает тебя домой и желает хорошей жизни, сказал тогда офицер и показал на Берзарина.

- Ох, герр комендант! - пролепетал немец, не поняв, конечно, всего, что сказал ему офицер, но по доброму его голосу и жестам догадавшись, что его отпускают. - Ох, герр комендант!

Он снова опустился на колени, поклонился, потом встал и, прижимая руку к сердцу, пошел от рейхстага сначала тихо, а потом все быстрее.

Но, отойдя метров тридцать, этот человек обернулся на треск кинокамеры и вдруг... робко улыбнулся. Должно быть, это была первая его улыбка за много дней, если не месяцев, ужасных мучений и страха, робкая улыбка в надежде на жизнь и счастье.

- Счастливо, счастливо, привет жене! - махнул ему рукой Берзарин, пока кинооператоры, используя хорошее солнечное освещение рейхстага, готовились к новой съемке.

На той стороне

Шестого мая при ясном свете теплого и приятного дня я впервые увидел светло-серую гладь реки с нежным и мягким именем, которое давно уже связывалось у нас с представлением о чем-то очень далеком, лежащем в глубине Германии. Я увидел Эльбу.

Мы подъехали к реке на нашей машине, с тем чтобы оставить ее на берегу и переправиться на другую сторону.

Здесь в небольшом, тихом городке Ней-Руппин наш Корпуснов присоединил "радиотанк" к длинному ряду других военных машин, стоявших вдоль узких улиц, на аккуратных площадях и на берегу Эльбы. Это были машины и танки наших полков, вышедших к Эльбе и здесь, как говорится, "свой закончивших поход"!

Река оказалась пустынной. Несколько пароходов, видневшихся неподалеку, стояли на якоре. Их привели сюда по каналам из Шпрее, из центра Берлина, когда там начались бои.

Это были главным образом прогулочные пароходики с ослепительно белыми бортами, с разноцветными тентами на верхней палубе, с шезлонгами и полотняными стульями, разбросанными вдоль леерных ограждений. Казалось, что суда приплыли не из Берлина, нет, а откуда-то уж очень издалека, из забытой нами мирной жизни.

То ли вид нарядных пароходиков, то ли солнце, искрящееся на волнах, на круглоголовых поплавках бакенов, то ли просто радостное настроение, которое мы привезли с собой, окрашивало все здесь в праздничные тона.

Городок Ней-Руппин почти не пострадал от войны, его

больше опустошили толпы беженцев, в панике бежавшие через мост и деревянные переправы.

Это драпали на тот берег те, кто предпочитал американский плен общению с русскими, те, кто надеялся "нырнуть на дно" и отлежаться там, растворившись среди жителей многочисленных городов Западной Германии.

Но переправы были разрушены, и теперь уже ни один нацист не мог здесь перебраться на запад ни по воздуху, ни по земле, ни по воде Эльбы, ставшей широкой пограничной полосой, по которой стремительно бегали лишь военные катера союзников.

Мы немного опоздали к назначенному часу, и группа офицеров во главе с командиром корпуса генералом Цветаевым уже успела переправиться через реку. В одном из городков в глубине Западной Германии была намечена встреча офицеров советской и американской армий.

Дежуривший на берегу русский старшина взмахнул рукой с красным флажком и громко свистнул. Его услышали на том берегу, потому что Эльба здесь казалась не шире трехсот метров. Мы отчетливо видели фигуры американских солдат.

И вот в берег ткнулась плоскодонная широкая металлическая лодка с маленьким мотором на корме. В ней сидели двое рослых американских солдат в своей обычной форме: светло-серых курточках и брюках навыпуск. Они ловко выскочили из лодки, печатая узорчатый след от подошв своих крупных ботинок на влажной земле.

Американцы-перевозчики взглянули на нас с любопытством, хотя они уже перевозили русских офицеров. Небрежным движением вскинув ладонь к пилоткам, они приветствовали гостей. Мы ответили тем же и взглядами не менее любопытными.

- Хорош... Пожалуйста!... - сказал один солдат, уже выучивший русское приветствие. Он показал рукой на лодку.

- Сенк ю вери мач! - хором, но не слишком уверенные в своем произношении, ответили я и Спасский по-английски, и на этом церемония нашего знакомства с солдатами-перевозчиками закончилась. А через минуту мы уже сидели вместе в лодке, которая широким своим днищем мягко развернулась на воде и быстро двинулась к западному берегу. Американские солдаты улыбались. Мы тоже. Лодку чуть-чуть качало. Поворачивался, словно на шарнирах, восточный берег, как бы унося с собой в сторону ряд машин, торчащие над водой обломки бетонных быков-устоев, разрушенную переправу.

Мы вылезли из лодки, американцы пересадили нас на открытые машины с коротким кузовом - полугрузовые, полулегковые, известные среди шоферов под именем "додж три

четверти". На переднем сиденье, положив на руль свои крупные темные руки, уселся американский солдат, шофер-негр.

Он сразу же дал нам почувствовать силу бьющего в лицо встречного ветра, когда машина несется но открытой со всех сторон дороге и на спидометре стрелка дрожит около цифры - сто километров в час!

Если я скажу, что солдат-негр лихо вел машину, то выражусь слишком мягко. Он вел ее по острой грани между дерзким движением и катастрофой.

Мы лишь немного сбавляли скорость, как вихрь врываясь на узкие улочки маленьких западногерманских городков. Здесь шофер срезал углы так, что выбрасывал при этом машину на тротуар к ужасу разбегавшихся в сторону жителей.

Но сам наш водитель выглядел невозмутимым. Прямо перед собой я видел его широкую, спокойную спину. Он за рулем почти не делал резких движений руками, он только наклонял весь корпус в ту сторону, куда кренился "додж", и сливался с машиной, как летчик со своим самолетом, совершая в небе "рутой вираж.

Мы продвигались в глубину Западной Германии, минуя небольшие городки и множество селений. Здесь удивляло полное отсутствие каких-либо следов войны.

Как непохожи были эти чистенькие, внешне уютные, совершенно мирного вида города, с аккуратно подметенными мостовыми, цветущими сквериками на площадях, с нормально движущимися автобусами, на израненные, полуразрушенные города восточной части страны, в полную меру хлебнувшие из горькой чаши войны.

Шестого был воскресный день, и по улицам этих городков медленно шествовали празднично одетые жители - мужчины, женщины и дети, неприязненно и удивленно провожая взглядами машину с русскими офицерами.

Эти контрасты с тем, что мы видели к востоку от Эльбы, были так разительны, что сами по себе более чем красноречиво говорили о разном характере боев, прошедших на востоке и на западе Германии.

В кузове нашего "доджа" сидел американец - военный журналист - мужчина лет тридцати пяти, худощавый, высокий, с рыжеватыми усиками. Он сопровождал нас, чтобы написать статью или очерк о встрече офицеров союзных войск.

Это был наш коллега, чувствовалось, что он расположен к нам и, как все в те дни, был наполнен радостным чувством и окрылен душевным подъемом. Он внимательно разглядывал нас, а мы присматривались к нему, и в той мере, в какой это нам

позволяла быстрая езда, тряска в кузове и слабое знание английского языка, мы старались завязать разговор. Фамилия журналиста была, кажется, Смит, типичная американская фамилия. Он рассказал, что служит сотрудником дивизионной газеты, по мирной профессии - учитель, в штате Айова его ждет жена, двое детей.

Мы разговорились о военном положении в Германии. После капитуляции Берлина война в стране формально еще продолжалась. Нам стало известно, что гроссадмирал Дениц - преемник Гитлера - подписал обращение к немецкому народу и приказ войскам, в которых требовал продолжать военные действия, а всех желающих прекратить сопротивление называл трусами и предателями.

Я сказал Смиту, что гитлеровцы сопротивляются только в районах своего восточного фронта, на западе они давно уже показали союзникам спины.

Смит ухмыльнулся и пожал плечами, как бы говоря, что он не отвечает за немцев.

- Дениц сказал: они дерутся, чтобы спасти жизнь беженцев.

Смит произнес это тоном, по которому трудно было решить, осуждает ли он Деница, продолжавшего войну, тем самым обрекая на бессмысленную смерть германских солдат, или же он снисходительно относится к действиям гроссадмирала - фанатичного приверженца Гитлера. Мне казалось, что второе ближе к истине.

- Кто эти беженцы - нацисты? И почему они бегут именно к вам, за Эльбу?

Смит снова пожал плечами.

- Мы их не приглашаем, - сказал он. - И потом, об этом не пишет моя дивизионная газета.

Может быть, у Смита и было какое-то мнение на этот счет, но сейчас он отвечал нам главным образом улыбкой, уходя от прямых объяснений.

- Для вас война кончилась, а меня еще ждет фронт, - сказал он немного погодя, с явной грустью и в глазах, и в голосе. Оказалось, что его дивизия отправляется за океан, но не в Штаты, а на войну с Японией.

Эта перспектива не очень-то, кажется, радовала военного журналиста Смита.

Я отметил про себя, что он говорил о наших врагах фашистах скорее с любопытством, чем с отвращением, а главное, без той прямоты и убежденности, которые диктует осознанная ненависть. И это журналист в действующей армии, чей долг воспитывать эту ненависть у солдат!

Мы остановились на короткое время в каком-то селении, где наши провожатые уточняли маршрут. Нас завели в штаб, и, разминая ноги, мы погуляли немного по его вестибюлю.

Я не знаю, что это был за штаб, из двери в дверь и по лестнице мимо шныряли офицеры с папками и таращили глаза на русские погоны, на орденские планки, украшавшие выгоревшие наши гимнастерки. А мы чувствовали себя стесненно в штабе американцев. Союзники союзниками, а все-таки что-то настороженное нет-нет да и проскальзывало в мимолетно брошенных взглядах,

А затем снова машина, и дрожащая стрелка спидометра, и ветер, с такой силой бьющий в лицо, что трудно даже дышать. Мне потом подумалось, что, может быть, неспроста нас так быстро везли по западногерманским дорогам, так быстро, что мы не могли ничего разглядеть вокруг.

Но было одно, что нельзя было не увидеть и не запомнить: люди, подбегавшие близко к шоссе, что-то кричавшие нам, махавшие нам руками. Мы быстро догадались - это русские, угнанные гитлеровцами за Эльбу.

Их уже освободили из лагерей, они ушли от своих бывших хозяев, но союзные власти еще не собирались отправлять их на родину. Это были наши русские, их внимание привлекла форма и погоны, которые многие еще не видели, и все-таки они догадались, что на американских "доджах" едут советские люди.

Я почти не запомнил город Клетце, ибо пролетел через него с той же головокружительной скоростью. В памяти осталась только улица из невысоких домиков и одноэтажное здание с белыми стенами и палисадником по фронтону.

Нас провели в зал, где от стены к стене тянулись столы и друг против друга сидели русские и американские офицеры. Мы опоздали и поэтому устроились в другом зале, поменьше, куда была открыта дверь.

Судя по оживленному гулу голосов за столами, можно было догадаться о количестве произнесенных тостов за успехи наших армий и союзного оружия.

Многие не сидели за столом, а прохаживались по залу, и во всех уголках его слышалась русская и английская речь. Почему-то запомнился какой-то огромный коричневый буфет и около него два беседующих генерала - наш и американский, а рядом переводчик и два писателя - Иванов и Славин, что-то оживленно обсуждающие.

Опоздавшие, как принято, должны были "догонять" тех, кто уже был разгорячен вином и этой встречей. Само угощение нельзя было назвать обильным - нам дали по пакету так называемого

солдатского НЗ, то есть пайка, который хранится на фронте про запас, на всякий тяжелый случай. Правда, в этот НЗ входили вкусные галеты, печенье и плитка шоколада.

Я пишу об этих гастрономических подробностях не из любви к подробностям как таковым, а потому, что в ту минуту я невольно вспомнил черные ржаные сухари, которые выдавали нам как НЗ в тяжелые годы начала войны.

Мы были беднее тогда, но солдатская храбрость определяется не количеством калорий, и, как говорится, дай бог американским солдатам с их шоколадом воевать так, как дрались тогда наши бойцы! Все банкеты похожи один на другой и интересны только тем, кто на них не бывал. Было много речей, улыбок, объятий и взаимных поздравлений с победой. Все это стерлось в памяти. Но вот когда мы все вышли из домика, чтобы сесть в машины, меня удивил маленький эпизод.

На противоположной стороне улицы стоял взвод солдат, построенных в две шеренги. Может быть, это была охрана или скорее нечто вроде американского почетного караула. Солдаты стояли в строю весьма небрежно, широко расставив ноги, и, пренебрегая обычной военной субординацией, бесцеремонно разглядывали нашего генерала и офицеров. Когда генерал отдал им честь, они не вытянулись в строю по команде "смирно", как следовало бы ожидать, а, наоборот, едва ли не каждый солдат вытащил свой фотоаппарат и нацелился им на наших офицеров.

Я увидел, что это ошеломило генерала, ибо выглядело по меньшей мере неуважительно. Цветаев резко отвернулся, правда ничего не сказав сопровождавшим его американцам. Действительно, можно ли представить себе подобную картину в нашей армии? Строй почетного караула, мгновенно превращающийся в назойливых фотографов?!

Мы пробыли среди американских военных всего лишь несколько часов, этого слишком мало, чтобы что-либо писать о порядках в этой армии, просто странный эпизод удивил меня, а потому и запомнился.

Весь обратный путь я проделал в том же "додже", на этот раз замыкавшем длинный кортеж машин, несущихся от Клетце к Эльбе. Впереди двигались два бронетранспортера с солдатами охраны. Грохочущий скрежет гусениц этих машин еще издали предупреждал всех о приближении необычной колонны.

Пошел мелкий теплый дождик. Его тонкая влажная паутина повисла в воздухе, она обволакивала и деревья, и дорогу, и наши плащи.

Вскоре после того, как мы отъехали от Клетце, на окраинах близлежащего маленького городка нас встретила большая толпа

людей с красными флажками в руках. Их приветственные крики огласили воздух.

Такая же группа людей стояла у въезда в другое селение, и в третье, и в четвертое.

Это снова были наши люди, русские. Слух о том, что в глубину западной зоны приехали советские офицеры, должно быть, очень быстро распространился среди военнопленных и угнанных в неволю, и теперь они поджидали нас на обратном пути, чтобы взглянуть на родные лица, услышать русскую речь и хотя бы просто криком, одним словом выразить нам всю полноту своих радостных чувств, счастье свое и надежду на скорое возвращение в Россию.

- Ура, товарищи! - кричали они.

- Ура, русские!

И ветер доносил до нас это текучее, раскатистое, густое "ааа", будоражащее наши сердца.

Мы вскакивали со своих сидений и тоже кричали "ура", махали руками и тоже захлебывались от слов, от ветра, бьющего в лицо, от того возвышенного чувства восторга, которое трудно сейчас передать.

О, как нам хотелось остановить машину, чтобы поговорить с нашими людьми, сообщить им, что советская администрация сделает все возможное для скорейшего их возвращения на родину! Ведь они в этот день, конечно, впервые увидели в Западной Германии своих соотечественников - офицеров армии-освободительницы.

Но американцы гнали свой кортеж машин все быстрее и быстрее.

Конечно, был разработан регламент этой встречи и поездки. Конечно, союзники не хотели его нарушать, а наши офицеры не чувствовали себя вправе на этом настаивать. Вспомните, какое это было воскресенье, - всего неделю назад сожгли "Гитлера, четыре дня назад пал Берлин, а формально вторая мировая война еще продолжалась,

У американцев был предлог не останавливать машины - это понятно, они и потом тормозили работу по передаче наших людей в русскую зону. Но не это меня удивило. Поражало другое: наши люди, а среди них поляки со своими национальными флагами, чехи, болгары, румыны - все они выстроились у обочин дороги буквально в многокилометровую живую людскую стену.

И невольно думалось: сколько же народа угнали нацисты в рабство, если только на одном этом участке, вдоль одной этой дороги собрались за час-два тысячи и тысячи мужчин и женщин, с надеждой и любовью смотрящих на восток, за Эльбу.

В жизни каждого человека бывают минуты, которые он относит к одним из самых ярких, необычных и неповторимых. И через много лет, вспоминая это длинное, гладкое, как зеркало, немецкое шоссе и толпы людей вдоль него, со слезами радости приветствующих своих освободителей, и этот теплый майский дождик, который хлестал нас по лицам все сильнее, но мы не замечали этого, охваченные общим ликующим возбуждением, - я всякий раз чувствую, что сердце снова начинает сильно биться, как и в тот предвечерний час на дороге к Эльбе.

И вот последний короткий завершающий эпизод прощания на берегу реки. На Эльбе еще соблюдалась светомаскировка. Когда мы вылезли из машин и остановились у самой воды, вокруг лежала тьма, ни проблеска света и только звезды на краю ясного неба могли сойти за огоньки далеких селений.

Офицеры-союзники прощались. В порыве дружеских чувств они обменивались памятными значками - наши снимали со своих пилоток красные звездочки, американцы - спаянные вместе две металлические буквы "05" - Соединенные Штаты.

Подошли к берегу моторные лодки. А шумное прощание еще продолжалось, крепкие рукопожатия, улыбки, обмен папиросами и сигаретами, последние затяжки.

Плоскодонные лодки пересекли уже середину реки - водную границу Эльбы, а наши провожатые еще стояли у воды, махая руками.

В те дни многим казалось, что боевая дружба, порожденная ненавистью к фашизму и общей борьбой, будет долго притягивать солдатские сердца. Однако случилось иначе. Но в этом нет вины тех простых людей, одетых в военные мундиры, которые крепко пожимали друг другу руки поздно вечером шестого мая на западном берегу Эльбы.

Ночная тревога

Стрельба началась внезапно около полуночи. Где-то неподалеку взорвалась ракета, и красный распустившийся ее цветок повис над лесом и сгорел, растекаясь крупными огневыми каплями.

И тотчас, словно по команде, стрельба еще усилилась, пулеметные очереди раздавались то справа, то слева, то впереди нашей машины, остановившейся на дороге в лесу.

Мы ехали в Штраусберг на наш пункт прямой связи с Москвой, чтобы, как обычно, на рассвете передать наши записи.

Самым странным и пугающим представлялось нам то, что выстрелы не раздавались в каком-то одном направлении, а блуждали по всему лесу, словно стреляли всюду вокруг нас.

Наш шофер Корпуснов заглушил мотор, и мы вылезли из

кузова, чтобы оглядеться. Кругом простиралась глухая темень. Ночь была безлунная, но все-таки дорога немного отличалась от черной стены деревьев, на ней вроде что-то проблескивало, - это потому, что просека в лесу открывала чистое, звездное небо.

Прошла минута, другая, стрельба не утихала. В отрывистый стук пулеметов вплетались трещоточные голоса автоматов, где-то вдалеке тяжко, со вздохом ухнуло орудие, а в небе запылали пунктиры красных трассирующих пуль.

Они скрещивались, пересекались, свивались вместе и повисали над просекой, как огненные жгуты, которые тушила бездонная глубина ночи.

Все это могло показаться красивым, но не нам и не в ту минуту, потому что мы боялись неизвестного и не понимали, почему и куда стреляют, и, наконец, мы могли ожидать нападения на нашу машину какой-нибудь группы отчаявшихся головорезов эсэсовцев, которые еще бродили в те дни в окрестностях Берлина.

Стараясь не выдавать себя ни шумом, ни светом фонарей, мы подсчитали свои боевые возможности и оружие: несколько пистолетов и один автомат маловато для боя!

Признаться, мы чувствовали себя в этот момент не очень-то весело. В таких случаях всегда тяготит даже не страх или предчувствие неравного боя, а больше всего неизвестность, мучительная неизвестность.

Что же происходило в этом большом лесу? Казалось, теперь уже стреляют чуть ли не за каждой сосной. Что нам делать: двигаться вперед или стоять, ждать врага или идти навстречу ему?

А пули свистели все сильнее между деревьями, над машиной, над головами. А чьи это пули: наши или вражеские?

Удивительно мерзостное это состояние - попасть ночью в лесу под беспорядочный пулеметный и автоматный огонь! Тот, кто испытал это, знает, каким морозом по коже подирает эта кутерьма, когда ни ты ничего не видишь, ни тебя никто не видит, когда любая шальная пуля может убить или сам ты невольно сразишь своего соседа.

Прошло минут десять, а мы все сидели с пистолетами в руках около нашей машины в мучительной нерешительности, пока наконец не надумали послать "разведгруппу" к мерцающему в глубине леса устойчивому огоньку. Он был похож на свет в окошке какого-то домика.

Пошли вперед я и наш шофер Корпуснов. Мы на животе переползли просеку, а по лесу двигались осторожно, перебегая от дерева к дереву и прячась за каждый ствол.

- Большая банда офицеров орудует в лесу, кому еще палить, право слово!

Корпуснов шепнул мне это, когда мы столкнулись плечами за стволом крупной сосны.

- А почему стреляют кругом - и там и здесь? - тихо спросил я.

- Это наши их окружают.

- А может, это банда окружает?

- Кого?

- А черт их знает, нас например!

- Сволочь недобитая, не настрелялись еще за войну, - выругался Корпуснов, - прошьют мне пулей мотор, я с кого спрошу?

- Только с домового.

- Какого еще домового?

- Ну, с черта лесного. С кого еще!

- Ну, гады недобитые, только троньте мне машину! - бурчал Корпуснов и несколько раз оглянулся назад, где на открытой обстрелу дороге оставалась наша машина.

Не без страха, от которого замирает сердце и становятся словно ватными руки и ноги, мы тихонько подползли к освещенному окну домика. И здесь залегли в густой тени леса, прислушиваясь к тому смутному говору, который доносился сквозь приоткрытую дверь. В этом домике могли быть и наши, и гитлеровцы.

- Слышишь, брешут по-ихнему, - шепнул Корпуснов.

- Нет, наши, - сказал я не слишком уверенно.

- А по-моему - фрицы!

- Наши, Михаил Иванович, наши!

- Тогда смотри, двум смертям не бывать, а одной не миновать: я бросаюсь вперед, - сказал Корпуснов, поднимаясь с травы, и я не успел схватить его за плечо, чтобы остановить, как в этот же момент широко распахнулась дверь дома и в ярко освещенном прямоугольнике появился человек. Это был наш солдат, молодой парень без пилотки, в широко расстегнутой у ворота гимнастерке, с автоматом в руке. Волосы у солдата разметались по ветру и были рыжими или казались такими в этом освещении.

Корпуснов замер на месте, но солдат, смотрящий со света в темноту, не видел его. Зато мы хорошо видели, как он улыбался, широко открывая десны, задумчиво, как бы для себя, как улыбаются люди своим мыслям, когда их никто не видит.

Солдат вскинул автомат, и Корпуснов грохнулся всем телом в траву. Дуло автомата поднималось все выше, выше, солдат даже не обратил внимания на шум, и вот трассирующая пунктирная

линия из светящихся пуль взметнулась высоко в небо, затем падающей широкой петлей захлестнула над нами вершины вековых сосен.

Солдат дал вторую очередь. Он просто палил в небо. Пораженные, мы ничего не могли понять.

- Ах ты дьявол! - крикнул Корпуснов и проскочил в домик.

Я тотчас вошел вслед за ним. Мы увидели небольшую комнату, группу сидевших около стола солдат, в углу катушки связистов и маленький телефонный аппарат.

- Ребята, почему такая стрельба в лесу? - спросил Корпуснов, с трудом переводя дыхание и вытирая пот со лба. - Мы, значит, с машиной там стоим на просеке. Стреляют сильно!

- Стреляют! Это хорошо. Потому, солдат, капитуляция! - сказал тот самый связист, который стрелял на крыльце и сейчас зашел в дом вместе с Корпусновым. - Все в воздух сажают. Из орудий даже - холостыми. С радости. И куда теперь девать патроны? Салют, братцы, салют!

И связист счастливо улыбнулся, протягивая свою руку Корпуснову.

Но мы тотчас бросились со всех ног назад к нашей машине, к нашим товарищам, которые еще томились там неизвестностью и ожидали нападения банды гитлеровцев. А стрельба все продолжалась. Теперь нам казалось, стреляют не только в штраусбергском лесу, но и дальше, во все стороны за десятки километров, во всех селениях, в каждом берлинском квартале.

- Ну что, банда? - тихо спросил меня кто-то залезший под кузов машины.

- Какая там банда, война кончилась. Связисты в домике говорят капитуляция!

Мы смеялись над нашими страхами, мы кричали, мы пели, и хотелось плакать от восторга, когда наш Корпуснов, включив на полную силу фары машины, гнал ее через лес к Штраусбергу.

...А на следующее утро мы узнали, что седьмого мая в Реймсе был подписан предварительный протокол о капитуляции немцев и теперь готовилось торжественное подписание генерального акта о полной и безоговорочной капитуляции.

Союзники сообщили об этом поздно вечером - открытым текстом. Известие перехватили наши радисты, оно молнией распространилось по частям, вызвав в ночь с седьмого на восьмое мая эту беспорядочную стрельбу по всей Восточной Германии, этот стихийный радостный солдатский салют в честь наступавшего мира.

Капитуляция

О дне торжественного подписания капитуляции мы узнали

восьмого мая в пути от случайных попутчиков - американцев. Дороги к востоку от Эльбы были заполнены перемещавшейся польской армией. Шумящий, многоликий, бурный поток людей и машин буквально переливался через края широких асфальтовых магистралей. Солдаты, едущие в кузовах бронетранспортеров, на броне танков, на орудийных передках, то и дело затягивали песни, едва различимые в грохоте колес и гусениц. Но иногда ветер доносил мелодии этих песен протяжно-грустных, извечных солдатских песен о доме. Польское войско, покидая германские дороги, шло на родину.

Маленький американский "виллис" старательно пробивался сквозь медленно текущие воинские колонны. Четверо американских офицеров, высокие, сухопарые, в своих просторных, похожих на спортивные, военных костюмах, стояли в машине. Они-то и сообщили нам последние новости.

Немцы объявили о капитуляции всех своих вооруженных сил. Армия, где служат эти офицеры, стоящая за Эльбой, уезжает на Тихий океан. Офицеры получили разрешение осмотреть Берлин.

Каждый из них был вооружен одним, а то и двумя фотоаппаратами. Американцы торопились сделать снимки на улицах павшей столицы.

Мы тоже немедленно повернули к Берлину.

...Восьмого мая над городом взошло солнечное, прозрачное утро, шестое мирное утро в Берлине. На улицах царила тишина, к которой еще не успели привыкнуть ни наши воины, ни сами берлинцы, тишина, удивлявшая уже одним тем, что ее "много" - ив одном квартале, и в другом, и во всех районах огромного города.

В этот день центром Берлина стал восточный район Карлхорст, где в скромном белостенном здании с прямоугольными колоннами у парадного подъезда немецкие генералы должны были подписать акт о своей полной и безоговорочной капитуляции.

Приготовления к церемонии начались с утра, когда во двор бывшего немецкого военно-инженерного училища начали съезжаться машины генералов, командующих армиями и корпусами, многочисленных военных корреспондентов и кинооператоров.

Мы поставили и наш зеленый "радиотанк" за домом, в тени деревьев, сбросив на нежную траву газонов толстые кольца электрокабеля. Кабель был протянут в тот зал здания, где еще недавно обедали курсанты гитлеровского училища, и наши аппараты, таким образом, оказались подготовленными к записи торжественного события, которое в этом скромном зале венчало

собой победный конец войны.

Я и сейчас как бы вижу перед собой этот зал с балконом по правую сторону на втором этаже, там разместился духовой военный оркестр. Напротив входной двери пропускали свет в зал огромные прямоугольные окна с тяжелыми коричневыми портьерами. Солнечные блики лежали на паркете, на зеленом сукне, покрывавшем длинные узкие столы.

Один из них, ближе к окнам, предназначался для прессы, второй для советских генералов, третий стол, стоящий перпендикулярно к этим двум, для представителей верховного союзного командования. И, наконец, еще один, самый маленький, на трех человек, стоял около входной двери. Это был стол для немцев.

Несколько наших офицеров раскладывали на столах чернильные приборы, бумагу и простенькие ручки, какими пишут школьники.

Должно быть, старшина из комендантской роты штаба фронта не нашел лучших в разрушенном городе. На столах стояли еще пустые школьные чернильницы и лежали пачки наших папирос "Беломорканал".

Все здесь выглядело предельно скромно и по-фронтовому просто. В зал, взглянуть на столы, на стены с цветными олеографиями в рамках, то и дело входили генералы, прибывшие с равных концов фронта. Мне запомнилось, как один из офицеров, отвечающий, видимо, за порядок в зале, ходил между столов и уже несколько раз заново переставлял стулья. В углах зала суетились и громыхали своей аппаратурой кинооператоры.

И, глядя на озабоченные и уставшие от суматохи лица генералов, корреспондентов, артиллерийского старшины, который куском одолженного у нас шнура привязывал над столом союзного командования французский флаг, трудно было представить себе, что именно здесь и сегодня, в бывшей столовой немецкого училища, в зале, где еще вчера находились воины-саперы, в этом ничем не примечательном доме, произойдет событие, которому суждено стать поворотным пунктом в истории народов.

Самолеты с представителями союзного командования, с американскими, английскими, французскими журналистами приземлялись на асфальтированном поле аэродрома Темпельгоф рано утром восьмого мая. Прямо с аэродрома по берлинским улицам, где через каждые пятьдесят метров стояли наши солдаты-регулировщики с флажками, кортеж машин проехал в Карлхорст.

Прилетели и немецкие генералы: фельдмаршал Кейтель, генерал-полковник Штумпф, адмирал Фридебург. Они тоже

приехали в Карлхорст, но мне не удалось увидеть их утром. Гитлеровские генералы расположились в отведенных им домах и полдня, до темноты, находились в своих комнатах.

Среди корреспондентов распространился слух, что немцы "еще думают", совещаются относительно условий капитуляции, хотя еще вчера в Реймсе был подписан предварительный протокол.

Томительное ожидание начала церемонии растянулось почти на сутки. Лишенные точной информации, мы строили различные догадки и, чтобы скоротать время, то возились со своей аппаратурой, то гуляли по двору училища, около парадных дверей дома. Там стояли двое часовых с автоматами.

Уже под вечер, когда закатившееся солнце позолотило железную крышу инженерного училища, одну из немногих крыш в Берлине, не разорванную осколками мин и снарядов, пронесся было слух, что церемония скоро начнется.

Тут произошло заметное оживление во дворе. К группе советских журналистов подошел тот самый офицер, который переставлял стулья в зале.

Слова, с которыми он обратился к журналистам, звучат сейчас странно, если не сказать - малоправдоподобно. Но ведь какой это был день! И сама атмосфера ожидания, глубокое волнение, охватившее всех, от солдат-автоматчиков до маршалов, суматоха с приготовлениями к высокоторжественной церемонии - все это создавало настроение поистине необыкновенное и неповторимое.

Должно быть, офицеру казалось, что он что-то упустил, забыл, не все приготовил для заседания. Он знал, что будут подписывать протоколы.

- Товарищи журналисты, у вас должны быть хорошие самопишущие ручки? сказал он, скользнув глазами по верхним карманам наших гимнастерок.

И вдруг спросил:

- Не даст ли кто красивую ручку Кейтелю, подписать капитуляцию?

Наступила пауза. Мне показалось, что офицер и сам был смущен своим вопросом. Я не знаю, почему он решил, что у Кейтеля не найдется подходящей ручки? Она, конечно, у него нашлась.

Дать Кейтелю ручку! Так просто! Дать ручку, которой он от имени побежденной Германии будет подписывать капитуляцию!

Я помню, как уставший офицер выжидательно смотрел на журналистов, а журналисты удивленно на него.

- А он отдаст?

- Что? - не понял офицер.

- Ручку отдаст?

- Ну, я думаю, будет неудобно просить... Может быть, и нет, неуверенно ответил он. И вдруг сам улыбнулся.

- Пусть тогда своей подписывает, - заметил кто-то из нашей группы.

Никто из журналистов, людей нежадных и привыкших, как и солдаты в бою, делиться всем с товарищами, не пожелал подарить фельдмаршалу Кейтелю автоматическую ручку.

...Прошло в ожидании еще несколько часов. Скоро стало совсем темно.

Наконец-то без десяти минут двенадцать по московскому времени в зал заседаний начали входить представители союзного командования, дипломаты, многочисленные корреспонденты, кинооператоры, прилетевшие на самолетах из США, Англии, Франции. Вдоль стенки выстроились наши фото - и кинорепортеры, они заняли места и в проходах между столами.

Ровно в полночь зажглись все люстры в зале. Твердым шагом, в слегка поскрипывающих сапогах, неторопливо вошел в зал маршал Жуков, шага на четыре сзади него шли главный маршал авиации Артур Теддер, генерал Карл Спаатс, адмирал Берроу и представитель Франции - генерал Делатр де Тассиньи.

В течение всего заседания, продолжавшегося от двадцати четырех часов восьмого мая и до ноль часов сорока пяти минут девятого мая, я сидел неподалеку от стола президиума, вел на листе бумаги поминутную запись церемонии подписания капитуляции.

К сожалению, этот листок бумаги я впоследствии утерял, но главное и существенное прочно врезалось мне в память.

Первая фраза, которую произнес председательствующий, обращаясь через переводчиков ко всем присутствующим, была такова:

"Господа, мы собрались сюда, чтобы предложить представителям верховного немецкого командования подписать акт о полной и безоговорочной капитуляции..."

Он добавил еще несколько слов, объясняя цель заседания. Речь его была предельно краткой. Не было нужды пространно разъяснять значение этой исторической церемонии.

После этого было приказано ввести в зал немцев. И сразу наступила тишина такая, что стало слышно дыхание соседа. Все взоры обратились к раскрытым дверям в зал, за ними просматривалось несколько метров коридора.

Этот звук родился сначала как будто бы далеко. Странный ритмический звук. Признаться, я не сразу догадался, что это.

Постукивание усилилось. Еще минута. И стало ясно, что это немецкие генералы, четко отбивая по паркету прусский шаг, приближались к дверям зала.

И вот они появились в дверях, впереди - Кейтель, в парадном светло-сером мундире, при всех орденах, с железным крестом на груди. Едва переступив порог, он выдвинул вперед полусогнутую в локте руку с коротким жезлом. Жест был театрален и фальшив. Взмах жезла означал воинское приветствие фельдмаршала.

Позже я видел кинодокументы Нюрнбергского процесса. Кейтель вместе с другими гитлеровскими главарями находился на скамье подсудимых. Он сидел там сгорбившись, с худым лицом, потухшими глазами, - так быстро он потерял свою петушиную осанку.

Но в ту ночь перед нами стоял еще другой Кейтель. Дородный генерал, с румяным полным лицом, с подчеркнуто гордой осанкой, с прусской чванливостью, напыщенно взмахивал он своим жезлом.

Должно быть, в ту минуту он еще не видел перед собой нюрнбергской виселицы. Может быть, вместе с другими фашистскими генералами он еще надеялся, что выйдет сухим из воды, останется в живых, с тем чтобы снова служить нацизму.

Важным кивком головы давая понять, что он принимает приглашение, Кейтель, а вслед за ним адмирал Фридебург и генерал-полковник Штумпф, аккуратно отодвинув стулья, сели к столу. И тут же за их спинами выстроились трое адъютантов.

Заседание началось. Маршал Жуков, не глядя на Кейтеля и его спутников, а куда-то выше их голов, сказал переводчику:

- Спросите немецких уполномоченных, ознакомились ли они с текстом акта о полной и безоговорочной капитуляции?

Переводчик-майор, заметно волнуясь и стоя вполоборота к Кейтелю, повторил вопрос по-немецки. Микрофоны звукозаписи, прикрепленные к высоким металлическим ножкам, находились перед центром стола президиума. У столика немецких генералов их не было. Пока Кейтель не торопясь вставал со своего стула, наш оператор Алексей Спасский сделал попытку подбежать к немцам с микрофоном. Но ноги его запутались в шнурах, разбросанных на полу. Он едва не упал.

Это маленькое смешное происшествие на какое-то мгновение привлекло внимание всего зала. Нервы у всех были напряжены. Сотни глаз следили за Кейтелем. И вот он достаточно громко, чтобы голос его достиг микрофонов у стола президиума, произнес краткое:

- Яволь!

Кейтель едва успел сесть на свой стул, как

председательствующий попросил перевести второй вопрос:

- Согласны ли представители верховного немецкого командования подписать акт о полной и безоговорочной капитуляции?

И снова, точно догадавшись по выражению лица Жукова, о чем его спрашивают, Кейтель, не ожидая, пока переводчик закончит торопливо произносимую им фразу, бросил громкое:

- Яволь!

Два раза Кейтель произнес свое "да!". Два слова, и только-то! И это в течение сорока пяти минут заседания. А давно ли фельдмаршал, подобно другим нацистским генералам, был куда более словоохотлив, когда трубил о победах гитлеровского государства.

Я был очень взволнован в этот момент, но все-таки подумал, что вряд ли еще когда-либо два коротеньких слова, произнесенные одно за другим, так много значили, были так весомы и так исчерпывающи, как эти "яволь" Кейтеля, признающего перед всем миром полный разгром и гибель фашистских армий и всего строя.

После ответа Кейтеля наступила небольшая пауза. Едва ли находился в зале хоть один человек, не ощущавший, сколь торжественны и необыкновенны эти минуты. К сердцу каждого подкатил горячий клубок. Торжественность минуты сковывала, подавляла мысли, пьянила радостью.

Я думаю, что в тот день эти чувства разделяли все: и русские, и англичане, и французы, и американцы, и генералы, и кинорепортеры, писатели и солдаты охраны.

За столом президиума переговаривались. Сейчас должна была начаться сама процедура подписания протоколов, заготовленных на четырех языках. Несколько наших дипломатов, неся на полувытянутых руках массивные папки, уже направились было к столику немецкой делегации. Но тут произошел маленький эпизод, незначительное событие.

Один из наших дипломатов, наклонясь к маршалу Жукову, что-то негромко сказал ему. Видимо, он порекомендовал изменить порядок подписания документов. Первыми должны были подписать протоколы немцы. Кейтель уже вытащил из нагрудного кармана френча ручку с позолоченным наконечником. Но тут председательствующий жестом руки остановил наших дипломатов.

- Я предлагаю немецким представителям подойти к нашему столу и здесь подписать акт о капитуляции, - сказал он.

Кейтель выслушал переводчика. Мускулы его лица напряглись. Он нервничал.

Признаться, я не сразу понял, в чем дело. Но едва Кейтель, твердо чеканя шаг, подошел к столу президиума, а за ним потянулись Фридебург, Штумпф и адъютанты, как все стало ясно.

Если бы немецкие генералы оставались за своим столом, то они подписывали бы протоколы сидя или спокойно полуразвалясь в креслах, в окружении вытянувшихся по стойке "смирно" адъютантов. Но на левом конце стола президиума мог стоять только один стул, стул, на который и опустился Кейтель. Два других генерала стояли сзади, ожидая своей очереди подписывать протоколы. За их спинами толпились адъютанты.

Историческая справедливость требовала, чтобы фашистские генералы, залившие мир кровью, здесь, в Карлхорсте, почувствовали в полной мере сдержанный гнев и глубочайшее презрение народов.

Первым вновь вытащил свою ручку Кейтель... И тут произошло то, что и следовало ожидать в эту минуту. В зале находилось множество фото - и кинорепортеров, наших и союзников. Кейтель подписывал протокол. Во всем мире ждали специальных киновыпусков о капитуляции в Берлине, где, кстати говоря, в те дни находились только советские войска.

Газеты всех стран оставляли на первой полосе места для экстренных сообщений и фотографий... И началось, может быть, последнее майское "наступление" в Берлине, бурное наступление фото - и кинооператоров на стол президиума.

Кейтель подписывал листы акта один за другим. И методично, откладывая в сторону ручку, он всякий раз выбрасывал движением век стеклышко монокля из правого глаза. Монокль повисал на шнурке, а Кейтель, приподняв голову, с одним и тем же выражением готовности и внимания смотрел на советских и союзных генералов.

Крупная голова Кейтеля, с аккуратно расчесанными на прямой пробор короткими волосами, то и дело поворачивалась в сторону сотрудника нашего министерства иностранных дел, забиравшего со стола уже подписанные протоколы и подкладывавшего новые. И только при очень внимательном взгляде можно было заметить, как слегка вздрагивают, словно бы от озноба, мясистые, с рыжеватым пушком на пальцах руки Кейтеля, прикасавшегося к актам о капитуляции.

Фоторепортеры, охваченные азартом, устремились к столу президиума.

Особенно неистовствовали американцы, вооруженные фотокамерами, которые трещали резко и громко, как пулеметы. Порой они, забывшись, даже толкали локтями наших генералов, мешали им смотреть.

Наши корреспонденты отступали на несколько шагов, но иностранцы, не понимая или не желая понимать, продолжали "штурмовать" стол президиума. А затем, сначала робко, а потом все энергичнее, к ним присоединялись и советские фотокорреспонденты.

Весь мир жаждал увидеть снимки из зала капитуляции. И напористые корреспонденты, кричавшие что-то друг другу на четырех языках, стали в эти двадцать - тридцать минут хозяевами в доме карлхорстского училища.

Пока немецкие генералы подписывали протоколы, многие в зале обратили внимание на адъютанта, стоявшего за спиной Кейтеля. Это был молодой офицер с железным крестом на груди. Он не сводил своего упорного, буквально кипящего ненавистью взгляда с группы советских генералов. Кто-то рядом со мной сказал вполголоса:

"Как смотрит этот молодой! Волчонок!"

Спустя несколько дней, воскрешая в памяти всю процедуру капитуляции, я подумал: нервно-напыщенное поведение Кейтеля и удивительно равнодушное отношение к немцам наших генералов объяснялось тем, что фашисты видели перед собой "таинственных" победителей "третьего рейха", в то время как наши военачальники рассматривали гитлеровских уполномоченных как битых вояк, к которым все в эти последние минуты войны потеряли интерес.

После гитлеровцев протоколы подписывали союзники. И теперь уже стол президиума был атакован фотокорреспондентами.

Немецкие генералы вернулись к своему маленькому столу у входных дверей. Но едва они уселись на свои стулья, как услышали приказание:

- Немецкая делегация может покинуть зал.

И еще раз натянуто-вычурным жестом Кейтель выбросил вперед руку с фельдмаршальским жезлом. Звякнув каблуками, генералы повернулись к выходу. И снова четкие удары сапог, снова прусский шаг. В этот момент мы увидели спины немцев - они быстро удалялись в глубь коридора.

Вздох радостного облегчения словно бы пронесся по залу. Усталые лица просветлели. Кто-то догадался зажечь еще одну люстру.

Вполголоса, словно боясь нарушить воцарившуюся в зале тишину, переговаривались генералы и журналисты. За столом поднялся маршал Жуков. В очень краткой речи он поздравил всех сидящих в этом зале с наступившей победой.

Так начались в Берлине первые сутки мира. Зал училища быстро опустел. Все устремились в коридоры. В одном из залов на черном столике поблескивал аппарат телефона. Его окружили тесной группой военные корреспонденты центральных советских газет.

Телефон был соединен с Москвой. Корреспондент "Правды" разговаривал с редакцией, уточняя, пойдет ли материал о капитуляции в завтрашних утренних газетах. Ему ответили, что пойдет. Следовательно, надо было сейчас же, безотлагательно, здесь, в Карлхорсте, садиться и писать первые очерки, корреспонденции об этом событии, о последней военной ночи в Европе.

Уставшие после церемонии генералы выходили из здания на чистый воздух, тянули его полной грудью, глубокими вдохами, потом садились в свои машины и уезжали к войскам. На дороге вскоре образовалась "пробка", и автомобильные сигналы будоражили ночную тишину.

Вдруг где-то, должно быть очень далеко, раскатился одинокий взрыв - или орудие ударило холостым, или разорвалась мина, оставленная гитлеровцами. Звук разрыва затих, и снова еще более приятной и необычайной казалась тишина.

Нашей группе тоже надо было срочно уезжать в Штраусберг, чтобы успеть к часу нашей прямой связи с Москвой. И мы заторопились к своим машинам.

Во дворе было темно, но небо казалось ясным, потому что ярко светили звезды. Около машин курили шоферы, по привычке еще пряча огоньки папирос и цигарок в рукава шинелей и гимнастерок. Признаться, за эти томительные минуты ожидания мы все изрядно проголодались и, прежде чем отправиться в путь, решили на ходу закусить. И вот из машин были извлечены хлеб, колбаса, бутылка сухого вина.

Мы ели стоя, запивая глотками вина прямо из горлышка

бутылки, которая ходила по рукам, и, право, я не помню более вкусного ужина, чем этот под открытым небом, рядом с машинами. Мы ели и одновременно переговаривались, смеялись порой беспричинно, только потому, что были радостно возбуждены.

Мы ужинали минут десять, и вдруг произошло совершенно неожиданное. Расположенный на балконе второго этажа военный оркестр, о котором мы забыли, грянул марш. Бравурные его звуки заполнили дворик училища, и ветер словно бы разносил их все дальше и дальше над кварталами города.

И тут же кто-то широко раздвинул тяжелые бархатные портьеры на окнах, на площадку перед домом хлынул свет. Здесь я увидел первые незатемненные окна в Берлине.

Прошло уже более двадцати семи лет, но я и сейчас ясно вижу двор вокруг здания и длинные полосы света из прямоугольных окон, расчертившие асфальт, как шахматную доску, и немного суматошные, возбужденные, как после боя, лица наших людей.

За зданием инженерного училища, как за небольшим, одиноким островом света, лежал затемненный Берлин. Ночь в последний раз словно бы набросила свое темное покрывало на разбомбленные дома, улицы и похожие на разрушенные крепости кварталы.

И, глядя на поверженный, затихший в ночи Берлин и на яркие окна инженерного училища, может быть, именно в эту минуту наиболее глубоко и полно, одним толчком изумленного сердца мы вдруг ощутили, что же произошло. Свершилось величественное, изменяющее всю жизнь событие. Война, в которую уже вжились люди за четыре года ратных трудов, кончилась!

Мост смерти

Тот самый Кейтель, который своим напыщенным видом и взмахами фельдмаршальского жезла пытался сохранить какое-то подобие воинского достоинства в Карлхорсте, при подписании капитуляции, тот самый, что изображал из себя "солдата", лишь выполнявшего волю фюрера, тот самый, кого приближенные Гитлера называли "Лакейтелем", в декабре 1941 года издал директиву, известную под названием: "Нахт унд небель эрласс" - "Приказ ночи и тумана".

Она определяла правила содержания в лагерях тех, кого схватят и "с целью устрашения" повезут из оккупированных нацистами областей и государств в Германию. Здесь они должны предстать перед чрезвычайным судом. "...Если это по каким-либо причинам невозможно, - писалось в приказе, - эти лица после

приговора к превентивному заключению будут отправляться в концентрационные лагеря. Превентивное заключение, как правило, будет продолжаться до конца войны".

Так как цель этого приказа - держать родственников, друзей и знакомых заключенных в неведении относительно судьбы последних, заключенные не должны иметь никаких сношений с внешним миром. Поэтому они не имеют права сами писать, а также получать письма, посылки и иметь свидания. Учреждения, находящиеся вне лагеря, также не должны давать каких-либо справок а заключенных.

"В случае смерти заключенных родственникам не следует сообщать об этом впредь до получения дальнейших указаний..."

Таковы были правила этого "Нахт унд небель эрласс", составленного Кейтелем и Йодлем на "основе распоряжения фюрера". Правила касались миллионов людей, объявленных "врагами империи". Люди, попадавшие за колючую проволоку лагерей, исчезали без следа и могли считать себя заживо погребенными в безвестности.

Писать об этих лагерях - тяжко. Однако ужасные муки и унижения в лагерях смерти не сломили мужества заключенных.

11 апреля, когда наши войска еще находились на линии Одер - Нейсе, готовясь к битве за Берлин, а американцы приближались к Эрфурту, откуда открывалась прямая дорога на Веймар - Бухенвальд, радио поймало коротковолновые сигналы:

"Внимание! Говорит лагерь смерти Бухенвальд, говорит лагерь Бухенвальд!"

Заключенные единственного лагеря, поднявшего восстание и вступившего в бой со своими мучителями, взывали о помощи. Они вели неравный бой. Однако американцы не слишком торопились и появились в Бухенвальде только через полтора дня.

Пепел пятидесяти шести тысяч сожженных в Бухенвальде в те дни словно еще вился над полями Европы.

18 августа 1944 года персонал крематория получил от коменданта приказ одну печь держать растопленной и ночью. На эту ночь обслуживающую команду заперли в запасных помещениях при крематории. Эсэсовцам не нужны были свидетели. Однако один поляк-носильщик ускользнул и спрятался за грудой угля во дворе крематория. Он видел, как отворилась калитка в заборе и во двор ввалилась орава эсэсовских шарфюреров. Они привели человека в штатском. Высокий, широкоплечий, в темном костюме, он шел без пальто, бритая голова была не покрыта.

Незнакомца направили по двору в камеру, и тут грянули выстрелы. Эсэсовцы, таща за собою расстрелянного, исчезли с

ним в камере. Через несколько часов конвой покинул крематорий. Уходя, один из шарфюреров сказал своему спутнику:

- А ты знаешь, кого мы только что в печь сунули? Коммунистического вожака Тельмана...

Так свидетельствовал позднее об убийстве Тельмана заключенный Бухенвальда за номером 2417, писатель Бруно Апиц.

Нашим войскам было далеко до Бухенвальда. Но вот что произошло в зоне наступления советских армий в районе города Фюртенберг. Несколько советских разведчиков, ехавших по дороге на мотоциклах, неожиданно натолкнулись на высокую железобетонную стену, опутанную рядами колючей проволоки.

Наши автоматчики слезли с мотоциклов, и когда один из них случайно притронулся рукой к проволоке, сильный разряд тока ударил его. Солдат упал. Оказалось, что проволока, которой был опутан лагерь, находилась под током высокого напряжения.

Автоматчики проехали вдоль стены, нашли ворота, тоже в густой паутине колючей проволоки. А за воротами тишину вдруг разорвали автоматные очереди и застрочил пулемет.

Уже догадавшись, куда они попали, наши автоматчики решили принять бой с группой эсэсовцев, пытавшихся укрыться за серой шеренгой бараков. Бой оказался коротким. Гитлеровцы вскоре бежали, и наши автоматчики собрались вместе посредине большой посыпанной желтым песком площади.

Вокруг располагались бараки женского международного концентрационного лагеря Равенсбрюк. Лагерь занимал сравнительно небольшую площадь и был оборудован с немецкой аккуратностью: ровные прямоугольники деревянных и каменных строений, дорожки, посыпанные песком, палисадники, где надсмотрщицы и полицайки могли бы нарвать для своей комнаты букетик цветов.

В лагере имелись пекарни, кухня, гараж и отдельный маленький участок из хороших домиков. Здесь жили эсэсовцы и охрана лагеря.

Равенсбрюкский лагерь (Равенсбрюк - вороний мост, заключенные называли его "мостом смерти") был похож на десятки таких же лагерей, в устройстве которых отразились черты пресловутой немецкой аккуратности, соединенной с системой насилия, издевательств, унижения человеческого достоинства.

Лагерь существовал в Германии с 1933 года. Здесь томились немецкие женщины-антифашистки, а с начала войны польки, бельгийки, француженки, чешки, еврейки, цыганки, голландки, норвежки и особенно много советских женщин, попавших в плен или угнанных из родных мест в Германию.

В Равенсбрюке наши автоматчики очутились тридцатого апреля, в день взятия рейхстага, но тогда из Берлина невозможно было проехать в район расположения войск 2-го Белорусского фронта, ибо на отдельных участках еще шли бои с немцами.

Мы побывали в этом лагере позже, когда там уже не было заключенных. Затем через несколько лет мне довелось снова встретиться с группой женщин бывших узниц Равенсбрюка.

Я познакомился с черноглазой и темноволосой учительницей Леонидой Васильевной Бойко.

Учительница географии в сельской школе, Леонида Васильевна продолжает учебу на заочном отделении математического факультета института в Бердичеве, ибо хочет овладеть еще одной специальностью и учить деревенских ребятишек не только географии, но и математике.

Мы долго беседовали, и я записал рассказ Леониды Бойко, который и привожу здесь в сокращенном виде: "...Война застала меня в Одессе. Дочь железнодорожного рабочего, воспитанница сельской школы в Винницкой области, комсомолка, я училась на географическом факультете Одесского государственного университета.

Из Одессы, ставшей вскоре прифронтовым городом, я не эвакуировалась. Еще до войны я обучалась на курсах военных связисток, теперь закончила еще и медицинские курсы.

Фронт подошел близко к городу. На заборах, на стенах домов, в витринах магазинов висел тревожный плакат: "Все на защиту Одессы".

Вскоре меня зачислили в 31-й пехотный полк прославленной 25-й Чапаевской дивизии.

Связист в полку - это боец переднего края. Я сидела за коммутатором, лазила по линии с тяжелой железной катушкой на спине, под огнем исправляла разрывы проводов. Так началась моя фронтовая жизнь.

После длительной обороны Одессы наша часть переправилась на пароходах в Крым. Дивизия очутилась в районе Севастополя, на северной его стороне. Я по-прежнему была связисткой. Но я хорошо пела, танцевала, и меня включили в агитколлектив, выступавший перед солдатами переднего края фронта.

Как раз в это время в осажденный город пришел на мое имя вызов в университет, эвакуировавшийся в город Майкоп. Но командир дивизии, которому принесли на подпись мои бумаги, сказал:

- А кто же будет петь в окопах, воодушевлять бойцов?

И я осталась в Севастополе.

Вскоре меня рекомендовали в партию и выдали мне

кандидатскую книжку.

Нас осталось немного на узкой каменистой полоске берега. Последние защитники Севастополя ожесточенно дрались с врагом. Потом двадцать пять измученных людей двинулись вдоль берега моря, чтобы укрыться в пещерах Камышовой бухты.

В эти пещеры с берега попасть было нельзя, их закрывали отвесные скалы. Туда можно было проникнуть только по воде, с моря. Около двух недель скрывались мы в пещерах. Фашисты знали об этом. Тщетно пытались они уговорить нас сдаться в плен.

Нас мучили голод, жажда. Положение было безнадежно. К пещерам подлетали немецкие самолеты, летчики спускали на тросах доски с надписями: "Выходите, накормим, дадим пить!" Но мы отвечали им ружейным огнем.

Кончились запасы воды. Мы отжимали влажный от дождя песок, чтобы набрать капли влаги для раненых. Но вот к пещерам с моря подошли фашистские катера с автоматчиками. Они нашли вконец обессиленных, измученных людей и полуживыми взяли их в плен.

Меня и других женщин отвезли в симферопольскую тюрьму. Отсюда начались наши страдания, скитания по немецким тюрьмам и лагерям.

Из Симферополя я попала в тюрьму города Славуты Каменец-Подольской области. Это был пересыльный пункт перед отправкой в Германию. Здесь фашисты отбирали коммунистов, евреев и тех, кого они объявили евреями, и отправляли на расстрел.

В Славуте многих ослабевших товарищей скосил тиф. Переболела тифом и я, а когда немного поправилась, меня включили в партию из пятисот военнопленных женщин, которых повезли в немецкую землю.

О, дорога в неволю, трижды проклятая!

Путешествие было таким ужасным, что мы были рады даже прибытию в лагерь Зоэст, надеясь хоть здесь получить еду и надышаться свежим воздухом.

Вспоминаю, мы подъехали к станции вечером. Распахнулись двери вагона, слепящий свет прожекторов, установленных на путях, ударил нам в лицо. Мы не могли разглядеть ничего дальше десяти метров, все тонуло и сливалось на черном фоне.

Вот к нашему вагону приблизились две женщины в черном - эсэсовские надзирательницы.

Из нашего вагона первой выходила пожилая русская женщина - фельдшер. Надзирательницы протянули ей руки, как бы желая помочь спуститься с высокого борта вагона. Доверчиво

отдала им руки узница. Но тут же раздался душераздирающий крик. Эсэсовки с такой силой потянули женщину вниз, что она плашмя упала на землю, ударившись головой о стальной рельс.

Окровавленную, с разбитым глазом, который потом вытек, стонущую от боли заключенную мы несли на руках до самых ворот нашей новой тюрьмы. Охраняемая эсэсовками и собаками, в глубоком молчании, колонна военнопленных миновала железные ворота. "Русская банда" - так окрестили нас гитлеровцы.

В лагере фашисты постепенно отняли у своих пленниц все: привычную одежду, облачив нас в арестантские халаты, затем имена, заменив их номерами. Мой номер был 17350. Ну а потом гитлеровские палачи старались отобрать у нас последнее - жизнь.

Нас, русских, украинских, белорусских женщин-военнопленных, отказавшихся работать на немцев, заключили в барак с нарами в три этажа, тянувшимися во всю длину блока. Проходы между нарами были такие узкие, что через них едва можно было протиснуться. Барак был обнесен рядами колючей проволоки.

День наш был заполнен непосильной, бессмысленной, отупляющей работой.

Мы находились под постоянным наблюдением эсэсовок и полицаек, старших по бараку и всякой другой охраны. Но даже в этих условиях узницы находили возможность собраться вместе небольшими группами, чтобы поговорить по душам, вспомнить родину, дружеской беседой поддержать ослабевших духом товарищей. Более того, почти два года у нас действовали тайные кружки по изучению иностранных языков и политическому самообразованию.

Руководила группами Евгения Лазаревна Клем.

- Пока нас держат за проволокой даже в самом лагере, - говорила она нам, - но в конце концов фашисты снимут ее. И тогда мы будем вместе с женщинами других национальностей. Надо изучать немецкий. Это нам пригодится в будущей борьбе.

И мы начали учебу. Каждую свободную минутку - а их было так мало - мы использовали для этого.

В Равенсбрюке томилось немало немецких коммунисток. Они подходили к колючей проволоке, окружавшей наш барак, знаками выражали нам свое сочувствие и дружбу, пытались поговорить с нами. Это была наша "практика".

Все эти занятия сплотили нас в тесную группу единомышленниц, и вскоре представился первый случай показать мучителям, что мы не покорились им.

Группа наших женщин работала на пошивке лагерной одежды. Они никогда не выполняли норм. За это их зверски

избивала. Нередки были случаи, когда женщин выносили из бетриба в бессознательном состоянии. Но саботаж продолжался.

Гитлеровцы пытались подкупить русских узниц. Они выпустили внутрилагерные деньги. Это были ничего не значащие бумажки, на них нечего было купить, а в лагере не было ни ларька, ни магазина. Эсэсовки пообещали выдавать марку тому, кто выполнит за день всю работу.

- Товарищи, не берите эти марки, нас не купишь, покажем это фашистам! говорила Евгения Лазаревна, и мы все поддержали ее.

На следующий день к концу работы фашисты, несмотря на то что заключенные вновь не выполняли норм, решили все-таки выдать эти марки. Первыми выкликались фамилии русских узниц. Но они громко заявляли, что от подачки отказываются. Нашему примеру последовали чешки, француженки, польки, немецкие женщины.

- Убирайтесь прочь с вашими деньгами! Не будем брать! - кричали мы.

Фашисты сначала оцепенели, увидев перед собой сомкнутый строй взбунтовавшихся узниц. Взбешенные до безумия нашим сопротивлением, эсэсовки начали бить нас.

Они пускали в ход все, что только подвертывалось им под руку: плети с жесткой проволокой внутри, палки, с которыми не расставались наши надзиратели, стулья, стоявшие в бараках. Упавших топтали сапогами.

Но как фашисты ни бесновались, им не удалось вручить нам свои марки. Эта сцена в бетрибе сразу высоко подняла авторитет группы советских узниц. К нашему блоку теперь все чаще стали подходить узницы других национальностей. Они прижимали руки к сердцу, выражая этим свое уважение.

Вскоре мы начали борьбу с "черным транспортом". Это случилось уже после того, как проволоку, ограждавшую наш блок, сняли и мы получили возможность подходить к другим баракам и гулять в немногие свободные минуты, которыми мы располагали.

Время от времени в нашем лагере происходил отбор заключенных для отправки на работу в другие места. Женщин выстраивали на Лагерштрассе, приходили комендант, его адъютант, фабриканты и хозяева. Начиналась унизительная процедура осмотра!

Иногда отбирали партию заключенных в дома терпимости. Отбирали обычно красивых женщин. И каждая из нас старалась одеться похуже, как-нибудь измазаться, сгорбиться.

Но самым тяжёлым для всех заключенных был отбор для "черного транспорта", транспорта ослабевших, больных женщин, обреченных на уничтожение в печах Майданека или Люблина.

Чаще "черный транспорт" отправлялся в Люблинский лагерь.

Существовал крематорий и в Равенсбрюке. Но он был недостаточно "мощный", имел, как говорили фашисты, "малую пропускную способность". Равенсбрюкский крематорий не успевал сжигать даже трупы замученных в лагере, поэтому больных отправляли отсюда и сжигали в люблинских печах.

Подготовку к формированию этого транспорта эсэсовцы маскировали. Они отбирали заключенных под видом направления их на фабрики и заводы. Но мы знали, куда повезут наших подруг.

Первое, что мы сделали, - это обратились с протестом к коменданту лагеря. Две русские девушки вручили протест полицайке из комендатуры. Но тщетно мы ждали ответа. Пришел день отправки "черного транспорта". Жертвы надзиратели наметили раньше, а теперь они стали сгонять женщин к бане.

Лагерь огласился раздирающим душу плачем и криками. Женщины, рыдая, обнимали друг друга. Люди знали, что их ждет смерть.

К нам фашисты пришли, уже собрав несчастных из других блоков. Мы же твердо решили не выдавать своих подруг. По фамилиям нас здесь никто не знал, мы жили под номерами, поэтому, когда эсэсовки начали называть номера своих жертв, никто не откликнулся. Эсэсовки передали список блоковой - польке Мовгосе. Она, думая, что мы ослышались, еще раз повторила номера. Но мы стояли плечом к плечу, закрыв нашими спинами тех, кого выкликали. И фашисты поняли, что это бунт.

Надзирательницы начали бить по лицу женщин, стоявших в первом ряду. Эсэсовки пустили в ход плетки.

- Сумасшедшие, свиньи, мерзавки! - кричали нам полицайки. - Всех вас сейчас выведут из блока и расстреляют!

Но мы стояли твердо. Тогда эсэсовки начали, хватая за руки, перебрасывать женщин в другую половину барака, чтобы увидеть тех, кого наметили в "черный транспорт".

После долгих попыток, пустившись на хитрость, надзирательницы все-таки захватили намеченные жертвы. Мы же выстроились перед блоком и отправились к зданию комендатуры, чтобы еще раз заявить о нашем протесте. Мы кричали, что хотим говорить с комендантом лагеря.

И вот он вышел к нам на крыльцо комендатуры, толстый, грузный, и встал, широко расставив ноги, смотря на нас сверху вниз.

- Кто говорит по-немецки? - крикнул он.

- Я, - ответила Евгения Лазаревна и вышла вперед. - Вы не имеете права так обращаться с нами. Мы - военнопленные.

Существует международная конвенция по обращению с военнопленными. Ни один закон на свете не разрешает убивать, сжигать заживо ослабевших, больных людей. Мы протестуем против "черного транспорта".

Но комендант не слушал ее. Он тотчас ушел в здание, а из ворот лагеря появились немецкие автоматчики. Наставив на нас автоматы, они стали перед колонной.

Вот тогда снова появился комендант и закричал:

- Прочь отсюда, все назад в блок, не уйдете - расстреляю как собак!

Переводчица из комендатуры тоже уговаривала нас:

- Дивчины, ходьте на блок, ходьте на блок!

Но мы продолжали стоять и требовали отменить "черный транспорт". Тогда нас силой погнали в блок. В тот же день мы объявили коллективную голодовку на трое суток. Пятьсот обессилевших женщин отказались от еды.

Впервые в истории лагеря Равенсбрюк заключенные с такой силой и упорством боролись с фашистами, впервые женщины-заключенные осмелились объявить коллективную голодовку. В этот день наших девушек заставили принести в блок большие котлы с похлебкой. Но никто не поднялся со своего места. Все кусочки хлеба, хранившиеся у нас, мы собрали для распределения между самыми слабыми женщинами. Не могли же мы обрекать их на смерть!

- Ох, дивчины, ради бога, не робить того! - говорили нам наши перепуганные блоковые.

Впервые за все время существования лагеря нам предложили искусственный мед. Полицайки стали обедать тут же, в блоке. Они пытались нас соблазнить видом горячей пищи. Но тщетно.

Наши друзья из других блоков, узнав о голодовке, стремились нам помочь. Они передавали нам хлеб, но мы его не брали, лишь благодарили иностранных товарищей за чувства братской солидарности.

В числе жертв, намеченных к уничтожению, была худенькая, с каштановыми волосами, болезненная девушка - Зоя Савельева. Так же, как и я, она сражалась в Севастополе и была связисткой. В боях ранена. Раненую ее и взяли в плен. В лагере Зоя болела тифом, ослабла, и ее фашисты наметили для отправки в Люблин.

Когда группа женщин из "черного транспорта" переходила в другой блок, Зое удалось незаметно выскочить из толпы и забежать в двери нашего русского блока. Это заметила я. Быстро пошла за Зоей, которая забралась на самые верхние нары.

- Девушки, милые, я хочу жить, спрячьте меня! - зашептала она нам. Зоя не плакала, она смотрела на нас горящими от страха

глазами и тряслась как в лихорадке.

Мы решили спрятать Зою на чердаке барака. Однако надзирательницы вскоре обнаружили ее исчезновение. Наш блок оцепили. Полицайки дежурили в столовой блока и даже в уборной. Мы знали, что, если Зою сейчас поймают, ее повесят, а всех, кто жил в этом бараке, жестоко накажут.

Вскоре эсэсовки забрались на чердак. Они ходили там с фонарями, били по углам палками, ворошили старое сено. Несколько раз они прошли от Зои буквально в двух шагах. Ей хотелось кричать от страха и ужаса. Она ведь слышала, как внизу оберуфазеерка Бинц грозила всем в блоке:

"Если беглянку найдут здесь, мы расстреляем всех русских военнопленных, как укрывателей".

На вечернем аппеле узниц Равенсбрюка считали и пересчитывали, держали в строю до ночи.

А в это время в опустевших бараках шел обыск.

Вдруг загудела сирена на отбой.

"Поймали нашу Зою", - подумала я с ужасом. На обратном пути в блок мы еле шли, казалось, что ноги вот-вот подкосятся.

Ночью, выждав время, когда все на нарах уснули, я полезла на чердак. Тихонько позвала; "Зоя!", потом еще раз: "Зоя!"

- Я здесь, - откликнулась она. Нет, Зою не нашли. Бедная девочка! Она подползла к нам, попросила пить, вся дрожала. Мы принесли ей в мисках еду. Так трое суток, каждую ночь, появлялись мы на чердаке. "Черный транспорт" тем временем отправили.

Так что же нам было делать дальше? Зою по-прежнему искали эсэсовки.

- Я знаю, девочки, если меня найдут в блоке, всех вас расстреляют, сказала Зоя. - Трое суток я просидела на чердаке, спасибо вам, родные, но больше не могу. Надо выходить.

Да, Зое надо было выходить. Так решили и мы.

В нашем блоке жила Валя Низовая. Она работала "на песке", на земляных работах в лагере. Ей и поручили мы незаметно привести Зою к месту работы, где бы она смешалась с толпой других заключенных. Зоя спустилась с чердака, выпрыгнула в окно барака. Сначала Валя завела ее в туберкулезный барак, заперла в уборной. Но, должно быть, девушек заметили полицайки.

- Зоя, мы пропали, немцы идут сюда! - крикнула Валя.

И Зоя снова выпрыгнула в окно, стремясь поскорее добраться до того места, где узницы работали "на песке". Она твердо решила, несмотря ни на какие истязания, не выдавать своих подруг и, если поймают, заявить, что пряталась без чьей бы то ни

было помощи.

"На песке" полицайка опознала номер Зои 17426 и схватила ее.

- Допрос не снимайте, хочу говорить с комендантом, - заявила Зоя.

Ее потащили к коменданту лагеря.

- Я пряталась сама, закапывалась в песок, - сказала она ему через переводчицу. Но комендант сам осматривал всю территорию лагеря, его трудно было провести.

- Сумасшедшая! - сказал комендант и покрутил пальцем около виска.

В это время Валя, издали наблюдавшая за сценой допроса, крикнула, подбадривая подругу:

- Зоя, крепись, родная!

Ее возглас услышала переводчица, Валю тут же схватили и вместе с Зоей сначала избили до полусмерти, а затем бросили в одиночные камеры штрафного блока. Здесь две мужественные девушки должны были ожидать суда гестапо.

...С "черным транспортом" могло сравниться только, пожалуй, еще одно изуверство фашистов - жестокие медицинские "эксперименты" над заключенными.

"Крулечки" - этим странным словом в лагере называли заключенных, главным образом полек, которых фашисты отбирали среди красивых, молодых, здоровых женщин. "Крулечки" - видоизмененное слово - "кролики". Над узницами, попавшими в эту группу, производились самые ужасные "опыты".

"Крулечкам" эсэсовские палачи вырезали кожу, мясо, даже кости на ногах, на руках для того, чтобы пересадить ткани раненым немецким офицерам и для проведения экспериментов. После таких операций узницы на всю жизнь оставались калеками.

Операции производил профессор Гепхард, его ассистент Штумбергер из эсэсовского лазарета и немецкий врач Фишер.

Такого рода эксперименты производились в нашем лагере в массовом масштабе. В конце войны из Аушвица для проведения "опытов" над заключенными прибыл профессор Шиман. Он стерилизовал цыганских женщин и девочек. Мы своими глазами видели, как мать-цыганка вместе со своей окровавленной четырехлетней крошкой на руках возвращалась после стерилизации в блок. Она шла, оставляя следы крови на полу.

После нашей голодовки "крулечки", воодушевившись нашим примером, объявили протест. Они не захотели добровольно ложиться под нож и после осмотра "медицинской комиссии" разбежались по всему лагерю.

Их, конечно, тут же поймали. Обычно эсэсовцы резали людей

в тюремной больнице, но этих взбунтовавшихся "крулечек" решили оперировать на полу карцера.

Как раз в это время я познакомилась с одной из узниц польского блока пани Геленой. Это была светловолосая, изящная женщина с круглым лицом, голубыми глазами и нежным румянцем на щеках.

Пани Гелена была женой офицера польской армии, томившегося в другом фашистском застенке. Она попала в Равенсбрюк из-за мужа, который не разделял коммунистических убеждений, но боролся за независимость Польши. Этого было достаточно, чтобы все его родные очутились в гитлеровских лагерях.

Пани Гелена ударила ногой эсэсовского эскулапа, когда он приблизился к ней с хирургическим ножом. За это фашистский врач тут же на каменном полу карцера вырезал у нее часть ноги без наркоза.

Трудно даже себе представить мучения этой женщины. Во время операции она потеряла сознание. Потом ее, окровавленную, отвезли в барак. И все-таки пани Гелена выжила, поправилась.

В минуты, когда в лагере-уже наступали сумерки и заключенные могли погулять перед отбоем, я стала приходить к ней в польский барак.

Мужественная женщина всем сердцем тянулась к нам, к русским. Истязания эсэсовцев, наша голодовка, протест польских узниц, сплотивший их, - все это заставило пани Гелену иными глазами посмотреть на мир. В ее душе рождалось что-то новое, я видела, что она, искалеченная, но окрепшая душой, тянется к сопротивлению фашистским извергам. И я не удивилась, когда пани Гелена попросила меня учить ее русскому языку.

Я немного понимала по-польски, в университете изучала английский. Пани Гелена говорила по-английски. На этих языках, да еще украинском и русском, мы и объяснялись. Я даже задавала уроки моему новому польскому товарищу. И пани Гелена находила в себе силы готовить их.

Когда мы начали свободно понимать друг друга, пани Гелена попросила меня рассказать о жизни в Советском Союзе, о нашей стране. Я не уверена в том, что пани Гелена была нашим другом до войны, многие ее вопросы были наивны, иные порождены недружелюбием, а то и клеветнической информацией о Стране Советов.

Я ведь преподаватель географии, в том числе и экономической географии, поэтому я сама получала огромное удовольствие, когда начинала рассказывать пани Гелене, как

росла наша страна. Она внимательно и жадно слушала меня. Однажды нас захватили во время беседы. Эсэсовки тут же жестоко избили меня и пани Гелену. Меня отправили в штрафной барак, там снова били, ибо гитлеровцам была ненавистна дружба женщин-антифашисток.

Вскоре весь штрафной барак отправили в другой лагерь, еще более страшный и жестокий, в Бельзенберг.

В Бельзенбергский лагерь нас везли на открытых платформах. Трое суток хлестал дождь, перемежающийся с липким снегом, трое суток мы ехали под открытым зимним небом, голодные, замерзшие. Такова была наша дорога к воротам нового ада, который назывался карательным еврейским лагерем.

Огромный лагерь был разделен на несколько секторов. Когда мы входили в его ворота, заключенные за колючей проволокой, евреи из западных стран, бросали нам кусочки хлеба и сахара, они видели, что мы с трудом передвигаем ноги.

Новый лагерь представлял собой конвейер смерти. Мы почувствовали это сразу, едва увидели барак, к которому нас подогнали. В Равенсбрюке мы спали на барачных трехъярусных нарах, здесь же был только земляной пол. Заключенные лежали друг на друге. В небольшой барак набивали до тысячи человек.

О том, в каких условиях мы там находились, даже страшно сейчас вспомнить. Мы спали рядом с трупами, которые не успевали убирать, а то и лежа на трупе.

Свежей воды в лагере не было, только утром нам на весь день выдавали по пол-литра жидкого кофе. Да и кофе этот приготовлялся из стоячей воды, уже покрытой зеленью. Кормили нас все той же брюквой, но давали ее вдвое меньше, чем в Равенсбрюке.

Три поля, три зоны смерти, существовали в лагере. Заключенных, находящихся на первом поле, изматывали физическими упражнениями и многочасовыми аппелями, на втором поле ослабевших женщин почти уже не кормили, на третьем - сжигали полуживыми.

Переход с одного поля на другое означал еще один шаг к смерти. И заключенные, особенно наши, советские женщины, делали попытки вырваться из этого смертельного кольца.

В Вельзенбергском лагере я встретилась с Зоей Савельевой, которую после года заключения в штрафном бункере тоже отправили сюда. Зое удалось перебежать из второй зоны в первую, где я находилась. Она рассказала мне, что четыре русские женщины из ее партии пытались совершить побег. Однако их поймали. Всех женщин раздели догола, избили и заставили всю ночь под холодным февральским дождем

простоять на коленях.

Тогда же Зоя видела, как неподалеку, в цементных ямах, стояли по горло в воде немецкие женщины-антифашистки, стояли всю ночь. Они были наказаны только за то, что попытались обменяться записками с мужчинами - заключенными из другого сектора. Конечно, многие женщины не выдержали этой муки и умерли тут же, в воде.

Печи крематория Бельзенбергского лагеря пылали и днем и ночью. Черный, густой, как сажа, дым стелился над лагерем. В воздухе стоял, не выветриваясь, вызывающий тошноту сладковатый запах горелого человеческого мяса.

Трупов было так много, что их не успевали сжигать в печах. Гитлеровцы вырыли на территории лагеря большие ямы и, сложив там трупы рядами, жгли их в земле.

Мне и Зое Савельевой приходилось подтаскивать трупы к этим пылающим ямам. Ослабевшие, с трудом держась на ногах, мы сами едва не падали в них. Но многие, еще живые, случайно оступившись, скатывались в огонь.

Гитлеровцы видели, что идет с востока Советская Армия, приближается возмездие за все их преступления, но все же еще продолжали и в эти последние дни и часы убивать и сжигать людей...

Около семнадцати тысяч трупов не успели сжечь эсэсовцы. Штабеля трупов, сложенные около крематория, достигали высоты двухэтажного дома.

То, что мы выжили в этом лагере, представляется мне каким-то чудом. Меня уже перебросили на второе поле, в преддверие крематория. Еще немного и все было бы кончено.

За восемнадцать дней до нашего освобождения войсками союзников эсэсовцы перестали выдавать нам хлеб, Больных они заражали тифом, дизентерией.

И все-таки выжили. Победили смерть! Из Бельзенберга (он находился в английской зоне) советские офицеры перевезли нас в Равенсбрюкский лагерь, в нашу зону, и здесь мы снова встретились - бывшие узницы русского блока военнопленных женщин, теперь свободные советские люди, мечтающие как можно скорее вернуться на родину..."

На скамью подсудимых!

К девятому мая, когда миллионы ликующих людей во всем мире вышли на улицы, чтобы отпраздновать окончание второй мировой войны, лишь двое из главной шайки нацистов, развязавших эту войну, были уже мертвы: Гитлер, Геббельс. А остальные? Переодетые, загримированные, с чужими удостоверениями, рассеялись они по городам Западной

Германии, в селениях Баварских Альп, в районах Гамбурга на севере и Берхтесгадена на юге.

Здесь их искали сотрудники военной разведки союзников, офицеры и солдаты частей, расположенных в этих зонах. Во многих военных казармах были развешаны для опознания портреты главарей фашистского государства.

Как же вели себя после разгрома нацизма эти бывшие хозяева "третьего рейха"? Что делали они, еще находясь последние дни на свободе, но уже на пути к ожидавшей их нюрнбергской виселице?

О поимке того, кто занял первое место справа на скамье подсудимых Международного трибунала, и рассказывается в этой главе.

Утром девятого мая к одному из контрольных постов американской 7-й армии, располагавшихся на всех главных автострадах и дорогах Южной Германии, подошел человек в штатском и назвал себя немецким полковником Берндом фон Браухичем. В те дни немецкие полковники десятками сдавались в плен, и сообщение немца не произвело на солдат особого впечатления. Но когда Браухич заявил, что он является представителем бывшего рейхсмаршала Геринга, американские солдаты поняли, что они могут поймать "крупную рыбу", и тут же вызвали офицеров. Браухича посадили в машину и повезли в штаб 36-й американской дивизии. Здесь немецкий полковник снова повторил, что он представляет Геринга, который хотел бы отдать себя под защиту и в распоряжение американского военного командования.

Американцы не стали долго раздумывать, и вскоре от штаба дивизии отъехал кортеж джипов, на передней машине рядом с бригадным генералом Стеком сидел Браухич.

Машины с большой скоростью неслись в сторону города Радштадта. Здесь, по словам Браухича, бывший рейхсмаршал ожидал американцев.

Когда двадцать шестого апреля Геринг из Берхтесгадена отправил телеграмму Гитлеру, требуя передать ему власть, ответная телеграмма пришла к Герингу через двадцать два часа. В ней был приказ об аресте. Позже Гитлер приказал гестапо расстрелять Геринга.

Эсэсовцы схватили Геринга в Берхтесгадене, но расстрелять его сразу почему-то не решились. Не оставили они его и в Берхтесгадене, а, погрузив на самолет вместе с женой, дочерью, камердинером и личным поваром, перевезли в австрийский город Маутерндорф.

Но здесь Геринг ушел из-под контроля гестапо. В городе находилось много нацистских летчиков, они-то и отбили Геринга

от эсэсовцев.

Новым его местопребыванием стал охотничий замок вблизи города. Здесь Геринг ожидал дальнейшего развития событий.

Охотничий замок! Еще год назад Геринг имел несколько таких замков в Тюрингии, в Саксонии, в Баварии и Восточной Пруссии. Тогда он не скрывался в этих замках, а приезжал туда охотиться и развлекаться.

Когда в январе сорок пятого года началась борьба за Восточную Пруссию и наши войска, перейдя границу, вторглись в ее глубину, мне пришлось увидеть один из таких охотничьих замков Германа Геринга.

Я хорошо помню его и сейчас, это большое строение в лесу, составленное из нескольких флигелей - дач, они соединялись между собою остекленными галереями. И по фасаду и внутри замок был весь изукрашен резными деревянными фигурками животных. Множество мелких башенок, балконов и шпилей, выполненных из дерева, делали этот замок похожим на какой-то громадный игрушечный терем, архитектурная пышность которого в полной мере свидетельствовала о безвкусии хозяина.

К замку примыкали сосновый бор и озеро, а также поля на много километров вокруг, входившие в охотничий заповедник рейхсминистра.

Я бродил тогда по этому замку со смешанным чувством брезгливости и любопытства, скользил в мокрых сапогах по паркету гостиных, сейчас пустовавших, разглядывал на стенах дорогие картины, в большинстве своем награбленные Герингом во всех странах Европы. Из-за быстрого продвижения наших войск картины, ковры, охотничье оружие Геринга служители замка не успели вывезти.

Меня поражало, что в каждой комнате - а их тут насчитывалось десятками, во всех галереях и анфиладах, в каждом коридорчике - всюду висели чучела медвежьих морд и рога лосей, оленей, диких кабанов.

Я нигде не видел их в таком большом количестве.

Вряд ли хоть малую долю из этой коллекции мог добыть сам "жирный Герман", охотясь в своем заповеднике. Я думаю, он их попросту скупал, набивая свой замок чучелами и рогами. И в этом сказалась ненасытная жадность этой "правой руки фюрера".

Я не знаю, висели ли на стенах охотничьего замка вблизи Маутерндорфа столь любимые Герингом рога? И прохаживался ли он около этих настенных украшений, как в былые времена, - в сапогах со шпорами, весь в ремнях и орденах, с перчатками в руке и хлыстом? Или шпоры свои Герман Геринг уже не носил?

Он казался в те дни своим приближенным внешне

самоуверенным и, как всегда, самодовольным, но все это была не больше чем привычная поза, дешевая игра.

На самом же деле Геринг жил в тайном страхе, ожидая каждый день и каждый час эсэсовцев, которые могли проникнуть сквозь защитный кордон его охраны. А уж относительно дальнейшего он не строил себе никаких иллюзий. Кто-кто, а уж Герман Геринг хорошо знал тяжелую руку и мстительный характер своего фюрера!

Страх перед гестаповцами, снедавший Геринга, и заставил его в конце концов искать защиты у американцев.

Один из чинов его охраны, фельдфебель Конле, изредка бывавший в комнатах Геринга, однажды стал свидетелем такой сцены: Геринг, разговаривавший с ним, отошел от стола и вдруг рухнул на пол. С большим трудом фельдфебель поднял тяжелое, рыхлое, толстое тело своего начальника, подтащил его к дивану.

Геринг пришел в себя через несколько минут. И тут же в приступе откровенности пожаловался фельдфебелю, что эсэсовцы отобрали у него одно крайне необходимое лекарство.

Кое-что знавший о привычках рейхсмаршала, фельдфебель догадался, что этим лекарством является морфий, без которого морфинист Геринг не мог долго обходиться.

Так проводил свои дни Геринг до того момента, когда, сев в свой "мерседес", он выехал навстречу американскому генералу Стеку.

Эта во многом примечательная встреча произошла днем девятого мая на малолюдной улице немецкого городка. Идущие навстречу друг другу машины остановились. Стек, увидев Геринга, вылез из джипа, а Геринг распахнул дверцу своей машины. И вот американские офицеры и редкие прохожие увидели посреди мостовой тучную фигуру в маршальском мундире. Геринг, словно он собирался на парад, приосанился и сделал приветственный жест своим жезлом.

Затем он пошел навстречу американцам, не торопясь, помахивая в воздухе жезлом, с наглой улыбкой на заплывшем жиром лице. Это шел тот, по чьему приказу были превращены в пепел и сметены с лица земли тысячи городов, разграблены целые страны, убиты миллионы женщин и детей.

Генерал Стек приблизился к Герингу и, к удивлению всех окружавших его офицеров, отдал честь, приложив пальцы к фуражке. Геринг улыбнулся ему, как равный равному, и протянул Стеку руку. И снова американский генерал удивил своих адъютантов тем, что пожал руку убийцы и преступника.

Правда, позднее генерал Стек потратил много слов и усилий, чтобы как-то объяснить это рукопожатие. Но напрасно он

ссылался на растерянность, внезапно охватившую его, на какие-то воинские традиции, необычность обстановки.

Ничто не может ни объяснить, ни оправдать этого. Разве война с фашизмом была простой военной игрой, которую можно окончить рукопожатием?

Должно быть, эта странная встреча внушила Герингу какие-то надежды. Он попросил скорее доставить его в штаб дивизии. Еще в машине Геринг заявил Стеку, что он намерен вести переговоры с американцами как преемник Гитлера, как полномочный представитель государства и армии, нимало не смущаясь тем, что ни нацистской армии, ни гитлеровского государства уже не существовало.

И генерал Стек, словно бы загипнотизированный тем, что он пожал руку преступнику, продолжал в машине слушать его безудержную болтовню.

В штабе дивизии Геринг расположился в кабинете генерала Дальквиста. Он начал с того, что дал краткие аттестации ближайшим подручным Гитлера.

- Гитлер был ограниченный человек, - заявил он, - Гесс - эксцентричен, а Риббентроп просто жулик.

Почему Риббентроп был министром иностранных дел, по словам Геринга, он никогда не мог понять. Вот он, Геринг, всегда являлся примерным парнем, и союзникам надо было именно с ним вести все переговоры.

Затем Геринг спросил, скоро ли его повезут в ставку Эйзенхауэра?

Дальквист ушел от ответа.

Геринга это не смутило, и он продолжал говорить. Он хвастал могуществом воздушного флота, существующего в эти дни только в воображении самого Геринга, он ругал приближенных Гитлера и всячески подчеркивал свои таланты и возможности. Одним словом, он набивал себе цену перед американцами.

Трудно сказать, что больше поражает в поведении Геринга - беспредельная наглость или же полная слепота бывшего рейхсмаршала, ничего не видевшего вокруг?!

Геринг сидит в штабе американской дивизии. По сути дела, он уже под арестом. Но он словно бы не замечает этого.

- Когда я буду принят Эйзенхауэром? - еще раз нетерпеливо спросил он.

- Посмотрим, - уклончиво ответил Дальквист.

Странная, очень странная беседа! То, что мерзавцу Герингу еще кажется, что его могут простить американцы, что он выйдет сухим из воды, - это можно объяснить подлой натурой всех преступников: они рассчитывают на забывчивость человеческого

сердца. Но почему бы американскому генералу не заявить сразу Герингу, что он арестован как военный преступник?

И вот битых два часа тянется беседа, и бывший маршал с жезлом, но без армии, без чести, без прав, низложенный перед смертью даже своим кровавым фюрером, здесь, в штабе американцев, продолжает корчить из себя какую-то важную персону. После разговора с Дальквистом Геринг потребовал себе ужин. Он заказал курицу, картофельное пюре и бобы. Он сожрал все это с аппетитом, поразившим находившихся в комнате американских офицеров, ибо к этому ужину добавил еще и большую миску фруктового салата.

Он так усердно подкреплялся перед дорогой, словно собирался ехать в ставку американцев. Но повезли Геринга в другую сторону, в частный дом для временного проживания под домашним арестом, хотя по нему, конечно, давно уже тосковала тюремная камера.

Геринга усадили в открытый джип, и рядом с ним сели трое солдат с автоматами. Дорогой, улыбаясь, Геринг слазал им:

- Только хорошенько следите за мной!

Он еще считал возможным шутить с теми, кого приказывал убивать не только на поле боя, но и пленных, раненых, в концентрационных лагерях.

В отличие от своих чрезвычайно "корректных и деликатных" генералов, американские солдаты вовсе не намерены были обмениваться шутками с Герингом. Они видели в этом наглеце того, кем он был на самом деле. Они везли под стражей убийцу в маршальском мундире, преступника, проклинаемого миллионами людей.

Никто из них не собирался пожимать ему руку. В ответ на улыбку Геринга один из солдат толкнул его прикладом в жирный бок, а другой, сплюнув на дорогу, кратко ответил, но словами, которые на языках всех народов считаются нецензурными...

Случай в горах

Через две недели после поимки Геринга в том же районе, неподалеку от Берхтесгадена, по живописной горной дороге мчался джип с четырьмя американскими летчиками.

Был чудный майский день. Солнце нагрело воздух, высокие сосны, тянувшиеся вдоль дороги, купались в его лучах, и кора их отливала желтоватым янтарным блеском. С гор тянуло ветром. Он приносил из глубоких распадков и ущелий, покрытых зеленым бархатом лесов, запахи земли, цветов.

Сидевший рядом с шофером майор Генри Блит, сняв фуражку, разрешал ветру трепать во все стороны его темные волосы, обдувать лицо и грудь. Он мечтал вслух о том, как

хорошо было бы приехать в этот тихий горный уголок, чтобы в мирное время провести здесь отпуск с женой и детьми.

- Я бы с удовольствием пожил в таком гнездышке, - сказал он, показывая на видневшийся у дороги одноэтажный домик с небольшой застекленной террасой.

- И я бы не прочь, - сказал капитан Гут Робертсон, И солдат Говард Ханлей усмехнулся, слушая товарищей, а глаза его говорили о том, что мирный крестьянский домик, спрятавшийся в тени высоких сосен, напомнил и ему о чем-то приятном.

Когда джип поравнялся с домом, летчики увидели на крыльце худощавого старика с непокрытой головой. Он задумчиво смотрел куда-то вдаль, поглаживая свой подбородок, обрамленный короткой пепельно-седой бородой.

- Какой здесь, чистый горный воздух! - заметил Блит. - Старики в этих горах, наверно, живут по сто лет.

- А этот еще и мечтатель, он проживет больше, - добавил Робертсон.

Он первый услышал мелодичный звон колокольчиков на шее коровы, гулявшей между деревьями за домом.

Блиту захотелось выпить парного молока, и летчики вошли в дом, где встретили хозяйку-старуху, которая и вынесла им кружки с холодным, прямо из погреба, приятно холодящим зубы вкусным молоком.

У майора Блита было отличное настроение. Он громко разговаривал по-английски, но иногда вставлял в свою речь еврейские фразы. Блит заметил, что в Германии его многие понимали, когда он говорил по-еврейски.

Вслед за летчиками в комнату вошел тот самый старик, что сидел на крыльце, и Блит, желая быть обходительным с хозяевами, весело спросил крестьянина:

- Как дела, отец?

- Хорошо, хорошо, - быстро ответил старик, не глядя в лицо Блиту.

- Вы крестьянин? - спросил майор.

- Нет, я не хозяин дома, я только художник, приехал сюда поработать на природе.

- Ах вот как! Вы не очень похожи на художника.

Но чудесная идея, тут такие места! - сказал Блит, с еще большим любопытством разглядывая утомленное лицо старика. Он был одет слишком просто для художника и, пожалуй, слишком небрежно для крестьянина.

- Сколько вам лет? - поинтересовался Блит.

- Пятьдесят девять, - пробурчал старик.

"Выглядит старше", - подумал майор и тут же спросил у

художника то, что он обычно спрашивал у всех немцев, с которыми ему приходилось хоть немного беседовать на досуге:

- Как вы относитесь к нацистам?

- Я художник, - ответил старик, - и только. В политике ничего не понимаю.

- Как же так? Художник, а не видели, что творится вокруг? - удивился Блит. Он до сих пор не мог примириться с мыслью, что фашисты могли одурманить честных, думающих людей, каких он немало встречал в Германии.

- А знаете что, - сказал вдруг Блит, решив немного позабавиться над угрюмым художником, - вы очень похожи на Юлиуса Штрейхера.

Это была шутка, только шутка. Но тут произошло нечто поразительное. К удивлению Блита, старик опустил глаза. Лицо его окаменело.

- Откуда вы меня знаете? - тихо спросил он.

Блит оторопел. Старик воспринял его шутку всерьез. Американский майор видел в своей части портрет военного преступника Штрейхера, этот художник действительно был похож на матерого нациста, но мог ли Блит предполагать, что перед ним настоящий Штрейхер?

- Так вы Штрейхер?! - произнес Блит, от волнения едва переводя дыхание.

- Нет, нет, меня зовут Сайлер, - торопливо сказал старик, и было видно, что он старается направить свою оплошность. Но волнение, с которым ой" не мог справиться, выдавало его.

- Вы арестованы, - заявил Блит.

Лицо "художника" исказилось злобной гримасой. Он отошел от Блита и опустился на скамейку.

Блит, все еще не веря тому, что он поймал Штрейхера, широко раскрыв глаза, смотрела на этого человека в простой полосатой рубахе, бумажных брюках и в грубых стоптанных ботинках. Блит должен был признаться себе, что он никогда бы сам не заподозрил в этом старике одного из идейных вождей нацизма, кровавого наместника Гитлера во Франции, издателя грязной антисемитской газеты "Дер Штюрмер".

Почему же этот мнимый художник так просто выдал себя, попавшись на легкой шутке? И Блит мог объяснить себе это не чем иным, как только тем, что, подобно другим нацистским главарям, Штрейхер, надев на себя личину, художника, поселившись в этом тихом углу, все же не мог избавиться от постоянно мучавшего его страха. Не совесть, отягощенная страшными преступлениями, а именно животный страх преследовал Штрейхера. Каждый час, каждую минуту он боялся

быть узнанным.

- Вы арестованы, - снова повторил Блит, - собирайтесь поскорее.

- Я хочу надеть другие башмаки, - сказал Штрейхер, поднимая голову. И в это мгновение Блит не узнал спокойного, усталого лица старого "художника". Глаза Штрейхера горели ненавистью. Из соседней комнаты вышла молодая красивая женщина, опустилась на колени перед Штрейхером, сняла с его ног старые башмаки и надела новые. Затем она, не говоря ни слова, ушла. Американские летчики так и не узнали, кто была эта женщина.

Прошло минут десять, и Штрейхер под конвоем покинул уютный домик в горах. К машине, тяжело волоча ноги, подошел человек, который еще несколько лет назад писал в своей газете:

"...Еврейская проблема еще не разрешена. Она не будет разрешена и тогда, когда последний еврей покинет Германию. Только когда все евреи мира будут уничтожены, эта проблема будет разрешена".

Военного преступника, давно уже разыскиваемого Международным трибуналом, посадили на заднее сиденье джипа между капитаном Гутом Робертсоном и солдатом Говардом Ханлеем. Машина отъехала от домика и запылила вновь по живописной дороге, то взбиравшейся на крутые склоны, то стремительно спускавшейся вниз к лощинам, опоясывая лесистые горы широкими кольцами поворотов.

Смерть Гиммлера

В то время, когда американские лётчики везли в тюрьму Юлиуса Штрейхера, а другой кровавый пес фашизма - палач Польши Ганс Франк лежал в лагерной больнице Берхтесгадена после неудачного самоубийства, в те дни, когда нацистский "философ" и рейхсминистр оккупированных восточных областей Розенберг был также уже обнаружен в немецком госпитале Фленсбурга, Генрих Гиммлер - самый чудовищный палач "третьего рейха" - все еще находился на свободе. Тот, кто сжег в газовых камерах не меньше десяти миллионов людей, свободно разгуливал по окрестностям Фленсбурга, коротал вечера в обществе двух своих адъютантов, Гротмана и Махера, и ночевал в квартире одной из своих любовниц.

Еще двадцатого мая один из эсэсовцев узнал Гиммлера на улице города, где находилось тогда так называемое "правительство Деница". Но, видимо, по каким-то причинам пребывание во Фленсбурге показалось Гиммлеру небезопасным, и вот на следующий день, двадцать первого мая, он очутился на английском контрольном пункте в Майнштете, вблизи

Бремендорфа.

Здесь проверялись документы всех, кто двигался по дорогам на запад и восток, и, как обычно, на контрольном пункте собралось много людей.

Гиммлер и Два его переодетых адъютанта встали в длинную очередь, состоящую из бывших немецких солдат-, бредущих домой, из офицеров, чиновников, заключенных, покинувших лагеря, и просто беженцев.

Рейхсфюрер СС скромно стоял в этой толпе ожидающих проверки, медленно, шаг за шагом продвигаясь в очереди. Он старался обращать на себя как можно меньше внимания.

На Гиммлере был полувоенный, полуштатский костюм - форменные брюки, сапоги и пиджак, но не столько этот штатский пиджак должен был изменить его внешность, сколько сбритые усы и наложенная на левый глаз черная повязка.

Итак, Гиммлер выглядел как опереточный разбойник, как простофиля, начитавшийся детективных романов. Но нелепый этот наряд самому Гиммлеру, видимо, казался надежным камуфляжем. В кармане пиджака бывший рейхсфюрер держал пропуск на имя Генриха Хитцингера, сотрудника немецкой тайной полевой полиции.

Когда человек с темной повязкой на глазу появился около английского солдата, тот махнул рукой, чтобы немец отошел с дороги в сторону.

Патруль задержал не Гиммлера, а какого-то Хитцингера, обладающего подозрительно новым удостоверением, Гиммлер тогда не знал еще, что солдатам был отдан приказ задерживать всех сотрудников полевой полиции, так же как и гестаповцев. Тысячи людей проходили в эти дни контрольные пункты. Многие вообще не имели при себе никаких документов. Если бы Гиммлер пришел сюда с грязным мешком за плечами и заявил, что он несчастный беженец и все бумаги его пропали, то английский патруль, может быть, и пропустил бы его.

Но Гиммлер изготовил себе новенький документ. Нацистский изверг, которого трудно назвать человеком, не оскорбив при этом человечество, соединял в себе беспредельную жестокость и полицейскую тупость. Чисто полицейская уверенность в том, что только человек с документами находится вне подозрений, на этот раз сделала подозрительным Гиммлера, несмотря на весь его маскарад.

Пока еще не узнанный, все еще называясь Хитцингером, Гиммлер был отправлен в один лагерь для задержанных, потом в другой, и пока он сидел за решеткой со всяким нацистским сбродом, "случаем с Хитцингером" заинтересовались в штабе

второй английской армии.

В лагерь, расположенный вблизи Вестертимке, немедленно отправилось несколько офицеров, давно уже искавших Гиммлера. В дни капитуляции его следы внезапно оказались потерянными, до двадцать первого мая никто не знал, где он затаился. Позже о встречах с Гиммлером в дни берлинской битвы рассказал граф Фольке Бернадотт{5} - вице-президент шведского Красного Креста, которого Гиммлер пытался использовать для связи с командованием английских и американских войск.

Являясь на свидания с Бернадоттом, Гиммлер наводил на него страх одним своим зеленым мундиром СС, колючими глазами, нервно поблескивающими за стеклами пенсне. Бернадотт обратил внимание на руки Гиммлера, очень маленькие, похожие на женские, с лаком на ногтях. Бернадотта в дрожь бросало от одной мысли, что эти холеные пальцы с маникюром держали ручку, когда Гиммлер подписывал смертные приговоры, отправляя свои жертвы в лагеря, тюрьмы, в крематории и на костры из живых человеческих тел.

Напуганный ходом событий, предчувствуя свою гибель, Гиммлер искал тайных связей с Эйзенхауэром и Монтгомери, он готов был привлечь к себе Бернадотта обещанием освободить скандинавских заключенных, все еще томившихся в немецких лагерях.

В, эти дни он хитрит, изворачивается, мечется в растерянности. И все, что он делает, продиктовано страхом и отчаянием перед неумолимым возмездием, перед судом народов и, пока еще жив Гитлер, также и страхом быть пойманным в двойной игре, в измене фюреру.

Поэтому Гиммлер готов и сам вырвать из рук Гитлера власть, но не знает, как это сделать.

Любопытно, что этот "преданный друг фюрера" не считает даже нужным скрывать свои намерения от Бернадотта. Не раз в его присутствии он начинает обсуждать со своим помощником Вальтером Шёлленбергом возможности устранения Гитлера.

Оказывается, что Гиммлер уже вызывал врачей из нервного отделения берлинской больницы: профессора Макса де Кринис и доктора Леонарда Конти. Они подозревают у Гитлера болезнь Паркинсона, внешне выражающуюся в неподвижности лица и дрожании всех членов.

Сам Гиммлер все время указывает своим приближенным на болезненный вид Гитлера. Бернадотту он сказал:

"Я не верю, что мы сможем работать с фюрером. Он больше не соответствует своему назначению".

Но когда Шелленберг предлагает Гиммлеру пойти в

имперскую канцелярию и заставить Гитлера отречься от власти, рейхсфюрер СС испуганно машет рукой.

- Фюрера может охватить ярость, и он меня на месте расстреляет! восклицает он.

Разговор этот происходит незадолго до начала нашего последнего наступления на Одере. Когда же в ночь с двадцатого на двадцать первое апреля Бернадотт снова встречается с Гиммлером, тот выглядит совершенно потрясенным быстро разворачивающимися событиями на восточном фронте.

Бернадотт вспоминает, что Гиммлер показался ему бледным, он не мог спокойно сидеть на месте и бегал по комнате то туда, то сюда. И во время беседы все постукивал ногтями по зубам.

- Военное положение очень серьезно, очень! - сказал он Бернадотту, снова прося устроить ему свидание с Эйзенхауэром. Но Бернадотт сомневался в том, что эта встреча осуществима в данных условиях.

Однако, судя по словам Гиммлера, он еще не теряет надежды. Удивительно, что этот страшный изувер сейчас весь во власти иллюзий.

Как и позже Геринг, Гиммлер считает себя наследником фюрера и его, по сути дела, уже не существующего государства. Как и Геринг, он все еще серьезно надеется, что с ним будут считаться союзники и, может быть, даже предложат высокий государственный пост. Как и Геринг, он всячески поносит своего фюрера, и точно так же, как и все фашистские главари, Гиммлер не чувствует никаких угрызений совести, если вообще можно говорить о совести применительно к Гиммлеру и Герингу.

Вскоре после этого разговора Гиммлер исчезает из Берлина, и в ночь на двадцать четвертое апреля в здании шведского посольства в Любеке он в последний раз встречается с Бернадоттом.

Около полуночи здесь начинают выть сирены противовоздушной обороны, поэтому Бернадотт и Гиммлер спускаются в бомбоубежище. Там на нарах, на скамейках, на полу, всюду вповалку спят шведы, немцы - мужчины и женщины. Им сейчас не до Гиммлера, и никто не обращает на него внимания, его не узнают.

В час ночи раздается отбой, все покидают подвалы, и разговор Бернадотта с Гиммлером продолжается в одной из комнат посольства. Давно уже не действует в доме электричество, на столе горят свечи, углы комнаты тонут во мраке, который Бернадотту кажется зловещим.

Он выслушивает Гиммлера. Рейхсфюрер СС не оставил своей идеи встретиться с Эйзенхауэром. Более того, чувствуется, что

Гиммлер уже решил договориться с западными союзниками помимо Гитлера и против его воли, что, находясь в Любеке, в окружении своих эсэсовцев, он уже меньше боится гнева фюрера.

- Гитлер, наверно, уже мертв, если это не случилось сейчас, то случится в ближайшее время, - небрежно замечает он. - До сих пор меня сдерживала клятва верности, но теперь положение изменилось. Германия побеждена.

Сделав признание в том, что и так давно всем стало ясно, Гиммлер торжественным тоном добавляет, что теперь он свободен делать то, что хочет.

Чего же он хочет? Конечно, капитуляции на западном фронте и продолжения сопротивления на восточном, всеми силами, до последнего солдата. Звериная ненависть Гиммлера к Советскому Союзу, к нашей армии-освободительнице только обострилась в эти дни.

Пока Бернадотт записывает предложение Гиммлера и обещает передать его по дипломатическим каналам в Стокгольм, Гиммлер позволяет себе немного "пофантазировать". Он вслух представляет себе сцену свидания с Эйзенхауэром.

Только один вопрос беспокоит его: как ему держать себя? Просто ли поклониться или же протянуть Эйзенхауэру руку? Гиммлер сообщает, что он уже обсудил этот вопрос с Шелленбергом.

Конечно, он вряд ли мог тогда предполагать, что Герингу девятого мая удастся схватить за ладонь оторопевшего американского генерала Стека. Во всяком случае, Гиммлер допускает мысль, что американский главнокомандующий подаст ему руку.

Протянуть руку! Удивительно, как этого хотелось им всем: Деницу и Геббельсу, Герингу и Гиммлеру, хотелось протягивать и пожимать руки западным генералам, представляя себя в роли достойных партнеров на переговорах. И это после того, когда бездна совершенных преступлений отделила эту банду фашистских главарей от остального человечества.

- А что же вы будете делать, если ваше предложение на западе отвергнут? - спросил Бернадотт. Гиммлер пожал плечами, он, видимо, всерьез не допускал такой мысли.

- Что ж, тогда я возьму батальон солдат на восточном фронте и паду в бою! - напыщенно ответил он, сверкнув на Бернадотта колючими глазами за стеклышками пенсне.

Их беседа окончилась, и Бернадотт вышел на улицу проводить Гиммлера.

- Сейчас я еду на восточный фронт, - повторил он Бернадотту и после паузы добавил: - Это не так далеко.

То, что произошло через минуту после этого заявления Гиммлера, очень напоминало театрализованный фарс, более чем символичную сцену, словно бы специально разыгранную перед глазами шведских дипломатов.

Отправляясь на восточный фронт за рулем своего бронированного черного лимузина, Гиммлер не проехал и десяти метров, как что-то испортилось в моторе машины. Из-под капота повалил густой дым. Казалось, что машина сейчас взорвется вместе с Гиммлером. Но она только свернула с дороги, и, должно быть перепуганный, Гиммлер врезался своим лимузином в ближайший забор.

Потом охранники долго и с трудом выволакивали на дорогу бронированный автомобиль, освободив его из-под обломков забора.

Как известно, Гиммлер не взял батальона и не отправился воевать на восточный фронт. Он предпочел иное, а именно - сделал попытку "устроиться на службу" в так называемом "правительстве Деница". Первого мая, ночью, Гиммлер секретно, с глазу на глаз встретился с гросс-адмиралом Деницем.

Новоиспеченный "президент" Дениц, назначенный Гитлером тем самым приказом, которым Гиммлер исключался из нацистской партии, должен был встретиться с бывшим рейхсфюрером СС. Гиммлер еще не знал, что он лишен Гитлером всех званий и постов "за измену". Но это знал Дениц и теперь готовился сообщить эту новость бывшему "второму человеку" в государстве.

Как же он к этому готовился? Даже в эти дни страшная фигура Гиммлера и его свирепые эсэсовцы внушали ужас гитлеровским генералам. И вот Дениц принял меры предосторожности. Около своего дома и в саду он разместил усиленные посты охраны, расположил вблизи подчиняющиеся ему команды моряков-подводников.

Более того, на своем письменном столе под грудой бумаг Дениц положил надежный браунинг. Итак, все было готово к встрече "соратников".

Любопытная и примечательная сценка! Гитлеровского государства уже не существует, а гитлеровские волки еще готовы драться за власть. Они боятся друг друга, потому что хорошо знают: партнер в таких переговорах может вытащить браунинг и выстрелить в подтверждение своего мнения.

Поистине чудовищные подонки многие годы стояли у, кормила власти! И вот двое из них встретились. Дениц дал Гиммлеру прочитать приказ. Бывший рейхсфюрерСС быстро пробежал глазами строчки приказа и побледнел.; Дениц тоже

побледнел, но уже от страха, ожидая, что же сделает Гиммлер? Наступила тяжелая пауза...

Гиммлер молчал и раздумывал. Потом в знак того, что он смирился, протянул Деницу руку.

- Разрешите мне в таком случае стать при вас вторым человеком в государстве, - сказал Гиммлер, скорее, настойчиво предлагая, чем спрашивая разрешения. Да, он предлагал свои услуги Деницу, и самое поразительное здесь в том, что Гиммлер был уверен в согласии Деница.

Но новый "президент" вовсе не хотел связывать себя с Гиммлером.

- У вас тяжелая политическая биография, - сказал Дениц, в такую весьма деликатную форму вкладывая свой отказ.

Но кровавый палач Европы не был с этим согласен. Он высказал иную "точку зрения". Он считал, что его политическая биография не столь уж тяжела и не так уж залита кровью. Одним словом, он вполне может быть вторым человеком в правительстве Деница.

И они долго торговались.

Гиммлер ушел из дома "президента" уже на рассвете. Он так и не получил "должности", но все-таки еще целую неделю поддерживал связь с Деницем в надежде, что тот передумает.

Шестого мая, за два дня до капитуляции, Дениц решил окончательно развязаться с Гиммлером и официально снял его со всех бывших и уже не существующих постов. И вот теперь-то Гиммлер скрылся. Он нырнул на дно разгромленной Германии и вынырнул только двадцать первого мая, на контрольном пункте англичан вблизи Бременфорда.

...Было около девяти часов вечера, когда офицеры английской военной разведки приехали в Вестертимке, чтобы взглянуть на задержанного своими глазами. Но еще за час до их прибытия человек, называвший себя Хитцингером, попросил провести его в кабинет коменданта лагеря, капитана Сильверста.

- Ну, что надо? - грубовато спросил Сильверст, увидев арестованного.

'Тогда стоящий перед ним осторожно снял черную повязку с глаза и привычным жестом надел пенсне.

- Я Генрих Гиммлер, - сказал он.

- Действительно! - узнав Гиммлера по портретам, воскликнул Сильверст. Он поперхнулся от неожиданности и долго кашлял, чувствуя, как по его спине побежали холодные мурашки.

- Я хотел бы немедленно поговорить с фельдмаршалом Монтгомери, - важно заявил Гиммлер.

- Монтгомери? - переспросил офицер, постепенно приходя в

себя.

- Да, - кивнул Гиммлер.

- Ну, там будет видно! Пока армию здесь представляю я! - отрезал Сильверст. И он отправил арестованного снова в лагерный барак. А через некоторое время приехавшие офицеры посадили Гиммлера в свою машину и повезли его в город Люнебург.

После того как Адольф Гитлер, трусливо убив себя, ушел от суда народов, попавший в руки англичан Генрих Гиммлер являлся несомненно преступником номер один. Ни в коем случае нельзя было позволить этому убийце миллионов миновать скамью подсудимых.

Однако английские офицеры, охранявшие Гиммлера, допустили непростительную оплошность.

Гиммлера привезли в Люнебург и поместили в особняк, заперев его в отдельную комнату. Сюда пришли военные врачи и осмотрели одежду Гиммлера и его тело. Они искали ампулу с ядом.

И действительно, в кармане штатского пиджака Гиммлера была обнаружена ампула с цианистым калием длиной примерно в двенадцать миллиметров и немного тоньше сигареты. После этого арестованный был переодет в английскую военную форму без погон.

Вечером того же дня полковник Морфей, приехавший из ставки Монтгомери, решил допросить Гиммлера. И он спросил у офицеров охраны, нашли ли у Гиммлера яд.

Ему ответили, что ампулу изъяли. Тогда Морфей поинтересовался, была ли исследована полость рта Гиммлера. Английский врач Уэллс ответил, что нет.

- Тогда скорее едем в особняк! - приказал полковник. Он тут же высказал догадку, что ампулу с ядом Гиммлер держал в кармане пиджака лишь для отвода глаз. Возможно, у него хранится искусно спрятанная вторая ампула.

Когда офицеры вошли в комнату Гиммлера, врач Уэллс приказал ему открыть рот. Лицо Гиммлера напряглось, глаза сузились и превратились в две узкие щели. Он ничего не ответил, только метнул на Уэллса полный, злобы взгляд.

Но едва Уэллс повторил свое приказание, как услышал жесткий хруст стекла. Это Гиммлер раздавил у себя на зубах ампулу с ядом. И тотчас тело его грохнуло ни пол.

Доктор поспешно наклонился над Гиммлером, пытаясь вытащить у него изо рта остатки ампулы. Гиммлеру тотчас ввели в желудок противоядие. Однако это не помогло...

...Двадцать шестого мая утром из Люнебурга выехал серый

военный грузовик. В его кузове сидели английский майор, два фельдфебеля и пять солдат. А у их ног, на полу машины, лежал завернутый в парусину труп. На трупе были британские военные штаны; открытая рубашка и серые немецкие носки. Грузовик остановился в глухом, укромном месте леса. Там уже чернела свежевырытая могила. Два фельдфебеля подняли труп и, раскачав, бросили его в яму. При этом один из них громко сказал, плюнув в могилу:

- Пусть червь уйдет к червям!

Заработали лопаты. Солдаты делали свое дело. Однако никто из них еще не знал в эту минуту, что через несколько дней в развалинах под Берхтесгаденом американцы найдут спрятанные личные сокровища Гиммлера, оцененные примерно в миллион долларов. Здесь лежали драгоценности, золото и пачки английских фунтов, французских франков, американских долларов, египетских фунтов, норвежские, испанские и даже палестинские деньги. Гиммлер готов был бежать в любую страну, скрыться в любом подполье, лишь бы уйти от ответственности за все, что совершили гестапо, войска СС и полиция.

Но он не убежал, этот нацистский зверь, чье имя всегда будет произноситься людьми вместе с проклятием фашизму.

Английские солдаты аккуратно засыпали яму землей, прикрыли дерном, не оставив в лесу никаких отметок, с тем чтобы никто и никогда не смог бы найти это место.

Червь ушел к червям!

"Радиопрезидент" и другие

Шли дни мая, и в Германии постепенно заканчивалась поимка главных военных преступников. Уже многие из них сидели в лагерях и тюрьмах. Но странное дело, в городе Фленсбурге при явном попустительстве западных союзников продолжало свое существование так называемое "правительство Деница".

Гроссадмирала Деница в те дни иронически называли "радиопрезидентом". Ведь он был назначен главой правительства по радио, сначала телеграммой Гитлера, а потом телеграммой, подписанной Геббельсом и Борманом.

Это, однако, не помешало новоиспеченному президенту Деницу тут же отдать приказ об аресте тех, кто вручил ему несуществующую уже власть в несуществующем государстве. Девиц приказал задержать Геббельса и Бормана, если они покажутся в расположении его главной квартиры.

Что можно еще добавить к этому факту? Вместе со смертью Гитлера закончилась кровавая трагедия нацизма, а с этого фарса начиналась короткая трагикомедия существования "кабинета

Деница".

"Кабинет" хоть и на бумаге, а все-таки существовал. В нем Йодль заменил арестованного Кейтеля на посту командующего ОКБ, здесь нацисту Альбрехту Шпееру была поручена забота о продуктах для населения и .о промышленности, хотя и то и другое находилось в руках союзной администрации.

Пока еще война продолжалась, Дениц приказывал солдатам упорно сражаться на восточном фронте, Так он продолжал "линию" Гитлера.

Двадцать третьего мая прибывшие во Фленсбург три генерала - советский, американский и английский - вызвали в контрольную комиссию Деница, Йодля и генерала Фридебурга, того самого, который вместе с Кейтелем подписывал капитуляцию в Карлхорсте.

- Господа, - сказал им американский генерал Руке, - я имею указание сообщить вам, что отныне действующее немецкое правительство распускается. С этого момента каждый из вас должен считать себя военнопленным.

Немцы выслушали этот приказ молча. Особенно мрачным выглядел Йодль, Этот вояка Гитлера сидел на стуле так, словно бы он проглотил жердь. Бледное, вытянутое, анемичное лицо его покрылось красными пятнами.

- Что вы имеете нам сказать? - спросил Руке.

Немцы молчали. Роспуск своего "правительства" они, видимо, предугадывали, но им еще хотелось предугадать другое - свою судьбу. И она страшила их. Пока же гитлеровские генералы вели себя как исправные, туповатые солдаты.

- Любое слово было бы сейчас лишним! - отчеканил Дениц.

- Что вы можете сказать? - с тем же вопросом обратились к Йодлю. . - .

И как заученную фразу он повторил точь-в-точь:

- Любое слово будет лишним.

- Ну тогда кладите на стол документы, - предложили немцам.

Напыщенный Йодль не удержался от театрального жеста. Он вытащил из кармана свое удостоверение и резко бросил его на стол.

- Все, - сказал Деницу Руке. - До свидания. - Ему надо было бы добавить: "до свидания в Международном трибунале". Но американец не сказал этого. Немецкие генералы застали его за завтраком, у него было хорошее и благодушное настроение. Он даже разрешил членам "кабинета Деница" отправиться домой, пообедать и привести в порядок свои дела. Они так и сделали. А затем американский конвой арестовал и "радиопрезидента" и всех генералов, окружавших его...

...Почти все оставшиеся в живых нацистские главари, таким образом, были уже "в сборе", не" хватало только Риббентропа.

Прошел май и половина июня, а о бывшем министре иностранных дел "третьего рейха" ничего не было слышно. Казалось, Риббентроп исчез. Между тем он спокойно жил в Гамбурге и на глазах у чинов английской администрации гулял по улицам города в элегантном сером пальто, темной шляпе и темных очках.

У Гиммлера была повязка на глазу, у Риббентропа - очки! Они даже особенно не утруждали себя маскировкой - эти бывшие руководители Германии Гитлера. На что же они надеялись? Что долго останутся неузнанными, а может быть, даже и прощенными, если будут вести себя тихо, не вмешиваясь в политику и вообще занимаясь каким-нибудь ремеслом?

Во всяком случае, гуляя по городу, Риббентроп навещал лавочников, с которыми был связан еще в бытность свою представителем фирмы шампанских вин.

Так он зашел в дом одного такого виноторговца и, называя себя Райзером, предложил испуганному хозяину, чтобы тот укрыл его, пока не наступят лучшие времена.

- Дело идет о будущем Германии! - шепнул мнимый Райзер торговцу.

У того от страха отнялся язык. Он тотчас узнал Риббентропа. Пока лавочник раздумывал, как ему поступить, его сын оказался смелее и, выслушав признание отца, тут же направился в полицию.

Четырнадцатого июня офицеры английской разведки напали наконец на след загадочного господина в темной шляпе и черных очках. Они нашли дом, где жил Райзер - Риббентроп, и поднялись в квартиру на пятом этаже. Постучали в дверь, затем ударили кулаками и даже ногами, но никто не отвечал.

Наконец, после того как один из английских фельдфебелей издал оглушительный свист, дверь немного приоткрылась. Сквозь узкую щель солдаты увидели полуодетую женщину с распущенными волосами и лицом, блестящим от крема.

- Обыск! - крикнул ей английский лейтенант.

И тут же солдаты ворвались в квартиру, стремительно побежали по комнатам, боясь, что Риббентроп, подобно Гиммлеру, услышав их шаги, успеет принять яд.

Так они ворвались в одну из комнат, где стояла незастеленная кровать. Кто-то лежал в ней. Солдаты поспешно одернули одеяло... и, странное дело, человек, лежащий в кровати, не проснулся. Он не слышал ни стука в дверь, ни грохота солдатских ботинок по паркету.

Не слышал или же не хотел слышать?

Лейтенант потряс спящего за плечо, тряс долго, и только тогда тот открыл глаза.

- Что случилось, что случилось? - испуганно спросил оп.

- Ничего особенного, вы арестованы! - сказал ему лейтенант и протянул висевшую на спинке кровати пижаму в белую и розовую полоску. - Одевайтесь!

Голый человек спустил с кровати ноги.

- Кто вы такой? - спросил офицер, уже просто для очистки совести, потому что не сомневался в том, кого он видит перед собой.

- Ну, это вам хорошо известно, кто я такой! - с внезапно проснувшейся в нем спесью заявил Риббентроп. И добавил: - Я вас поздравляю!

- В таком случае, господин Риббентроп, - сказал лейтенант, одевайтесь-ка поскорей.

Перед тем как покинуть квартиру, где он скрывался у своей любовницы, Риббентроп долго занимался своим туалетом, брился и тщательно причесывался у зеркала. Он делал все это на глазах у терпеливо ожидавших солдат, и можно было подумать, что Риббентроп собирается не в тюрьму, а на дипломатический прием, где он будет по привычке произносить демагогические речи и давать лживые заверения.

А думал ли он вообще в этот момент, что его ждет тюрьма?

Уходя из своей подпольной квартиры, Риббентроп захватил мешок с вещами, в котором скоро была обнаружена крупная сумма денег - несколько сот тысяч рейхсмарок.

- Я хотел скрываться до тех пор, пока общественное мнение не успокоится, - заявил он на допросе.

- И для этого захватили столько денег? - спросили его.

- Да, - сказал Риббентроп.

- Как же долго вы рассчитывали продержаться с этой суммой?

Риббентроп неопределенно пожал плечами. Он не назвал точного срока, но легкая ухмылка, скользнувшая по его губам, как бы доверила о том, что бывший министр Гитлера вовсе но

собирался долго сидеть в подполье.

С той наглостью, которая поистине могла бы только сравниться с беспредельным цинизмом, Риббентроп давал понять допрашивающим его офицерам, что, по его мнению, буря общественного негодования быстро уляжется и тогда нацистам вновь можно будет гулять на свободе.

- Вы снова собирались выплыть? - прямо спросил его английский офицер.

- Да, конечно, - важно кивнул Риббентроп.

Он собирался снова "выплыть" на поверхность жизни, этот бывший торговец шампанским, бывший гитлеровский дипломат, в такой же мере повинный в смерти миллионов людей, как и Гитлер, Гиммлер, Геринг.

Перед тем как отправить Риббентропа в один из европейских лагерей, его снова тщательно обыскали, памятуя об ошибке, допущенной с Гиммлером. В кармане пиджака Риббентропа были обнаружены при этом три его письма: Монтгомери, Идену и Черчиллю. В них Риббентроп предлагал англичанам свои "услуги".

Так был пойман еще один из банды главных военных преступников, занявший потом на скамье подсудимых место рядом с Гессом и Кейтелем, Деницем и Штрейхером, Йодлем и Герингом.

Самые матерые фашистские волки уже сидели в клетке. Сообщение об этом словно бы еще больше очистило воздух в Германии.

Арест главных военных преступников уже в те дни внушал людям всех стран благородную надежду, что отныне ни одно злодеяние против человечества и демократии не останется безнаказанным и всех врагов мира ждет суровое возмездие.

Подписание капитуляции в Карлхорсте словно бы придало берлинцам новую энергию. Мир утвердился. Это чувствовалось всюду. Но больше всего, пожалуй, на окраинах городов, мало пострадавших от боев, таких, например, как наш Уленгорст.

Еще неделю назад малолюдные, улицы Уленгорста теперь с утра заполнялись спешащими на восстановительные работы мужчинами и женщинами. Дети, раньше всех освоившиеся в послевоенном городе, как все дети мира, с криком бегали по улицам, играли, веселились и мало обращали внимания на привычные им танки, машины, орудия, проезжавшие через предместье.

Хозяйки с большими продуктовыми корзинками в руках отправлялись в магазины или же собирались посудачить на улице, и тогда издали слышались их громкие голоса.

В этих группках все чаще мелькали теперь хорошенькие лица молодых женщин и девушек, сменивших темные платки на светлые косынки и береты. На нашей улице прибил вывеску к узорчатой чугунной ограде своего домика портной Г. Краус, и обтрепавшиеся за войну жители Уленгорста не заставили его долго ждать заказов.

Я тоже как-то зашел к портному в его мастерскую и увидел полного, крупноголового человека с услужливым выражением лица, в клетчатой рубашке, перекрещенной желтыми ремнями подтяжек, и с лентой метра, перекинутой через шею.

У Крауса на войне погиб сын, сейчас он проклинал Гитлера.

Встречая заказчиков, особенно русских офицеров, Краус выглядел не только любезным и услужливым, но, я бы даже сказал, торжественно оживленным. Во всей его фигуре, движениях, улыбке было словно бы разлито одно желание наконец-то, засучив рукава, потрудиться. В конечном счете любую душевную тяжесть постепенно снимает любимая работа.

Неподалеку от мастерской Крауса в эти же дни открылась первая в пригороде немецкая парикмахерская. Один безногий инвалид и двое рослых мужчин в белых халатах встречали клиентов и любезно усаживали в кресла.

Сюда потянулись и жители Уленгорста, и наши офицеры. Они с интересом переступали порог чистенькой мастерской и задерживали взгляд на фигурах двух парикмахеров, - их статная выправка и вполне призывной возраст заставляли предположить, что в годы войны они были вооружены не только бритвой и ножницами. На лицах немцев мастеров была написана немного смущенная любезность, улыбались и наши офицеры и как-то странно поглядывали на парикмахеров, когда платили им деньги.

В самом деле, кто мог поручиться, что парикмахер и его сегодняшний клиент еще десять дней назад не стреляли друг в друга на улицах Берлина, и вот сейчас один стоял с бритвой в руках, а другой доверчиво подставлял под эту бритву свой подбородок и горло.

Я тоже как-то зашел в парикмахерскую и с ощущением некоторой неуверенности и щекотливой тревоги уселся в кресло, отдав свое лицо во власть парикмахерских рук.

Потом я много раз бывал в берлинских парикмахерских. Но первое посещение особенно запомнилось мне, и не только потому, что мыльную пену в мои щеки втирали не кисточкой, как мы привыкли, а гибкими и ловкими пальцами, а главным образом из-за ощущения остроты этой необычной ситуации.

Наша хозяйка фрау Менцель после капитуляции перебралась

из подвала своего дома в комнаты первого этажа, хотя мы давно предлагали ей это сделать. Вскоре она привела в дом и свою дочку, девушку-подростка, худую, с белыми кудряшками и анемичным лицом.

Со стороны фрау Менцель, как мы понимали, это было выражением утвердившегося доверия к советским офицерам, - ведь до сих пор она прятала дочку где-то у своих родственников, руководствуясь совершенно непонятными нам страхами.

Кстати говоря, от своих страхов, навеянных геббельсовской пропагандой, фрау Менцель освобождалась с той же быстротой, с какой росли в ней уверенность в своих хозяйских правах и требовательность владелицы домика, которые, впрочем, никто и не оспаривал.

Хозяйская рука фрау Менцель теперь чувствовалась во всем доме. Она решительно гремела кастрюлями на кухне, зорко следила за чистотой в комнатах и уже не раз делала замечания нашим гостям, если кто-либо, сходя с асфальтовой дорожки, слишком вольно пользовался зелеными газонами в саду.

Теперь наша хозяйка служила в какой-то транспортной конторе и получала хорошие продовольственные карточки. Мы же по-прежнему дарили ей ту часть наших пайков, которую обычно мы не съедали, почти все время проводя в Берлине.

Да, фрау Менцель теперь нельзя было узнать! Она стала казаться даже выше, ростом и моложе, потому что перестала горбиться, начала одеваться поярче.

Привыкшие к ее шепоту, мы обнаружили однажды, что фрау Менцель умеет повышать голос, достаточно резкий и властный.

Правда, хозяйка наша пока не выражала открытого своего неудовольствия вынужденным нашим постоем в ее доме, но была явно обрадована, узнав, что мы переезжаем в другой берлинский пригород - Каролиненгоф.

Прощаясь с фрау Менцель, мы пожелали ей и дочке и всем ее соседям всяческого добра и счастья. Улыбаясь, она благодарила.

Но вот, когда наша машина была уже нагружена и мы собирались покинуть домик в Уленгорсте, случилось совершенно пустяковое происшествие, лишь на несколько минут задержавшее отъезд.

Для каких-то своих надобностей Михаил Иванович Корпуснов взял во дворе старый деревянный ящик, забыв предупредить об этом хозяйку. Но фрау Менцель увидела этот ящик у шофера, спокойно шагавшего к машине, и внезапно уцепилась за него обеими руками.

Корпуснов остановился в недоумении. Он сначала попросил ящик у хозяйки, потом предложил ей деньги, но фрау Менцель

была непреклонна.

Она обрушила на растерявшегося Корпуснова поток брани, она топала ногами, побелев от злости, так, словно была готова умереть, но не отдать этот злополучный ящик, цена которому три копейки.

Я вспомнил жалкую фигуру трясущейся от страха фрау Менцель, когда я впервые увидел, ее на кухне, и, право, этот переход от раболепно-услужливых взглядов к тем свирепым - молниям, которые сейчас метали ее глаза, мог поразить кого угодно!

Мы в ту минуту были более чем удивлены еще и тем, что фрау Менцель кричала на своего друга Михаила Ивановича, который всегда делился с ней продуктами и еще до появления хозяйки в доме работал в ее саду.

Я не знаю, о чем подумал в ту минуту Корпуснов. Он мог вспомнить многое: войну, и разрушенные наши города и селения, и полчища фашистских солдат, разоривших нашу землю, он мог вспомнить и о муже фрау Менцель, который с оружием пришел в нашу страну, он мог вспомнить дым и пепел пожарищ на тысячекилометровых военных дорогах России!

Посмотрев на ящик, который он все еще держал в руках, Корпуснов бросил его к ногам фрау Менцель и медленно, не оглядываясь, пошел к машине. А фрау Менцель, забрав отвоеванный ящик, направилась в свой дом, который мы сохранили ей в Уленгорсте, даже не взглянув больше на нашу машину, на шофера Корпуснова, сидевшего за рулем в кабине с хмурым и печальным лицом...

В комендатуре центра

Несколько часов в комендатуре района Митте, несколько часов у стола в большой комнате, стеклянная дверь которой выходила прямо на улицу. Посетители, переступив порог, сразу же видели склоненную над бумагами слегка уже лысеющую голову, большой лоб и густые брови подполковника Угрюмова, заместителя коменданта по политической части.

Угрюмов в этот день принимал с восьми утра, и к полудню стол его был уже завален бумагами, заявлениями и жалобами, требующими немедленного рассмотрения.

Я сидел около стола с раскрытым блокнотом. Посетителям не было конца. Одни окружали Угрюмова, другие занимали стулья, расставленные вдоль стен, третьи еще стояли под окном на улице. С чем только не приходили в эти первые дни после капитуляции в советскую комендатуру!

/ Хозяин маленькой мастерской по ремонту велосипедов просил разрешения начать работы.

- Ради бога, господин Шульц! Сначала мы наладим велосипедный транспорт как наиболее легкий, затем автомобильный, потом метро. Одним словом, очень хорошо! - сказал Угрюмов с улыбкой.

Хозяин парикмахерской хотел бы приобрести необходимые ему инструменты, но где? Не поможет ли герр комендант советом?

Но "герр комендант" мог только посоветовать энергично поискать эти инструменты самому господину парикмахеру и заверить его, что Берлину нужны и парикмахерские, и пошивочные ателье, и магазины. Владелец транспортной конторы, у которого нацисты реквизировали все машины, интересовался, сможет ли он получить кредит у советской администрации.

Это был вопрос более сложный, и он не мог быть решен районным комендантом. Угрюмов, сняв трубку, позвонил коменданту Берлина генералу Берзарину.

- Могу ли я считать себя хозяином? - спросил владелец конторы.

- А почему же? Мы освободили вас от фашистов, но не от частной собственности. Я хочу сказать, - пояснил Угрюмов, - что эти проблемы вольно решать только демократическое правительство самого немецкого народа.

Этот полный человек с румяными, как у мальчика, щеками вытер пот со лба - он, должно быть, волновался - и ушел, как показалось мне, выражая своим взглядом умильную благодарность, которая боролась с тупым недоумением.

Его сменила пожилая женщина, беспокоящаяся о своем муже. Он был в фольксштурме, а где он сейчас: в плену или на свободе?

- Он может быть и там, куда он пытался отправить русских солдат, - на том свете! - неожиданно зло сказал Угрюмов, которого поразила наглость женщины: она спутала советскую комендатуру со штабом разгромленного гитлеровского полка.

Пришел рабочий - сообщил адрес укрывающегося гестаповца, на чьей совести сотни убийств.

Угрюмов вызвал старшину, и через пять минут отряд наших автоматчиков ушел с рабочим, которому на прощание подполковник крепко пожал руку.

У домохозяйки кто-то украл чемодан, она пришла жаловаться. Ее соседка просила "герр коменданта" найти ее сына-подростка, он где-то пропадает ночами.

- Ночами? Ночами в Берлине еще постреливают. Ваш сын не состоял в "Гитлерюгенд"?

- Состоял, герр комендант, но он благоразумный мальчик.

Угрюмов пожал плечами.

Пришла группа женщин-беженок, они покинули Берлин во время сражения, сейчас вернулись, но дом разрушен. Что делать?

- Потесните соседей в целых домах.

- А если не пустят?

- Как? Свои же сограждане? Надо выручать друг друга в беде!

Угрюмов направил вместе с женщинами сержанта. Иной раз пробуждению благородных чувств весьма способствовало решительное выражение лица русского солдата, даже если он не произносил при этом ни слова. Уплотнение происходило быстро. Люди, обретавшие кров, благодарили "герр коменданта".

...Степенно переступил порог комнаты седой мужчина в академической шапочке, представился как профессор математики. Угрюмов спросил, чем может служить?

- Математика беспартийна, - сказал профессор, - я хочу начать учить студентов.

- Математика беспартийна, но члены нацистской партии взорвали часть дома университета на Унтер-ден-Ливден, вы это знаете? - спросил Угрюмов.

- Нет. Но я хочу, чтобы вы записали мою фамилию: Зорге. Я готов работать.

- Хорошо! Я передам это сотрудникам обер-бургомистра Берлина доктора Вернера, - сказал Угрюмов.

Едва профессор откланялся, как у стола подполковника очутились молодые супруги, смущенно объясняли: он чех, она немка, познакомились недавно, когда молодого человека выпустили из лагеря. Теперь он хочет увезти жену в Прагу. Но границы уже закрылись. Нужны паспорта. Есть формальные трудности.

- Я выясню, - сказал Угрюмов и снял трубку.

У другой пары похожая ситуация, только он немец, она болгарка, хотят немедленно обвенчаться, но невесте надо сменить подданство, а это не просто. Вся надежда на "герр коменданта".

Угрюмов улыбнулся. Он ведь не священник, да и не заведующий загсом. Впрочем, что такое загс, он сам долго не мог внятно объяснить своим собеседникам. Наконец спросил: "Вы любите друг друга?" - и поднял на молодых усталые глаза, припухшие от бессонных ночей,

- Ох, конечно!

- Вы молоды.

- О да! Герр комендант!

Угрюмов встал, прошелся по комнате, чуть наклонил корпус вперед, назад, разминая поясницу, уставшую после многих часов сидения за столом.

- Я вас, поздравляю, - сказал он, - любите сильнее друг друга, остальное: паспорта, подданство, формальности - разве это препоны для любви, зародившейся в первые дни мира? Все утрясется со временем.

Молодые люди унесли на своем лице улыбки, они пятились к двери, не поворачиваясь спиной, и непрерывно благодарили.

И снова посетители: актеры, желающие начать работу, и как можно скорее, учителя, справляющиеся, скоро ли откроются школы, пенсионеры - по поводу продуктовых карточек, владельцы магазинов, и среди них такие, кому непременно надо ехать за товарами в зоны, занятые союзниками.

- Подумаем, - говорил им Угрюмов и помечал у себя в блокноте: надо выяснить у работников "Смерша", нет ли среди торговцев военных преступников, попросту пытающихся удрать в Западную Германию.

Десятки дел каждый день, десятки посетителей! Заместитель коменданта по политической части не мог, конечно, сразу определить политическую физиономию каждого, кто переступал порог его приемной, но зато их лучше знали уцелевшие в тюрьмах и лагерях немцы-антифашисты, рабочие, немецкие коммунисты.

Это из них в первые же дни составилось ядро деятельного актива комендатуры.

Угрюмов посетовал на особые трудности работы в районе Митте.

- Почему? - спросил я.

- А какой это район! Географический центр Берлина! - не без горделивой нотки в голосе произнес он. - Район бывших центральных правительственных учреждений. Кто здесь жил: матерые нацисты, высокопоставленные чиновники, не все они удрали на запад. Здесь и Кроль-опера и университет, следовательно, люди искусства, ученые. Надо воспитывать интеллигенцию, которая до недавней поры служила Гитлеру. И наконец, - добавил Угрюмов, - ни один район в Берлине так долго и яростно не бомбила с воздуха наша и союзная авиация. Когда я хожу по своему району, мне кажется: тут месяцами бушевало, перекатываясь то в одну, то в другую сторону, какое-то гигантское землетрясение. И оно сметало все на своем пути!

...Если бы мне сказал кто-нибудь раньше, что я встречу в комендатуре центра Берлина, в мае сорок пятого года, человека, с которым до войны я жил в одном доме на Чистых прудах в Москве, в одном подъезде и в соседних квартирах, то я бы, вероятно, отнес эту возможность к ряду тех совпадений, которыми обычно изобилуют малоубедительные кинофильмы.

Но удивительные встречи, о которых говорят: "ну прямо как в кино", случаются и в жизни.

Я приехал к коменданту района, и первым, кого я увидел, был Александр Леонтьевич Угрюмов, которого я знал до войны как преподавателя диамата.

Это был спокойный и, на мой взгляд, немного флегматичный человек с круглым, полным лицом. Мягкие, расплывающиеся черты заставляли предполагать такой же мягкий и добродушный характер. Я не представлял себе соседа в офицерской форме, он казался мне человеком глубоко штатским.

Но как сказал кто-то из моих друзей: "Кадровых офицеров мы видим часто на парадах, а когда приходит война, в окопы лезут токари и аптекари, каменщики и профессора".

Угрюмов ушел на фронт с первых дней войны, служил в частях политработником. Сейчас он устраивал новую жизнь в кварталах, примыкавших к рейхстагу и имперской канцелярии, Тиргартену и Унтер-ден-Линден... Во всяком случае, мне это казалось необычным!

Что делают люди при такой встрече? Конечно, с минуту смотрят друг на друга, не веря глазам, потом пожимают руки и, конечно, тут же вспоминают довоенную жизнь, так же как мы вспомнили тихий наш Чистопрудный бульвар и вытянутое зеленое зеркальце водоема, словно заснувшего между двух шумных дорог.

Мы вспомнили зеленые легкие домики летнего кафе, и желтые дорожки, заполненные детьми, и скамейки на аллеях, убежище влюбленных, и все то, что было для нас родным, грело сердце и вместе с тем казалось бесконечно далеким.

Москва и Берлин! Чистые пруды и Лейпцигерштрассе! Можно было просто повторять это, и больше ничего. А остальное уж дорисовывалось само мгновенным видением пережитого и перечувствованного за годы такой войны.

Я мало встречал на фронте краснобаев и людей уж больно словоохотливых, даже среди журналистов. На войне тускнели слова. Вернее, привычные в обиходе слова не вмещали те сильные чувства, которыми полнилось сердце.

Как говорят теперь критики, многое уходило в подтекст. И два человека, не видевшие друг друга пять лет и глубоко взволнованные встречей в Берлине, могли удовлетвориться для начала трехминутным разговором, составленным главным образом из коротких вопросов и эмоционально окрашенных наречий.

- Ты здесь? Каким образом? - спросил Угрюмов.

Я рассказал.

- Ах вот как! Очень хорошо!

- А ты комендант Митте? Замечательно!

- Только замполит. Как мама?

- Врач в госпитале. А твоя?

- В Москве. Слушай, старина! Поживи у меня. Тут очень интересно. Понаблюдаешь. Все это неповторимо!

- Ты прав. Я останусь на день-другой. Но скажи, как ты очутился на этой должности? Хотя, конечно, - философ, специалист по диамату. Можно сказать, самая тебе работа диалектически перестраивать жизнь.

- Тут сейчас такая каша. Все перевернулось! Но разберемся. Пошли ко мне, - сказал Угрюмов.

Он привел меня в свою квартиру, где мало бывал даже по ночам, и я бросил свой вещевой мешок около какой-то шикарной тахты, ряда тумбочек, трельяжей и шкафов.

Комната напоминала музей разностильной мебели. Должно быть, ее стаскивали сюда, в один из немногих уцелевших домов, просто чтобы сохранить. Полстены занимали книги - это единственное, что собирал Угрюмов в Берлине и просматривал в редкие свободные минуты.

Скоро мы вновь спустились в помещение комендатуры.; Я поехал с Угрюмовым в квартал, где восстанавливались дома, потом в механические мастерские, в типографию, в больницу, оттуда в магазины, где начиная с пятнадцатого мая продукты выдавались по новым нормам снабжения.

Трехмиллионный Берлин вздохнул с облегчением, узнав, и увидев воочию, что советское командование делает все возможное, чтобы в разрушенном городе не разразился голод, не вспыхнули эпидемии, грабеж, беспорядки, чтобы берлинцы сразу почувствовали все живительные блага мира и свободы.

Ближе к вечеру Угрюмов пригласил меня присутствовать на открытии первого в районе Митте и во всем Берлине эстрадного театра-варьете.

Мы поехали туда на открытом четырехместном "додже" - Угрюмов, я и два автоматчика, захваченные на всякий случай. И, поглядывая по сторонам - на .разбитые дома, на стены, зияющие провалами, на весь этот холодящий сердце пейзаж разрушения, Угрюмов говорил мне:

- Ты представляешь себе, что значит сейчас для населения первый, пусть маленький театр-варьете. Сам факт его открытия здесь, в центре Берлина?

Ведь люди здесь последний год жили, как пещерные предки человека, зарывшись глубоко в подвалы, в бетонные щели. Почти каждую ночь, а в последние недели и днем - бомбежка! Нет воды,

нет света, не действует канализация. И к тому же нет мяса, нет хлеба! Они и подышать-то свежим воздухом вылезали из подвалов только ночью.

Тут третьего февраля особенно поработали "летающие крепости". Земля дрожала вокруг на несколько километров. Бомбовозы вспахали весь район. Жители сидели в подвалах, спасаясь от бомб. Но они еще мечтали спастись и от эсэсовцев, которые шныряли всюду, ища пополнение для фольксштурма, на рытье траншей.

Кто эти люди? - спросил Угрюмов, словно беседуя с собой. - Все они запуганы нацистской пропагандой, якобы жестокими карами, которые ждут чуть ли не поголовно все население. Так врали гитлеровцы... И вдруг пожалуйста!.. Открылось варьете, людей не гонят в Сибирь, а приглашают зайти, посидеть за столиком, выпить пива, развлечься...

Угрюмов был увлечен собственным рассказом, я понимал его: в конечном счете он гордился своей работой.

- Это, друг милый, надо почувствовать, именно здесь почувствовать, в центре Берлина!

Наша машина остановилась у тротуара. Небо было безоблачное, а день солнечный и жаркий - середина мая! Асфальт искрился на солнце, даже развалины в его свете не казались такими мрачными. Здание варьете находилось в глубине двора. Овальное здание, похожее на цирк. Дом уцелел, хозяину пришлось только разыскивать столики и стулья; их растащили предприимчивые соседи по кварталу. Хозяин нас встретил в дверях. Фамилию его я не спросил. Зато хорошо запомнил высокую фигуру с гибким позвоночником, он двигался впереди "герр коменданта", но все время лицом к нему. Подобострастное выражение его лица как-то странно соединялось с гордостью в глазах. Шутка ли? Он открыл первое после войны варьете в Берлине.

В круглом зале, овальные стены которого сбегались к эстраде, я не заметил окон. В полутемноте (электричество горело слабо) меж столиков сновали официанты в темных костюмах. Они разносили большие из зеленого стекла пивные кружки, торжественно, словно фонари, которыми можно ярче осветить этот зал.

Берлинцы чинно сидели за темными мраморными столиками с металлическими ножками.

В зале было прохладно, это особенно чувствовалось после жаркой улицы, пахло пивом, свежевымытым полом, сладко пахло горячими булочками, которые комендатура приказала доставить сюда в день открытия варьете.

Мне показалось, что в зале уютно. Вообще говоря, уют - понятие относительное. Тут надо помнить, что каждый переступивший порог варьете еще как бы видел перед глазами пейзаж разрушенного города.

Для коменданта оставили столик у самой эстрады. Вышел на сцену конферансье, первым делом поклонился Угрюмову.

- Герр комендант, разрешите начать программу?

- Для этого не нужно моего разрешения, обращайтесь, пожалуйста, к публике.

- Слушаю, - ответил конферансье и все-таки еще раз поклонился в нашу сторону. Потом он произнес краткую речь: мол, по разрешению комендатуры открывается варьете, где жители района по вечерам смогут отдыхать и развлекаться. Программа выступлений составляется с таким расчетом, чтобы ничто не напоминало о нацистах. Все номера будут очищены от гитлеровской идеологии.

Конферансье отметил, что сегодня своего рода исторический день и следовало бы в память об этом событии прибить на двери варьете памятную табличку: "Впервые открылось в Берлине после войны". Такой рекламе можно будет только позавидовать.

Посетители дружно захлопали. Они смотрели на эстраду и пили пиво, тихонько позвякивая донышками кружек о мраморный столик. Приглушенный шепоток в заде иногда взрывался выплеском резко звучащих голосов. Но раздавалось предупреждающее шипение, и снова становилось тихо.

Официант принес пиво на наш столик. Оно оказалось и свежим и вкусным.

Угрюмов сказал, что пивной завод уже работает, а также цех мясокомбината. Оттуда и сосиски на нашей тарелке, рядом с подсоленной "соломкой". Началась программа: сначала акробатический номер, потом соло на гитаре, танец чечеточников, пение. Красивая женщина в белом платье исполняла народные песни.

Ей дружно хлопали и несколько раз вызывали. Мне не показалось, что она хорошо пела. Но в ее наряде было что-то майское, праздничное, веселое, я понимал, что одним своим появлением на сцене актриса напоминала берлинцам о приятном и казавшемся далеким, о том времени, когда здесь, в центре города, не падали бомбы, не свистели пули, а в театрах и на эстраде выступали красивые и нарядно одетые женщины.

Потом был номер с художественным свистом, клоунада, снова пара чечеточников и соло на гитаре. Программа начинала повторяться вместе с новыми кружками пива. Видимо, у конферансье оказалось в запасе не так уж много номеров,

"очищенных от гитлеровской идеологии".

Я оглянулся. И сзади и сбоку за столиками я видел раскрасневшиеся от пива, улыбающиеся лица.

Конферансье поглядывал на Угрюмова - все ли в порядке? Тот глазами выражал одобрение.

Но неожиданно на улице затрещали выстрелы. Все испуганно вскочили. Распахнулась дверь, и показалась голова нашего автоматчика. Заметался по сцене конферансье. Концерт мгновенно прервался.

- Спокойно! - сказал тогда Угрюмов. Он вытащил пистолет и побежал к выходу...

Через минуту все разъяснилось. Автоматчики гнались за каким-то эсэсовцем вместе с сотрудниками только что образованной немецкой народной полиции, Им показалось, что преступник забежал в варьете.

Этот маленький эпизод лишь напомнил всем, где и когда идет этот концерт, и о том, что варьете находится в центре города, в котором всего лишь только неделю тому назад была подписана капитуляция фашистской Германии.

Постепенно немцы успокоились, все вновь уселись за свои столики. Официанты принесли новые кружки пива, Кажется, уже в третий раз вышла на сцену исполнительница народных песен и поклонилась русским офицерам, а затем публике... и концерт продолжался.

На следующий день утром я передал в Москву коротенькое сообщение о том, что произошло в районе Митте. Тут следует еще раз вспомнить, что это были те дни, когда Берлин, еще не расчлененный на зоны, весь входил в сферу контроля советской военной администрации. Ни одного союзного солдата еще не было в городе. Вместе с иностранными корреспондентами они появились в Берлине примерно через месяц.

И люди всех пяти континентов могли узнать о том, что делается в Берлине, только из русских газет и по радио.

Исключительность этой ситуации, мне кажется, точно соответствовала ее символическому значению, этим еще раз подчеркивалось, что бой за Берлин вели только советские войска.

Как мгновенно изменился масштаб новостей, их характер и значение! Район Митте - центр Берлина! Казалось бы, еще совсем недавно читатели всего мира искали в корреспонденциях подробности кровопролитных боев за рейхстаг и имперскую канцелярию, а теперь им рассказывали об открывшихся магазинах, банях, школах, больницах, о настроениях берлинцев, их чаяньях, мечтах.

Но что за событие для огромного города - открытие

небольшого варьете? Пустяк? Конечно. Но только не для Берлина тех дней!

Наша группа жила тогда в Каролиненгофе, живописном пригороде, вблизи озера. Здесь находились виллы более состоятельных людей, чем в Уленгорсте.

Наш новый хозяин Мюллер, мужчина лет пятидесяти, лысоватый, охромевший еще в первую мировую войну, торговал в Берлине мылом, пока его магазины и склад не разбили бомбы. В первый месяц после конца войны Мюллер выжидал, присматривался, сидел дома и ковырялся в своем саду и огороде, казалось целиком поглощенный выравниванием зеленых газонов, перекапыванием грядок и поливкой цветов.

Вежливый, услужливый и словоохотливый, он, несмотря на свое желание понравиться нам, ни у кого не вызывал стремления к чистосердечным беседам, уже просто в силу того, что казался нам чужаком. Страдания разорившегося торговца, сейчас, задним числом, всуе проклинавшего Гитлера, не трогали сердце хотя бы потому, что трудно было определить истинную меру искренности господина Мюллера.

Мы видели, что у него сохранилась богатая вилла и свой участок, он был в лучшем положении, чем многие берлинцы, и, может быть, это определяло те самонадеянные нотки в его голосе, когда Мюллер разговаривал с приходившими к нему соседями.

Он не раз в беседе с нами аттестовал себя социалистом по убеждениям, что было модно в те дни, а главное, не поддавалось немедленной проверке, на что, я думаю, и рассчитывал Мюллер.

Одним словом, он не вызывал резко враждебного чувства, но и симпатии тоже, политическая физиономия Мюллера нам казалась тогда весьма неопределенной, но когда он просил у меня разрешения послушать московское радио, я не мог ему в этом отказать.

Это было на следующий день после того, как я уехал от Угрюмова. В двенадцать часов дня Мюллер поднялся в мою комнату, и мы, настроив приемник, услышали переданное Москвой в "Последних известиях" сообщение о работе нашей комендатуры в районе Митте и в конце несколько слов об открытии первого варьете.

- Ого, зер гут! - удовлетворенно произнес Мюллер. Он понимал и немного говорил по-русски.

- Вот видите, Москва уже сообщает о культурной жизни Берлина. Правда, скромное начало, но тем-то оно и дорого, что начало, - сказал я.

- О да! - согласился Мюллер. - Если немец пьет пиво, значит, имеет хороший настроений!

В четыре часа дня я и Спасский обычно ловили передачи Би-Би-Си. Сегодня в своих новостях дня лондонское радио повторило мой рассказ о районе Митте. И уже вечером то же сообщение пришло к нам из-за океана, когда мы поймали радиостанцию Нью-Йорка. Американский диктор, ссылаясь на Лондон и на Москву, в третий раз кратко передал подробности открытия берлинского варьете.

Информация, которую я на рассвете уставшим, сонным голосом продиктовал в трубку высокочастотного телефона из Берлина, к вечеру по эфиру обежала весь мир.

На этом можно было бы и поставить точку, закончив рассказ об одном из дней работы советской комендатуры в районе Митте.

Но я бы не сказал всего, если бы умолчал о том, что в этот день я слушал Москву, Лондон, Нью-Йорк с чувством высокой профессиональной гордости радиожурналиста, слушал с радостью, которой полнилось сердце, слушал и думал, что мы, литераторы в Берлине, сейчас волей судьбы оказались на вышке истории и только поэтому наше слово так стремительно летит по эфиру.

Конечно, в этом была весьма малая наша личная заслуга, но зато великая заслуга народа, который грудью встретил темный вал фашизма, великая заслуга армии, принесшей в Берлин знамена свободы, мира, демократии.

Прошло более четверти века. Должно быть, уже можно написать маленькое послесловие к этой главке. Правда, кто-то остроумно заметил, что послесловия обычно относятся к основной канве любого рассказа, как загробная жизнь вымышленных героев к их жизни земной и реальной. Но то вымышленных! А у многих невыдуманных героев жизнь продолжается и в послесловиях, в новых делах и свершениях сегодняшних дней.

Александр Леонтьевич Угрюмов работал в комендатуре на Инзелыптрассе, 3, до конца сорок пятого года. Затем демобилизовался и вернулся в Москву. Здесь он занялся преподавательской работой, сначала заведовал кафедрой истории партии в Юридическом институте, затем на ту же должность перешел в Институт иностранных языков, теперь он доктор наук, профессор.

Ныне мы изредка встречаемся, чтобы поговорить по душам и кое-что вспомнить.

Тогда, в сорок пятом, в мае, в сумятице тех дней, в потоке бесчисленных дел Угрюмов, естественно, не мог всего рассказать мне, а я обо всем его расспросить. Но мне трудно простить себе, что только через двадцать пять лет я узнал, что именно

Александр Леонтьевич второго мая сорок пятого года во дворе имперской канцелярии нашел брошенное кем-то кожаное пальто.

Оно было мышино-стального цвета. В карманах пальто Угрюмов обнаружил небольшого формата красную книжку с записями такого рода: "Понедельник, 16 апреля. Большие бои на Одере.

Пятница, 20 апреля. День рождения фюрера. К сожалению, обстановка как раз не для рождения.

Суббота, 21 апреля. Начало артиллерийского огня по Берлину.

Воскресенье, 22 апреля. Фюрер остается в Берлине.

Среда, 25 апреля. Берлин окружен.

Пятница, 27 апреля. Наша рейхсканцелярия превращена в развалины.

Воскресенье, 29 апреля. День начался бешеным артиллерийским огнем. Венчание Адольфа Гитлера и Евы Браун. Предатели-генералы оставляют нас большевикам.

Понедельник, 30 апреля. Снова бешеный огонь. А. Гитлер и Ева Браун мертвые.

Вторник, 1 мая. Попытка прорваться".

Это были последние записи в ныне известном дневнике Мартина Бормана, и последняя строчка говорит о том, что он действительно предпринял попытку удрать из Берлина.

В тот же день Угрюмов в подземном бункере, в котором второго мая пожар начинался несколько раз, обнаружил также чемоданы Кейтеля и Йодля, сбежавших генералов, а в чемоданах - важные документы.

Угрюмов сдал эти документы Военному совету армии, Как жаль, что тогда у него не нашлось времени просмотреть эти бумаги, обладавшие наверняка уж той несомненной исторической примечательностью, что они была обнаружены в бункерах подземной канцелярии Гитлера в последние часы ее существования.

Записную книжку Мартина Бормана Угрюмов передал генералу Бокову. Тогда Александр Леонтьевич не придал этой книжке особого значения. Да и о самом Бормане тут же забыл. У него, Угрюмова, было тогда дело, важнее которого трудно себе ж представить - возродить к новой жизни Берлин-Митте. И это поглощало все его мысли и силы.

Я как-то недавно, встретившись с Александром Леонтьевичем у него на квартире, попенял ему за то, что, имея в багаже своего жизненного опыта такие уникальные события, он пока не выступил с книгой воспоминаний или же большой статьей.

Александр Леонтьевич усмехнулся. Должно быть, я был не

первый, кто обращался к нему с таким вопросом. Или, уловив мой недоуменно-изучающий взгляд, он, улыбаясь, думал, как бы мне поточнее ответить.

Я же, глядя на Александра Леонтьевича, подумал, что вот прошло более четверти века после окончания войны, а друг мой изменился в общем-то немного. Ну, конечно, пополнел, еще более округлились мягкие линии его доброго лица. Но улыбка, характерный блеск в глазах - вот что не изменили годы, если и улыбка, и выражение глаз действительно зеркало души - чуткой, доброжелательной, умной.

- Так почему же, Александр Леонтьевич? - назойливо повторил я свой вопрос.

- Немного я написал. Например, в сборнике "От Москвы до Берлина".

- Мало.

- Должно быть!

При этом он неопределенно пожал плечами, и это могло быть истолковано как занятость основным своим делом и: как робость перед литературно-мемуарными опытами такого рода.

- А в, лекциях вы хотя бы используете этот свой личный опыт!

- О, да! Здесь конечно, - сказал Угрюмов. - Там, где это уместно.

Александр Леонтьевич работал и работает над проблемами диалектического материализма, истории партии.

- В лекциях обязательно, - снова повторил он, - ведь то, о чем мы сейчас с вами вспоминаем, - тоже частица истории нашей великой партии. И я счастлив, что какие-то детали, подробности, относящиеся к тому, что было мною лично увидено и пережито, я могу внести в рассказы о героическом пути, пройденном партией и народом.

Принадлежит истории

Мы ехали из Цербста. Маленький этот городок, окруженный парками и лесом, привлек наше внимание лишь тем, что здесь, в бывшей столице бывшего Ангальт-Цербстского княжества, находился замок, связанный с именем русской императрицы Екатерины Второй.

Хотя мы и прочли на стене дворца мемориальную доску, сообщающую о том, что в этом здании родилась "Катрин ди Гроссе", хотя об этом писалось в немецких путеводителях, а население Цербста после капитуляции сочло необходимым украсить витрины городских магазинов портретами Екатерины, на самом деле горожане Цербста предпочли исторической точности рекламную шумиху, Это привлекло в маленький городок туристов.

В действительности же дочь Христиана-Августа князя Ангальт-Цербсткого София-Августа родилась не в Цербсте, а в Штеттине, где в 1729 году ее отец был губернатором города.

Правда, потом будущая Екатерина жила в Цербстском дворце и оттуда пятнадцатилетней девушкой вместе с матерью поехала в Россию ко двору Елизаветы.

С той поры на многие годы Цербстский дворец стал главной достопримечательностью города.

Но американские летчики, базировавшиеся на близлежащем аэродроме, не посчитались с цербстской реликвией и разбомбили дом и парк без всякой к тому военной необходимости, ибо в районе города не случилось ничего хотя отдаленно напоминающего сражение.

Мы побродили с полчаса около развалин дворца. Здесь, в центре города, они выглядели как-то странно, словно театральная декорация с пейзажем разрушения, ибо вокруг тянулись кварталы, совершенно не пострадавшие от точной бомбежки.

Признаться, я не сохранил в памяти эти развалины. Чем-чем, а этим трудно было нас удивить. Но хорошо запомнил автостраду, широкую спокойно-гладкую реку асфальта, которая текла от Берлина на запад, мимо похожих на Цербст городков, пощаженных войной.

От Цербста у меня осталось ощущение чистоты и уюта, чистоты, может быть, даже уже чрезмерной, когда мостовые сверкают на солнце, как паркетные полы у хорошей хозяйки.

Здесь улицы напоминали аллеи с рядами тополей, березок и лип, их кроны, смыкаясь, бросали сплошную тень на ровный асфальт тротуаров.

Видимо, эта чистота в первые послевоенные дни и была второй достопримечательностью Цербста, ничего иного мы не обнаружили, объехав город на машине. Затем мы полежали на зеленой травке палисадника около какого-то домика, слепленного из гранитных глыб и крупных камней в стиле аляповатой готики.

Я не сделал в Цербсте никаких новых записей на нашем аппарате. В этот день мы подготовили для отправки в Москву большую партию пластинок, которые могли быть вновь переданы в эфир или же отправлены на многолетнее хранение в архивы фонотеки.

Оператору, конечно, не хотелось распаковывать ящик, где, любовно укутанные ватой, пересыпанные мягкими опилками, лежали драгоценные пластинки, хранившие в своих бороздках голоса берлинской битвы.

К тому же чистенький Цербст, с этим дворцом Екатерины, с

тишиной и внешним благополучием, вызвал у нас совершенно неожиданно такой приступ ностальгии, что нам захотелось немедленно убраться из городка на дорогу, куда-нибудь, хотя бы в лес.

Потом, вспоминая об этом чувстве почти физической боли, я находил ей объяснение в нашем тогдашнем психологическом состоянии.

Заканчивался четвертый месяц пребывания в Германии, время, за которое мы пережили войну на Одере, на Шпрее и на Эльбе, увидели падение Берлина, и, естественно, нам казалось, что самое яркое, исторически неповторимое, самое волнующее уже позади.

Сказывалась и усталость. Теперь каждый день, отделяющий нас от капитуляции, усиливал тоску по Москве, дому, родине. Мы везли пластинки к нашему редакционному самолету, и я с завистью смотрел на бортмеханика Павла Егорова, которому предстояло через сутки ступить на землю подмосковного аэродрома.

По дороге к небольшому аэродрому, расположенному в окрестностях Берлина, мы заехали в Каролиненгоф. Давно мы уже не слышали выстрелов ни в Берлине, ни в его пригородах. Всюду было спокойно, тихо, хотя, по слухам, еще и бродили кое-где остатки гитлеровских частей, вооруженные группы эсэсовцев, пробивающиеся через Эльбу на запад.

Могли ли мы предположить, что Корпуснову и Егорову, которые уже без меня отправлялись на аэродром, предстоит встретиться с одной из таких банд?

Корпуснов уехал из Каролиненгофа часа в три дня, а в шесть раздался звонок с аэродрома - машина с пластинками еще не прибывала.

Командир нашего самолета хотел сам выехать на поиски, но ему было приказано остаться на месте. Тревожась за судьбу нашего "радиотанка", а еще больше за сохранность уникальных записей, мы сами на легковой машине двинулись по дороге на аэродром.

Это был лес, похожий на штраусбергский, такой же большой и густой, рассеченный лишь несколькими глубокими просеками. Спускались сумерки. Мы ехали медленно, вглядываясь в густую темень между деревьями. Повстречавшаяся нам группа солдат сообщила: они слышали в лесу перестрелку, но не обратили на это внимания - мало ли кто мог стрелять? Они спешили по своему заданию.

Мы проехали уже несколько километров, когда заметили в стороне от просеки какой-то громоздкий, темный силуэт. Это

оказалась наша машина. Пули изрешетили скаты "радиотанка", пробили радиатор. Видимо, Корпуснов пытался удрать от немцев прямо через лес, но "додж" застрял между двумя соснами, зацепившись за стволы бортовыми крючками.

Корпуснов находился в кабине, раненный двумя пулями в ногу, и тихо стонал. Егорова мы нашли под кузовом "доджа" - он лежал там с автоматом, нападавшие на машину могли ведь вернуться.

В ту минуту нам некогда было выяснять подробности боя. Хотя своим санпакетом Егоров наскоро перевязал ногу Корпуснова, повязки уже намокли. Мы не могли медлить. Михаил Иванович, должно быть, потерял много крови.

Бережно перенесли его, все еще тихо стонущего, к легковой машине, стоящей на дороге. Теперь надо было разыскать ближайший полевой госпиталь.

Дорогой бортмеханик рассказывал: они натолкнулись в лесу на группу вооруженных автоматами немцев. Те шли по дороге с засученными по локоть рукавами френчей и громко разговаривали.

Должно быть, сначала немцы сами испугались и бросились по сторонам. Но у Корпуснова, как назло, заглох мотор, и пока он нервно нажимал на стартер, никак не заводившийся, гитлеровцы пулями пробили скаты.

Теперь они начали окружать машину. Вряд ли она им была нужна, скорее продукты, которые могли лежать в закрытом кузове. Автоматный огонь, которым их встретили Корпуснов и Егоров, только утвердил немцев в решимости захватить машину.

Раз ее так обороняют, - наверно, думали они, - значит, там есть что защищать!

Корпуснов, заведя наконец мотор, бросил машину в гущу леса, надеясь, что там можно будет стрелять из-за деревьев. Но и немцы прятались за соснами.

Перестрелка длилась минут пятнадцать - двадцать. Точно Егоров не помнил. Бандиты отступали, вновь появлялись из-за кустов, несколько раз атаковали. Их было человек десять против двоих. Конечно, Корпуснов и Егоров могли бы отойти в глубь леса, но что бы тогда случилось с пластинками?

- Паша, помни! Нельзя бросать ящик, там история! - повторял Михаил Иванович. Его ранило в ногу. Тогда Егоров залез под кузов и оттуда вел огонь,

- От машины не уйду, - крикнул он. - Пусть убьют, не отдам машину!

Егоров сказал, что он страшился только одного: кончатся патроны, что тогда?

Но гитлеровцы исчезли так же внезапно, как и появились. Испугались, наверно, что длительная перестрелка привлечет внимание, - вблизи Берлина располагались наши части. Или же патроны у них кончились раньше, чем у Корпуснова и Егорова.

...Когда мы несли Михаила Ивановича в машину, он спросил, цел ли ящик с пластинками.

- Все в порядке. Ящик полетит в Москву, - успокоил я его.

- Вот тебе и мир, стреляют, сволочи! - вздохнул Корпуснов. Потом тихо добавил: - Никогда такого груза не возил. Пластинки!

- Голоса истории - сказал я.

- Эти-то дураки, бандиты, они думали, наверно, в ящике колбаса!

Михаил Иванович чуть улыбнулся, одними глазами.

- Я все боялся - не отобьемся. А все-таки они трусливые стали, как шакалы, все оглядывались. Нет уж того напора. Ослабел фашист!

Я прижал палец к своим губам, показывая, что Михаилу Ивановичу сейчас не надо бы много говорить.

- Ногу не больно?

- Терплю, - спокойно ответил он.

Он мужественно переносил боль, ни разу не вскрикнув, когда мы несли его от машины к воротам госпиталя, где встретили санитаров с носилками.

Это был тот самый штраусбергский госпиталь, где я бывал еще в дни боев за Берлин.

- Знакомое местечко, вот и я сюда угодил, - сказал Корпуснов, с носилок оглядывая парк и людей в халатах, гуляющих по дорожкам. Он вслух пожалел о том, что больше уж не будет водить по берлинским улицам наш "радиотанк".

- Да, скоро сдадим машину, - заметил я, чтобы хоть этим как-то утешить Михаила Ивановича.

- Знаю, друг, знаю! - тяжко вздохнул он. - А ты поверь, мне хотелось бы еще поездить, погулять по Берлину. Такого уже больше не будет никогда. Про себя это я точно знаю.

- Чего же именно, Михаил Иванович? - спросил я.

- А вот того самого. Два раза в одной жизни Берлин не берут! - произнес он негромко, но с той торжественной и глубоко значимой интонацией, которая заставила дрогнуть мое сердце.

- Это да.

Я шагал рядом с носилками и поддерживал их вместе с санитарами.

Ты прав, дорогой товарищ Корпуснов, славный наш водитель! Два раза в жизни такое не бывает. Каждому поколению достаются в удел свои роковые годы испытаний, озаряемые самым ярким

пламенем эпохи.

Если и будут еще на земле войны, то мы их встретим уже другими людьми. А наша неповторимая юность и зрелость были отданы борьбе с фашизмом.

И еще я подумал о том, что все мы должны быть благодарны судьбе за то, что именно нам выпало счастье видеть конец войны в Берлине. И какой войны!

Я сказал об этом Корпуснову.

- Верно! Это большое счастье! - согласился он. Потом Михаил Иванович вспомнил о разговоре с женой по телефону "ВЧ".

- Вот видишь, как получилось. На войне далеко не загадывай, обещал жене свидеться скоро, а теперь с подушкой буду целоваться!

- Выздоровеешь к демобилизации, - сказал я.

- Все-таки Катю мою к аппарату вызовите, мол, задержался твой Михаил Иванович, но не виноват!

- Стоит ли ее расстраивать? - спросил я.

- Нет, пусть знает. У нее душа крепко в теле держится. Не такое выдюживала. Хуже нет - врать. Я пообещал завтра же позвонить в Москву.

- Ну на этом счастливо оставаться, - сказал Михаил Иванович.

Корпуснов приподнял голову над подушкой и махнул рукой. В глазах его стояли слезы.

...Через час мы были на аэродроме и передали ящик с пластинками командиру нашего самолета "Щ-2". Сейчас уже, наверно, мало кто помнит о существовании этих ширококрылых, на вид солидных, на самом же деле маломощных самолетов военно-транспортной авиации, самых настоящих небесных тихоходов.

Два небольших мотора на самолетах конструкции Щербакова едва развивали скорость сто - сто двадцать километров в час. Просторная кабина предназначалась для транспортировки парашютистов. Открывая широкую дверь, они выпрыгивали из машины. Для военной авиации модель быстро устарела, но еще держалась "в кадрах" Гражданского воздушного флота.

Именно на этом неуклюжем самолете, похожем в воздухе на огромную летающую рыбу, именно на нашей "щучке" мы и поднялись в начале февраля месяца с заснеженного поля подмосковного Быковского аэродрома, с тем чтобы после семи часов "висения в воздухе" добраться до Минска.

Здесь наша "щука" сменила лыжи на колеса. Переждав снежный ураган, мы отправились дальше. Сейчас это звучит странно, но из-за дурной погоды и перемены ее фронта больше сидели на аэродромах, чем летели, и добрались до Польши

только на десятый день.

И все-таки наш "Щ-2", подобно героическим "уточкам", исправно нес свою боевую воздушную службу, несколько раз летал из Москвы на фронт, сначала приземляясь в Познани, затем уже на немецких аэродромах, все ближе и ближе к Берлину, пока, наконец, не пробежался своими маленькими колесами по бетонному полю Темпельгофа - знаменитой воздушной гавани немецкой столицы, лежащей в центре города,

А сейчас с приберлинского аэродрома "щука" собиралась вновь улететь в Москву.

- Контакт! - весело крикнул бортмеханик Егоров, радуясь предстоящему полету домой. Он повернул большую лопасть тугого винта.

- Есть контакт! - ответил пилот из своей кабинки.

Мотор зачихал, пару раз как бы глубоко вздохнул, потом с силой выдохнул синим дымком, часто застучал, фыркнул и вдруг взревел густым гулом.

"Щука", качая крыльями, неуклюже побежала по земле, выруливая на взлетную площадку...

...Теперь, конечно, наш старый, заслуженный самолет давно уже списан на лом, модель его - только архивный экспонат, и дорогая нам память о "щуке", летавшей в Берлин, принадлежит истории авиации, так же как и наши записи на пластинки - истории берлинских боев,

Во имя мира

На открытие первого восстановленного участка берлинского метро мы приехали из воинской части после необыкновенного парада. Это был парад корпуса танкистов, празднующих четырехлетний юбилей своего существования, корпуса, сформированного в мае сорок первого, через год прославившегося под Сталинградом, еще через три года закончившего свой поход под Берлином. Бойцам-гвардейцам было что вспомнить в этот майский день!

И вот перед нами широкий, поросший свежей ярко-зеленой травой луг, волнистая его поверхность уходит к дальнему мохнатому гребешку леса. И справа и слева видны каменные строения небольшого немецкого селения.

Мы стояли рядом с трибуной, наскоро сколоченной для генералов, принимающих парад. Играл военный оркестр, и мимо трибуны один за другим маршировали танковые полки с развевающимися знаменами.

Танкисты старательно отбивали шаг, но мягкая земля и трава заглушали обычный резкий, парадный перестук каблуков, и громче, пожалуй, позванивали ордена и медали, украшавшие

почти каждую грудь в длинных и стройных шеренгах.

Поодаль от трибуны, так, чтобы медные трубы оркестра не заглушали голос радиокомментатора, стоял сотрудник нашего московского радио М. О. Мендельсон, уже после капитуляции присоединившийся к нашей группе, и прямо отсюда, с места парада, вел репортаж в эфир для слушателей Англии и Америки.

Его английская речь мешалась с моей русской, одновременно Москва и Лондон ретранслировали этот рассказ о танковом корпусе, который пронес свои знамена от Волги до Эльбы, о том, что за люди в гимнастерках и танковых шлемах, в торжественном напряжении, с блестящими от восторга лицами маршировали в эту минуту по зеленому прямоугольнику поля.

Я думаю, что этот радиорепортаж под звуковой аккомпанемент духового оркестра и громового, торжествующего русского "ура" слушали во многих странах мира. Ведь это был майский репортаж из Германии, ведь ратный подвиг танкистов освещался именами Сталинграда и Берлина! Кого это могло оставить равнодушным в ту весну?

А после парада начался вечерний концерт и ужин, когда за столами, расставленными вблизи белеющих палаток, под сенью деревьев, сидели рядом танкисты и прилетевшие из Москвы артисты филармонии.

Я помню огни, осветившие эту площадку, и густую темень за деревьями, и над нами чистый купол неба с майскими яркими звездами.

И русские голоса, и русские песни, музыка Чайковского и Рахманинова, и то, что лампочки висели на ветвях белотелых, казалось бы, совсем нашенских березок, - все это создавало здесь уголок летнего военного лагеря, так остро и сильно напоминавшего о России, о доме, о том, что наши люди пришли в Германию, чтобы выполнить свой долг защиты мира.

Не знаю, может быть, мне очень трудно будет передать эту связь ощущений, порожденных тем временем и тогдашним настроением наших душ, но когда на следующий день в районе Нейкельн, на станции метро Германплац, я увидел русских офицеров и солдат, помогавших немцам в работе, - я связал эти две картины в одну: и парад победителей-танкистов под Берлином и труд саперов-победителей, восстановивших участок столичной подземки.

Теперь, уже после капитуляции, снова пришлось мне побывать в метро. В дни боев здесь все было забито кусками бетона, валялись трупы. Сейчас же я увидел перед собой темно-серую широкую бетонную платформу, с путями по обеим сторонам, низкий овальный потолок подземного вестибюля. Хотя

он и выглядел мрачновато по сравнению со сверкающими дворцами наших метростанций, но все же был чист, подремонтирован и готов принять пассажиров.

К отправлению первого поезда приехал в Нейкельн генерал Берзарин. В сопровождении директора Берлинского общества городского транспорта он не торопясь прошелся по платформе, осмотрел вестибюль.

Потом они остановились около открытых дверей вагона - Берзарин и директор общества, плотного сложения мужчина в отличном темно-синем костюме, вежливо наклонивший голову.

- Ну вот, отлично, - сказал ему Берзарин. - Почин сделан. Теперь мы должны с вами пустить весь берлинский метрополитен. Когда же?

Я не расслышал, что ответил директор. Но зато я увидел на его лице то сладковато-приторное, то искательно-услужливое выражение, которое должно было, видимо, подтвердить готовность директора сделать все возможное.

- Я поздравляю вас, - сказал Берзарин директору.

- Спасибо! - ответил тот по-русски, оглядываясь на фотокорреспондентов, снимавших его рядом с генералом.

- Прошу вас войти в вагон, - предложил Берзарин,

- Это я вас прошу, - поклонился директор.

Так они, соревнуясь в вежливости, уступали друг другу право первым переступить порог вагона. И вот наконец Берзарин, со своей неизменной лукавой улыбкой, выражавшей и великодушие и твердость характера, вошел первым и сел на мягкий диванчик.

Не могу, конечно, поручиться, но кажется мне, что и генерал и наши офицеры не могли не представить себе в эту минуту - хоть на мгновение картины боя на этой станции: выстрелы, крики в темноте, орудия, спущенные в туннели, орудия на тех самых рельсах, что сейчас металлически поблескивали в лучах прожектора моторного вагона.

- Ну что ж! Если все готовы, товарищи и господа, то поехали вперед - к славному будущему города Берлина! - с улыбкой произнес Берзарин и, сняв фуражку, вытер платком крупный лоб и седеющие виски.

- Слушаюсь! - подхватил директор.

- Фертиг! - рявкнул за окнами вагона дежурный по станции Германплац, и первый поезд на первом участке метро, восстановленном немцами и русскими на двенадцатый день после капитуляции Берлина, отправился в свой первый рейс.

Вот и весь эпизод, запавший мне в память, может быть, потому, что и вид берлинской подземки, и освещенные окна поезда, уплывающие в темную глубину туннеля, выглядели

глубоко символичной картиной, вызывали в тот день и спустя годы много волнующих воспоминаний обо всем том, что довелось нам увидеть и пережить в дни взятия Берлина.

И на этом можно было бы поставить точку, если бы не пришлось нам узнать потом, что именно в майские дни 1945 года, когда русские ото всей души и с великим бескорыстием помогали немцам строить новую жизнь, нашлись в Германии люди, уже тогда начавшие разрабатывать планы новой мировой войны.

Еще не со всех берлинских улиц успели убрать обломки стен и засыпать воронки от бомб, как во Фленсбурге, резиденции так называемого "правительства Деница", был составлен и помечен датой 20 мая меморандум, цель которого - указать германским милитаристам новый путь военных приготовлений.

Меморандум этот впоследствии был захвачен среди документов "правительства Деница", его автором оказался Гельмут Штельрехт - бывший бригаденфюрер войск СС, один из руководителей отрядов СА, идеологический воспитатель союза "Гитлеровской молодежи", принадлежавший к нацистской элите.

Начав с признания, что "война Германии на два фронта всегда означала разгром рейха", Штельрехт предлагал теперь "в соответствии с германскими чувствами подключиться к Западу".

Он призывал "обе англосаксонские державы рассматривать... как по существу германские государства", и вот в рамках этого "германского единения" Штельрехт видел "возможности для перевооружения", для того чтобы превратиться со временем "в первостепенный фактор мощи на Европейском континенте!".

Разве не представляется чудовищным то, что через одиннадцать дней после капитуляции Германии в ставке Деница уже рассматривались "условия овладения определенной частью русского наследства"! И это в том случае, "когда Америка станет считать, что в борьбе за свои мировые интересы решительное столкновение с Россией является неизбежным, и она обязательно будет заинтересована в мощи побежденной Германии, чтобы использовать ее в борьбе против России".

Много лет прошло с тех пор, как было арестовано "правительство Деница", а его члены преданы суду как военные преступники. Но заправилы Бонна не забыли советов эсэсовца Штельрехта и прошли рекомендованный им "тактический путь" сближения с Западом. Они лишь только заменили штельрехтовский лозунг "германского единения", слишком пахнувший нацизмом, видоизмененным лозунгом "европейского сообщества".

Идеи штельрехтовского "конфиденциального меморандума" прозвучали и в меморандуме генералов бундесвера Штрауса и

Хойзингера, открыто требовавших для Западной Германии атомных бомб, всеобщей воинской повинности и укрепления Североатлантического блока.

Идеи эсэсовца Штельрехта "о бескровном поглощении европейских стран" нашли себе лишь закамуфлированную формулу якобы "оборонных мероприятий", создания сил щита прикрытия Федеративной Республики Германии, а иными словами - бундесвера, вооруженного до зубов ракетами и атомным оружием.

Так становится наглядной преемственность планов Гитлера, штельрехтов, Штраусов и хойзингеров, пронизанных одним духом, но лишь загримированных в различные словесные одежды.

Так становится понятным, почему неонацисты в Западной Германии возрождали доктрины Гитлера, почему офицеры войск СС принимались в вооруженные силы НАТО, а бывшие крупные функционеры нацистской партии занимали видные посты в государственном аппарате ФРГ.

И теперь уже никого не удивляет, что многие подручные Гитлера избежали карающей руки правосудия и смогли спастись бегством в катакомбы фашистского подполья.

Генерал-лейтенант СС Вальтер Шелленберг - один из ближайших помощников Гиммлера - благополучно перебрался через Балтийское море в Швецию, прикрывшись фальшивым дипломатическим паспортом.

Временно нырнул в подполье и генерал Рейнгард Гелен, державший при Гитлере в своих руках все нити нацистской разведки. Бежав, он сохранил списки многих немецких агентов в различных странах Европы и Азии, у Гелена оказались в руках ключи от шпионской сети, созданной Канарисом, Гиммлером, Шелленбергом.

Вильгельм Хеттль - нацистский "историк" и гестаповец, начал свою карьеру адъютантом Кальтенбруннера и закончил службу в Вене руководителем тайной полиции.

Эсэсовец Шелленберг свидетельствует и о том, что генерал Гелен уже в 1944 году разработал план подпольной борьбы фашистов.

Это он, бывший шеф нацистской секретной службы, генерал-лейтенант Гелен, помог занять руководящий пост в Бонне, в числе других гитлеровцев, и нацистскому генерал-лейтенанту Хойзингеру, тому Хойзингеру, который в 1944 году выслужился ценой предательства офицеров, замешанных в покушении на Гитлера. Зловещая фигура генерала Гелена простирала свои совиные крылья над Западной Германией. И не только над нею. По сведениям американской прессы, в Европе работало примерно

четыре тысячи геленовских агентов, многие из них были немецкими шпионами еще во время второй мировой войны.

Вашингтон долгое время финансировал деятельность геленовской шпионской организации, когда эта организация скромно называлась ведомством по охране конституции, - черная служба Гелена продолжала оставаться важным источником информации и для Соединенных Штатов.

Как это ни кажется чудовищным, корни "дружбы" генерала Гелена с американской разведкой уходили глубоко в закулисную историю второй мировой войны. Доверенный Гиммлера и Кальтенбруннера, друг Адольфа Эйхмана - все тот же Вильгельм Хеттль еще в 1943 году приезжает с паспортом на чужое имя в Швейцарию, где ведет переговоры с неким дипломатическим сотрудником миссии США в Берне. Этим "дипломатом" оказывается не кто иной, как Аллен Даллес. Не все свои документы успели заблаговременно сжечь фашисты, не все секретные бумаги затоплены в контейнерах на дне горных озер. Все тайное когда-нибудь становится явным.

И ведь не случайно сам Хеттль после разгрома Германии поспешил спрятаться в американском лагере для интернированных. И не ради его красивых глаз гестаповца и гитлеровского разведчика Хеттля посетил в этом лагере с дружеским визитом сам Аллен Даллес.

Это он, Даллес, добился того, что Хеттля, впрочем, как и многих других крупных нацистов, не судили ни в Германии, ни в других странах, пострадавших от фашистского нашествия.

Гелен и Хеттль продолжали дело Гиммлера и Кальтенбруннера. Сменились хозяева, но прежними остались методы и цели. Аллен Даллес помог Хеттлю стать во главе разведывательной организации в Австрии, генерал Гелен в Германии получал инструкции по организации шпионской сети от американского Гиммлера начальника ФБР Гувера. Тайные союзники во времена борьбы с гитлеризмом стали почти явными партнерами в борьбе с силами демократии и мира.

Генерал Гелен как-то посетил архив американского Федерального бюро расследований (ФБР). Гелену открыли двери особо секретной "башни для документов", которая находится на территории Стэнфордского университета в Калифорнии, затем Гелена принял Аллен Даллес.

О чем они говорили? Бывший нацистский генерал интересовался новейшими американскими методами и средствами шпионажа. Он уверял своих хозяев, что главное в его деятельности - социалистические страны. Но как же были поражены и Аллен Даллес и Гувер, когда они узнали, что

организация Гелена начала активно шпионить и за... своими партнерами по НАТО.

Верные ученики Гиммлера и Кальтенбруннера хотели шпионить за всем миром. И за американцами, и за англичанами, и за французами. Во Франции стали известны секретные приказы Гелена, в которых он требовал добыть английские документы о характере работ в одном научно-исследовательском центре, сведения об испытаниях различных ракет.

Ни времена, ни обстоятельства, ни новые договоры и связи не меняют мерзкой сущности фашизма.

И надо ли доказывать, что бывшие и новоявленные фашисты, те, кто заявляет об этом открыто, и те, кто хранят пока в тайне свои политические вожделения, стремящиеся в Западной Германии захватить власть украдкой, - все они прежде всего заклятые враги мира между народами.

Но никогда люди доброй воли на земле не простят злодеяний фашизма, как и не забудут наши современники и грядущие потомки светлого подвига тех, кто одолел фашистские полчища, спас будущее человечества и принес в Берлин знамена нашей победы.

...Мы снова увидели эти знамена над рейхстагом, когда, примерно через месяц после капитуляции Германии, ехали на аэродром, чтобы улететь домой.

Но прежде наш "радиотанк" в последний раз побывал на улицах города, на Унтер-ден-Линден. Здесь немцы высаживали новые липы вместо сгоревших, а на фасаде здания университета слегка раскачивались в люльках маляры, заштукатуривали пробоины и веселой голубой краской покрывали стены. Всюду в городе кипели восстановительные работы, всюду виднелись строительные леса, и если ветер вдруг выносил из какого-нибудь квартала густые клубы пыли, то это уже были не спутники разорвавшейся бомбы, а просушенная солнцем земля, поднятая в воздух тяжелыми колесами грузовиков и строительных тягачей.

И только около мрачного дома новой имперской канцелярии Гитлера было пустынно. Никто не приступал с ремонтом к развалинам, как бы символизирующим разгром и смерть государства нацистов. И более того, мне казалось, что берлинцы вообще стараются подальше обходить этот квартал, чтобы кошмарными видениями не будить еще свежую, кровоточащую память о пережитом.

Мы простились с Берлином на восточной его окраине. Здесь наши войска впервые ворвались в город. Здесь была подписана капитуляция. И хотя мы торопились на аэродром, все же заглянули во двор карлхорстского инженерного училища.

И в тот последний день войны здание училища казалось нам недостаточно, монументальным и помпезным, слишком малым и скромным для такого великого всемирно-исторического события.

Но что делать? Солдатам, истории, шагающим по эпохе, порой некогда выбирать себе самый подходящий и удобный привал, вот и на этот раз они остановились в бывшей столовой саперов, чтобы отсюда провозгласить на весь мир о конце войны! Мы заметили, что дом пустовал. К этому времени наши воинские части уже располагались за чертой города, а немцы, должно быть, еще не решили, какое солидное учреждение удостоить чести расположиться в знаменитом здании. Мы не заметили тогда на дверях у главного входа и мемориальной доски. Вокруг колонн подъезда носились только маленькие берлинцы в коротких штанишках и играли, кажется, в войну. А на карнизе дома парочка диких голубей то взлетала в воздух, вспугнутая криками, то осторожно опускалась, и птицы, ворча, переступали лапами по железной полоске.

Дворик карлхорстского училища был тогда примечателен тем, что не имел ничего примечательного. Но именно это и волновало.

Я не помню, что, собственно, особенное мы надеялись здесь увидеть? Да, должно быть, ничего. Просто требовательный зов памяти потянул в Карлхорст, еще раз взглянуть на дом, которому судьба определила право стать для грядущих поколений одним из мемориальных памятников тяжелой, многолетней и суровой борьбы за мир.

И вот мы снова на аэродроме, том самом, с которого две недели назад поднялась наша "щука". Но тогда это была еще пустынная площадка с разрушенными строениями. А теперь, когда темпельгофское поле отошло в американскую зону, этот аэродром стал главной нашей воздушной гаванью. И его нельзя было узнать.

Над полем не умолкал рев прилетающих и отбывающих в полет двухмоторных "ЛИ-2". По дорогам, опоясывающим взлетную площадку, пылили бензовозы. В маленьком деревянном домике отдела перевозок пассажиры осаждали просьбами высокого и пожилого и от усталости грубовато разговаривающего полковника.

Самолеты уходили перегруженными, мест не хватало, И не мудрено. В Берлин летели наши специалисты: механики, строители, врачи, снабженцы, летели сами и везли грузы, иные в наскоро сшитой военной форме, иные в штатских костюмах.

Сотрудники военной администрации, офицеры срочно отправлялись в Москву по служебным делам и не менее срочно в

отпуска. И все они предъявляли свои мандаты полковнику, сидевшему за столом.

Не без робости в душе встали и мы в эту длинную очередь, надеясь все-таки, что личная записка от коменданта Берлина заставит полковника уважительно отнестись к нашим скромным особам. И не ошиблись.

- Просит сам Берзарин! - Полковник развел руками. - Вы видите, что делается? Пассажиров впятеро больше, чем мест в самолетах. Каждый день парк машин увеличивается. И все-таки! Черт знает сколько нам работы!

- Но воздушный мост Москва - Берлин уже проложен. И это широкий мост! сказал я полковнику, показывая глазами на летное поле, куда приземлились один за другим три воздушных корабля.

- Мост! - повторил полковник. - А тут нужна уже воздушная дорога шириной в полнеба. Вот так! Ну, а вы скоро полетите. Только записку коменданта оставьте.

- Как оправдательный документ? - спросил я.

- Там будет видно, - уже суше ответил полковник. Он спрятал записку в стол.

За нашими спинами нетерпеливо гудела очередь. Полковник кивнул, чтобы мы отошли. И право, мне показалось, что суровый этот летчик хочет сохранить для себя на память бланк берлинской городской комендатуры и подпись генерал-полковника Берзарина.

Разве могли мы в ту минуту предположить, что обаятельный, энергичный и великодушный русский генерал вскоре погибнет в Берлине от нелепой автомобильной катастрофы, не завершив своих многих широких замыслов, но успев заслужить уважение берлинцев. Мы улетели в этот же день, "ЛИ-2" сделал большой прощальный круг над Берлином. Пассажиры жадно прильнули к маленьким окошкам жесткого, полугрузового нашего самолета,

Кто летел в этот час в Москву? Офицеры с чемоданами в руках, генерал-майор, его адъютант, три женщины - военные врачи, жена сотрудника советской комендатуры, - она прилетала с ребенком к мужу и теперь возвращалась домой, в далекую Тюмень.

Летели еще два специалиста по монтажу заводов, наш инженер, восстанавливавший берлинскую радиостанцию, летели те, кто служил в Берлине или же был занят в работах по благоустройству немецкой столицы.

Признаться, мне не запомнился Берлин с воздуха. Может быть, потому, что сверху в этот день он был похож и на руины Познани, и на каменный ад Варшавы, который я видел из окна нашей "щуки", когда мы летели в Германию еще в начале этой

великой весны.

А может быть, этому была другая причина: прощаясь с Берлином, мы уже мысленным своим взором видели родную Москву. Командир корабля обещал беспосадочный шестичасовой полет и затем приземление в Центральном аэропорту нашей столицы. И вот с первой же минуты, как самолет наш оторвался от взлетной дорожки, пассажиры начали поглядывать на часы.

Часы оказались у всех, у иных даже двое или трое. Эта страсть покупать, обменивать и даже коллекционировать ручные часы была доброй и даже трогательной приметой тех дней конца войны и начала мира. Люди считали время!

Вот этой маленькой картинкой я и хочу закончить книгу. Я вижу ясно и сейчас кабину нашего "ЛИ-2", освещенную ярким солнцем, которому не мешают облака, стелющиеся внизу. Щурясь от солнца, с улыбками, которые не сходят с лица, пассажиры самолета, летящего из Берлина в Москву, все время следят за бегущим временем.

Не уставая и не боясь надоесть друг другу, они без конца сверяют точное время, подкручивают рычажки и, одни вслух, а другие молча, лишь шевеля губами, высчитывают минуты, отделяющие нас от московской земли.

Я никогда не видел людей, которые бы с таким волнением, с такой искрящейся в глазах радостью следили за минутными и секундными стрелками! Сейчас я думаю, что это происходило просто потому, что скорость придает времени особую весомость, а в самолете, летящем домой, тем более, и еще, конечно, оттого, что часы тогда отсчитывали уже новое, удивительное и прекрасное время больших наших надежд и счастливых предчувствий, новое время мира.

Примечания

{1} Книга кратких воспоминаний участников взятия рейхстага вышла в свет вскоре после войны. Она называется "Штурм рейхстага". Существует издание научной истории Великой Отечественной войны в шести томах. Там берлинскому сражению отведено соответствующее место. Но тем не менее до сих пор в нашей печати появилось очень мало исторических и очерковых произведений, рисующих эти великие дни.

{2} В этой главе использованы некоторые факты, впервые описанные в очерке Л. Славина "Последние дни фашистской империи".

{3} "Эйхман выдает сообщников". Журнал "Международная жизнь", 1961, №№ 8, 9.

{4} Мощная громкоговорящая установка.

{5} Его показания приводят Иов Хайдекер и Иоганнес Леев в

книге "Нюрнбергский процесс", вышедшей в ФРГ.